

ЗАХАР ПРИЛЕПИН

Обитель

Фрагмент романа

Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер: взгальный.

До самой старости у него имелась странность: если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив второпях что попало — свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал он вслед корове любую вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и ее хозяевам.

«Бешеный черт!» — говорила про него бабушка. Она произносила это как «бешаный чорт!». Непривычное для слуха «а» в первом слове и гулкое «о» во втором завораживали.

«А» было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздернутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился, — причем второй глаз был сощурен. Что до «чорта» — то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово: «Ааа... чорт! Ааа... чорт! Чорт! Чорт!» Можно было предположить, что прадед видит черта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или с кашлем выплевывает каждый раз по одному черту, забравшемуся внутрь.

По слогам повторяя за бабушкой: «бе-ша-ный чорт!» — я вслушивался в свой шепот, и в знакомых словах вдруг образовывались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой: юный, дурной и бешеный.

Бабушка вспоминала: когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил «маманю» — ее свекровь, мою прабабку. Причем свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах, но боялась и слушалась его беспрекословно.

Чтоб ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтоб она подошла, хватал ее за волосы и бил с размаху маленьким жестким кулаком в ухо.

Звали его Захар Петрович.

«Чей это парень?» — «А Захара Петрова».

Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся еще седая, хотя редкие волосы на голове были белым-белы, невесомы и пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух, его было сразу и не различить.

Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей — ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нем, то лишь в его отсутствие.

Ростом он был невысок, в четырнадцать я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу врастал

в землю — ему было то ли восемьдесят восемь, то ли восемьдесят девять; в паспорте был записан один год, а родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли позже — со временем и сам запамятовал.

Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за шестьдесят, но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл — по деревенским меркам все это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным, кудрявым, пахучим тулупом.

Мы наезжали в родовой дом погостить — и лет, кажется, в шесть мне тоже несколько раз выпадало это счастье: ядреный, шерстяной, дремучий тулуп... Я помню его дух и поныне.

Сам тулуп был, как древнее предание, — искренне верилось: его носили и не могли износить семь поколений, весь наш род грелся и согревался в этой шерсти. Им же укрывали только что, в зиму рожденных телятей и поросяток, переносимых в избу, чтоб не перемерзли в сарае. В его огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышиное семейство, и если долго копошиться в тулупьих залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад, ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахариный обкусок, потерянный моим отцом, который он в свое голодное послевоенное детство разыскивал три дня и не нашел.

А я нашел и съел вперемешку с махоркой.

Когда прадед умер, тулуп выбросили — чего бы я тут ни плел, а был он старье-старьем и пах ужасно.

Девяностолетие Захара Петрова мы праздновали на всякий случай три года подряд.

Прадед сидел, на первый неумный взгляд, преисполненный значения, а на самом деле веселый и чуть лукавый: как я вас обманул — дожил до девяноста и заставил всех собраться.

Выпивал он, как и все наши, наравне с молодыми до самой старости, и когда за полночь — а праздник начинался в полдень! — чувствовал, что хватит, медленно поднимался из-за стола и, отмахнувшись от бросавшейся помогать бабки, ни на кого не глядя, шел к своей лежанке.

Пока прадед выходил, все оставшиеся за столом молчали и не шевелились.

«Как генералиссимус идет...» — сказал, помню, мой крестный отец и родной дядька, убитый на следующий год в дурацкой драке.

То, что прадед три года сидел в лагере на Соловках, я узнал еще ребенком. Для меня это было почти то же самое, как если бы он ходил за зипунами в Персию при Алексее Тишайшем или добирался с бритым Святославом до Тмутаракани.

Об этом особенно не распространялись, но, с другой стороны, прадед нет-нет да и вспоминал то про Эйхманиса, то про взводного Крапина, то про поэта Афанасьева.

Долгое время я думал, что Мстислав Бурцев и Кучерава — однополчане прадеда, и только потом догадался, что это все лагерники.

Когда мне в руки попали соловецкие фотографии, удивительным образом я сразу узнал и Эйхманиса, и Бурцева, и Афанасьева.

Они воспринимались мной почти как близкая, хоть и нехорошая родня.

Думая об этом сейчас, я понимаю, как короток путь до истории — она рядом. Я прикасался к прадеду, прадед воочию видел святых и бесов.

Эйхманиса он всегда называл «Федор Иванович», было слышно, что к нему прадед относится с чувством трудного уважения. Я иногда пытаюсь представить, как убили этого красивого и неглупого человека — основателя концлагерей в Советской России.

Лично мне прадед ничего про соловецкую жизнь не рассказывал, хотя за общим столом иной раз, обращаясь исключительно к взрослым мужчинам, преимущественно к моему отцу, прадед что-то такое вскользь говорил, каждый раз словно заканчивая какую-то историю, о которой шла речь чуть раньше — к примеру, год назад, или десять лет, или сорок.

Помню, мать, немного бахвалясь перед стариками, проверяла, как там дела с французским у моей старшей сестры, а прадед вдруг напомнил отцу, — который, похоже, слышал эту историю, — как случайно получил наряд по ягоды, а в лесу неожиданно встретил Федора Ивановича, и тот заговорил по-французски с одним из заключенных.

Прадед быстро, в двух-трех фразах, хриплым и обширным своим голосом набрасывал какую-то картинку из прошлого — и она получалась очень внятной и зримой. Причем вид прадеда, его морщины, его борода, пух на его голове, его смешок, напоминавший звук, когда железной ложкой шкрябают по сковороде, — все это имело не меньшее, а большее значение, чем сама его речь.

Еще были истории про баланы в октябрьской ледяной воде, про огромные и смешные соловецкие веники, про перебитых чаек и собаку по кличке Блэк.

Своего черного беспородного щенка я тоже назвал Блэк.

Щенок, играясь, задушил одного летнего цыплака, потом — другого, и перья раскидал на крыльце, следом — третьего... В общем, однажды прадед схватил щенка, вприпрыжку гонявшего по двору последнего куренка, за хвост и с размаху ударил об угол каменного нашего дома. После первого удара щенок ужасно взвизгнул, а после второго смолк.

Руки прадеда до девяноста лет обладали если не силой, то цепкостью. Лубяная соловецкая закалка тащила его здоровье через весь век. Лица прадеда я не помню, разве что бороду, и в ней — рот наискосок, жующий что-то, зато руки, едва закрою глаза, сразу вижу: с кривыми иссиня-черными пальцами, в курчавом грязном волосе. Прадеда и посадили за то, что он зверски избил уполномоченного. Потом его еще раз чудом не посадили, когда он собственноручно перебил домашнюю скотину, которую собирались обобществлять.

Когда я смотрю, особенно в нетрезвом виде, на свои руки, то с некоторым страхом обнаруживаю, как с каждым годом из них прорастают скрученные, с седыми латунными ногтями пальцы прадеда.

Штаны прадед называл шкерами, бритву — мойкой, карты — святцами, про меня, когда я ленился и полеживал с книжкой, сказал както: «...О, лежит ненаряженный...» — но без злобы, в шутку, даже как бы одобряя.

Так, как он, больше никто не разговаривал ни в семье, ни во всей деревне.

Какие-то истории прадеда дед передавал по-своему, отец мой — в новом пересказе, крестный — на третий лад. Бабушка же всегда говорила про лагерную жизнь прадеда с жалостливой и бабьей точки зрения, иногда будто бы вступающей в противоречие с мужским взглядом.

Однако ж общая картина понемногу начала складываться.

Про Галю и Артема рассказал отец, когда мне было лет пятнадцать, тогда как раз наступила эпоха разоблачений и покаянного юродства. Отец к слову и вкратце набросал этот сюжет, необычайно меня поразивший уже тогда.

Бабушка тоже знала эту историю.

Я все никак не могу представить, как и когда прадед поведал все это отцу — он вообще был немногословен; но вот рассказал все-таки.

Позднее, сводя в одну картину все рассказы и сверяя это с тем, как было на самом деле, согласно обнаруженным в архивах отчетам, докладным запискам и рапортам, я заметил, что у прадеда ряд событий слился воедино и какие-то вещи случились подряд, в то время как они были растянуты на год, а то и на три.

С другой стороны, что есть истина, как не то, что помнится.

Истина — это то, что помнится.

Прадед умер, когда я был на Кавказе, — свободный, веселый, камуфлированный.

Следом понемногу ушла в землю почти вся наша огромная семья, только внуки и правнуки остались — одни, без взрослых.

Приходится делать вид, что взрослые теперь мы, хотя я никаких разительных отличий между собой четырнадцатилетним и нынешним так и не обнаружил.

Разве что у меня вырос сын, и ему теперь четырнадцать лет.

Так случилось, что пока все мои старики умирали, я все время находился где-то далеко и ни разу не попал на похороны.

Иногда я думаю, что мои родные живы, иначе куда они все подевались?

Несколько раз мне снилось, как я возвращаюсь в свою деревню и пытаюсь разыскать тулуп прадеда, лажу, сдирая руки, по каким-то кустам, тревожно и бессмысленно брожу вдоль берега реки, у холодной и грязной воды, потом оказываюсь в сарае: старые грабли, старые косы, ржавое железо — все это случайно валится на меня, мне больно; дальше почему-то я забираюсь на сеновал, копаюсь там, задыхаясь от пыли, и кашляю: «Ч*о*рт! Ч*о*рт! Ч*о*рт!»

Ничего не нахожу.

Книга первая

— Il fait froid aujourdihui.

— Froid et humide.

— Quel sale temps, une veritable f `evre.

— Une veritable peste...[1]

— Монахи тут, помните, как говорили: «В труде спасаемся!» — сказал Василий Петрович, на мгновение переведя довольные, часто мигающие глаза с Федора Ивановича Эйхманиса на Артема. Артем зачем-то кивнул, хотя не понял, о чем шла речь.

---

[1] — Сегодня холодно.
— Холодно и сыро.
— Это не погода, а лихорадка.
— Не погода, а чума. (*фр.)*

— Ciest dans lieffort que se trouve notre salut?[1] — переспросил Эйхманис.

— Ciest bien cela![2] — с удовольствием ответил Василий Петрович и так сильно тряхнул головой, что высыпал на землю несколько ягод из корзины, которую держал в руках.

— Ну, значит, и мы правы, — сказал Эйхманис, улыбаясь и поочередно глядя на Василия Петровича, на Артема и на свою спутницу, не отвечавшую, впрочем, на его взгляд. — Не знаю, что там со спасением, а в труде монахи знали толк.

Артем и Василий Петрович в отсыревшей и грязной одежде, с черными коленями, стояли на мокрой траве, иногда перетаптываясь, размазывая по щекам лесную паутину и комаров пропахшими землей руками. Эйхманис и женщина были верхом: он — на гнедом норовистом жеребце, она — на пегом, немолодом, будто глуховатом.

Снова затеялся дождь, мутный и колкий для июля. Задул ветер, неожиданно холодный даже для этих мест.

Эйхманис кивнул Артему и Василию Петровичу. Женщина молча потянула поводья влево, чем-то будто бы раздраженная.

— Посадка-то у нее не хуже, чем у Эйхманиса, — заметил Артем, глядя всадникам вслед.

— Да, да... — отвечал Василий Петрович так, что было понятно: слова собеседника не достигают его слуха. Он поставил корзину на землю и молча собирал высыпавшиеся ягоды.

— С голода вас шатает, — то ли в шутку, то ли всерьез сказал Артем, глядя сверху на кепку Василия Петровича. — Шестичасовой отзвонил уже. Нас ждет прекрасное хлебалово. Картошка сегодня или гречка, как думаете?

Из леса к дороге подтянулись еще несколько человек бригады ягодников.

Не дожидаясь, пока сойдет на нет настырная морось, Василий Петрович и Артем зашагали в сторону монастыря. Артем чуть прихрамывал — пока ходил за ягодами, подвернул ногу.

Он тоже устал, не меньше Василия Петровича. К тому же Артем снова очевидно не выполнил нормы.

— Я на эту работу больше не пойду, — тяготясь молчанием, негромко сказал Артем Василию Петровичу. — К черту бы эти ягоды. Наелся за неделю, а радости — никакой.

— Да, да... — еще раз повторил Василий Петрович, но, наконец, справился с собою и неожиданно ответил: — Зато без конвоя! Весь день не видеть ни этих, с черными околышами, ни лягавой роты, ни «леопардов», Артем.

— А пайка у меня будет уполовиненная и обед без второго, — парировал Артем. — Треска вареная, тоска зеленая.

— Ну, давайте я вам отсыплю, — предложил Василий Петрович.

— Тогда у нас обоих будет недостача по норме, — мягко посмеялся Артем. — Едва ли это принесет мне радость.

— Вы же знаете, каких трудов стоило мне получить сегодняшний наряд... И все равно ведь не пни корчевать, Артем, — Василий Петрович понемногу оживился. — А вы, кстати, заметили, чего еще в лесу нет?

---

[1] — В труде спасаемся? (*фр.*)
[2] — Именно так! (*фр.*)

Артем что-то такое точно заметил, но никак не мог понять, что именно.

— Там не орут эти треклятые чайки! — Василий Петрович даже остановился и, подумав, съел одну ягодку из своей корзины.

В монастыре и в порту от чаек не было проходу, к тому же за убийство чайки полагался карцер — начальник лагеря Эйхманис отчего-то ценил эту крикливую и наглую соловецкую породу, что, впрочем, было необъяснимо.

— В чернике есть соли железа, хром и медь, — поделился знанием, съев еще одну ягоду, Василий Петрович.

— То-то я чувствую себя, как медный всадник, — мрачно сказал Артем. — И всадник хром.

— Еще черника улучшает зрение, — сказал Василий Петрович. — Вот, видите звезду на храме?

Артем всмотрелся.

— И?

— Сколькиконечная эта звезда? — спросил Василий Петрович крайне серьезно.

Артем секунду всматривался, потом все понял, и Василий Петрович понял, что тот догадался, — оба тихо засмеялись.

— Хорошо, что вы только многозначительно кивали, а не разговаривали с Эйхманисом, — у вас весь рот в чернике, — сквозь смех процедил Василий Петрович, и стало еще смешней.

Пока рассматривали звезду и смеялись по этому поводу, бригада обошла их — и каждый посчитал необходимым заглянуть в корзины стоявших на дороге.

Василий Петрович и Артем остались в некотором отдалении одни. Смех быстро сошел на нет, и Василий Петрович вдруг разом осуровел.

— Знаете, это постыдная, это отвратительная черта, — заговорил он трудно и с неприязнью. — Мало ведь того, что он просто решил побеседовать со мной, — он обратился ко мне по-французски! И я сразу готов все простить ему. И даже полюбить его! Я сейчас приду и проглочу это вонючее варево, а потом полезу на нары кормить вшей. А он поест мяса, а потом ему принесут ягоды, которые мы вот здесь собрали. И он будет чернику запивать молоком! Я же должен, простите великодушно, наплевать ему в эти ягоды, а вместо этого несу их с благодарностью за то, что этот человек умеет говорить по-французски и снисходит до меня! Но мой отец тоже умел по-французски! И по-немецки, и по-английски! А как я дерзил ему! Как унижал отца! Чего же здесь я не надерзил, старая я коряга? Как я себя ненавижу, Артем! Черт меня раздери!

— Все-все, Василий Петрович, хватит, — уже иначе засмеялся Артем; за последний месяц он успел полюбить эти монологи...

— Нет, не все, Артем, — сказал Василий Петрович строго. — Я тут стал вот что понимать: аристократия — это никакая не голубая кровь, нет. Это просто люди хорошо ели из поколения в поколение, им собирали дворовые девки ягоды, им стелили постель и мыли их в бане, а потом расчесывали волосы гребнем. И они отмылись и расчесались до такой степени, что стали аристократией. Теперь мы вывозились в грязи, зато эти — верхом, они откормлены, они умыты — и они... хорошо, пусть не они, но их дети, — тоже станут аристократией.

— Нет, — ответил Артем и пошел, с легким остервенением растирая дождевые капли по лицу.

— Думаете, нет? — спросил Василий Петрович, нагоняя его. В его голосе звучала явная надежда на правоту Артема. — Я тогда, пожалуй, еще ягодку съем... И вы тоже съешьте, Артем, я угощаю. Держите, вот даже две.

— Да ну ее, — отмахнулся Артем. — Сала нет у вас?

* * *

Чем ближе монастырь — тем громче чайки.

Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна — ужасным разором.

Тело ее выгорело, остались сквозняки, мшистые валуны стен.

Она высилась так тяжело и огромно, будто была построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с небес и уловила оказавшихся здесь в западню.

Артем не любил смотреть на монастырь: хотелось скорее пройти ворота и оказаться внутри.

— Второй год здесь бедую, а каждый раз рука тянется перекреститься, когда вхожу в кремль, — поделился Василий Петрович шепотом.

— Так крестились бы, — в полный голос ответил Артем.

— На звезду? — спросил Василий Петрович.

— На храм, — отрезал Артем. — Что вам за разница — звезда, не звезда, храм-то стоит.

— Вдруг пальцы-то отломают, лучше не буду дураков сердить, — сказал Василий Петрович, подумав, и даже руки спрятал поглубже в рукава пиджака. Под пиджаком он носил поношенную фланелевую рубашку.

— ...А во храме орава без пяти минут святых на трехъярусных нарах... — завершил свою мысль Артем. — Или чуть больше, если считать под нарами.

Двор Василий Петрович всегда пересекал быстро, опустив глаза, словно стараясь не привлекать понапрасну ничьего внимания.

Во дворе росли старые березы и старые липы, выше всех стоял тополь. Но Артему особенно нравилась рябина — ягоды ее нещадно обрывали или на заварку в кипяток, или просто, чтоб пожевать кисленького, а она оказывалась несносно горькой... Только на макушке еще виднелось несколько гроздей. Отчего-то все это напоминало Артему материнскую прическу.

Двенадцатая рабочая рота Соловецкого лагеря занимала трапезную единостолпную палату бывшей соборной церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Шагнули в деревянный тамбур, поприветствовав дневальных — чеченца, чью статью и фамилию Артем никак не мог запомнить, да и не очень хотел, и Афанасьева — антисоветская, как он сам похвастался, агитация — ленинградского поэта, который весело поинтересовался: «Как в лесу ягода, Тема?» Ответ был: «Ягода в Москве, замначальника ГэПэУ. А в лесу — мы».

Афанасьев тихо хохотнул, чеченец же, как показалось Артему, ничего не понял, хотя разве догадаешься по их виду? Афанасьев сидел, насколько возможно развалившись на табуретке, чеченец же то шагал туда-сюда, то присаживался на корточки.

Ходики на стене показывали без четверти семь.

Артем терпеливо дожидался Василия Петровича, который, набрав воды из бака при входе, цедил, отдуваясь, в то время как Артем опустошил бы кружку в два глотка... собственно, в итоге выхлебал целых три кружки, а четвертую вылил себе на голову.

— Нам таскать эту воду! — сказал чеченец недовольно, извлекая изо рта каждое русское слово с некоторым трудом. Артем достал из кармана несколько смятых ягод и сказал: «На»; чеченец взял, не поняв, что дают, а догадавшись, брезгливо катнул их по столу; Афанасьев поочередно поймал все и покидал в рот.

При входе в трапезную сразу ударил запах, от которого за день в лесу отвыкли: немытой человеческой мерзости, грязного, изношенного мяса. Никакой скот так не пахнет, как человек и живущие на нем насекомые; но Артем точно знал, что уже через семь минут привыкнет и забудется, и сольется с этим запахом, с этим гамом и матом, с этой жизнью.

Нары были устроены из круглых, всегда сырых жердей и неструганых досок.

Артем спал на втором ярусе. Василий Петрович — ровно под ним: он уже успел обучить Артема, что летом лучше спать внизу — там прохладней, а зимой — наверху, «...потому что теплый воздух поднимается куда?..». На третьем ярусе обитал Афанасьев. Мало того, что ему было жарче всех, туда еще непрестанно подкапывало с потолка — гнилые осадки давали испарения от пота и дыханья.

— А вы будто и неверующий, Артем? — не унимался внизу Василий Петрович, пытаясь продолжить начатый на улице разговор и одновременно разбираясь со своей ветшающей обувкой. — Дитя века, да? Начитались всякой дряни в детстве, наверное? Дыр бул щыл в штанах, чары навьи на уме, Бог умер своей смертью, что-то такое, да?

Артем не отвечал, уже прислушиваясь, не тащат ли ужин, хотя раньше времени пожрать давали редко.

На сбор ягод он брал с собой хлеб — с хлебом черника шла лучше, но докучливый голод, в конечном счете, не утоляла.

Василий Петрович поставил на пол ботинки с тем тихим бережением, что свойственно неизбалованным женщинам, убирающим на ночь свои украшения. Потом долго перетряхивал вещи и, наконец, горестно заключил:

— Артем, у меня опять украли ложку, вы только подумайте.

Артем тут же проверил свою — на месте ли: да, на месте, и миска тоже. Раздавил клопа, пока копошился в вещах. У него уже воровали миску. Он тогда взял у Василия Петровича 22 копейки местных соловецких денег взаймы и купил миску в лавке, после чего выцарапал «А» на дне, чтоб, если украдут, опознать свою вещь. При этом отлично понимая, что смысла в отметке почти нет: уйдет миска в другую роту — разве ж дадут посмотреть, где она да кто ее скоблит.

Еще клопа раздавил.

— Только подумайте, Артем, — еще раз повторил Василий Петрович, не дождавшись ответа и снова перерывая свою постель.

Артем промычал что-то неопределенное.

— Что? — переспросил Василий Петрович.

— Подумал, — ответил Артем и добавил, дабы утешить товарища: — В ларьке купите. А сейчас моей поужинаем.

Вообще Артему можно было и не принюхиваться — ужин неизменно предварялся пением Моисея Соломоныча: тот обладал замечательным чутьем на пищу и всякий раз начинал подвывать за несколько минут до того, как дежурные вносили чан с кашей или супом.

Пел он одинаково воодушевленно все подряд — романсы, оперетки, еврейские и украинские песни, пытался даже на французском, которого не знал, что можно было понять по отчаянным гримасам Василия Петровича.

— Да здравствует свобода, советская власть, рабоче-крестьянская воля! — негромко, но внятно исполнял Моисей Соломонович безо всякой, казалось, иронии. Череп он имел длинный, волос черный, густой, глаза навыкате, удивленные, рот большой, с заметным языком. Распевая, он помогал себе руками, словно ловя проплывающие мимо в воздухе слова песен и строя из них башенку.

Афанасьев с чеченцем, семеня ногами, внесли на палках цинковый бак, затем еще один.

На ужин строились повзводно, занимало это всегда не меньше часа. Взводом Артема и Василия Петровича командовал такой же заключенный, как они, бывший милиционер Крапин — человек молчаливый, суровый, с приросшими мочками ушей. Кожа лица у него всегда была покрасневшая, будто обваренная, а лоб выдающийся, крутой, какой-то особенно крепкий на вид, сразу напоминающий давно виданные страницы то ли из учебного пособия по зоологии, то ли из медицинского справочника.

В их взводе, помимо Моисея Соломоновича и Афанасьева, имелись разнообразные уголовники и рецидивисты, терский казак Лажечников, три чеченца, один престарелый поляк, один молодой китаец, детина из Малороссии, успевший в гражданскую повоевать за десяток атаманов и — в перерывах — за красных, колчаковский офицер, генеральский денщик по прозвищу Самовар, дюжина черноземных мужиков и фельетонист из Ленинграда Граков, отчего-то избегавший общения со своим земляком Афанасьевым.

Еще под нарами, в царящей там несусветной помойке — ворохах тряпья и мусора — два дня как завелся беспризорник, сбежавший то ли из карцера, то ли из восьмой роты, где в основном и обитали такие, как он. Артем один раз прикормил его капустой, но больше не стал, однако беспризорник все равно спал поближе к ним.

— Как он догадывается, Артем, что мы его не выдадим? — риторически, с легчайшей самоиронией поинтересовался Василий Петрович. — Неужели у нас такой никчемный вид? Я как-то слышал, что взрослый мужчина, не способный на подлость или, в крайнем случае, убийство, выглядит скучно. А?

Артем смолчал, чтоб не отвечать и не сбивать себе мужскую цену.

Он прибыл в лагерь два с половиной месяца назад, получил из четырех возможных первую рабочую категорию, обещавшую ему достойный труд на любых участках, невзирая на погоду. До июня пробыл в карантинной, тринадцатой, роте, отработав месяц на разгрузках в порту. Грузчиком Артем пробовал себя еще в Москве, лет с четырнадцати, и к этой науке был приноровлен, что немедленно оценили десятники и нарядчики. Кабы еще кормили получше и давали спать побольше, было б совсем ничего.

Из карантинной Артема перевели в двенадцатую.

И эта рота была не из легких, режим немногим мягче, чем в карантинной. В 12-й тоже трудились на общих работах, часто вкалывали без часов, пока не выполнят норму. Лично обращаться к начальству права не имели — исключительно через комвзвода. Что до Василия Петровича с его французским, так Эйхманис в лесу с ним первым заговорил.

Весь июнь двенадцатую гоняли частью на баланы, частью — на уборку мусора в самом монастыре, частью — корчевать пни, а еще — на сенокос, на кирпичный завод, на обслуживание железной дороги. Городские не всегда умели косить, другие не годились на разгрузку, кто-то попадал в лазарет, кто-то — в карцер, и партии без конца заменяли и смешивали.

Баданов — работы самой тяжелой, муторной и мокрой — Артем пока избежал, а с пнями намучился: никогда и подумать не мог, насколько крепко, глубоко и разнообразно деревья держатся за землю.

— Если не рубить корни по одному, а разом огромной силою вырвать пень, то он в своих бесконечных хвостах вынесет кус земли размером с купол Успенской! — в своей образной манере то ли ругался, то ли восхищался Афанасьев.

Норма на человека была 25 пней в день.

Дельных заключенных, спецов и мастеров переводили в другие роты, где режим был попроще, но Артем все никак не мог решить, где он, недоучившийся студент, может пригодиться и что, собственно, умеет. К тому же решить — это еще полдела; надо, чтоб тебя увидели и позвали.

После пней тело ныло, как надорванное; наутро казалось, что сил больше для работы нет. Артем заметно похудел, начал видеть еду во сне, постоянно искать запах съестного и остро его чувствовать, но молодость еще тянула его, не сдавалась.

Вроде бы помог Василий Петрович, выдав себя за бывалого лесного собирателя, — впрочем, так оно и было, — заполучил наряд по ягоды и протащил за собой Артема, но обед в лес каждый день привозили остывший и не по норме: видно, такие же зэки-развозчики вдосталь отхлебывали по дороге, а в последний раз ягодников вообще забыли покормить, сославшись на то, что приезжали, но разбредшихся по лесу собирателей не нашли. На развозчиков кто-то нажаловался, им влепили по трое суток карцера, но сытней от этого не стало.

На ужин нынче была гречка, Артем с детства ел быстро, здесь же, присев на лежанку Василия Петровича, вообще не заметил, как исчезла каша; вытер ложку об испод пиджака, передал ее старшему товарищу, сидевшему с миской на коленях и тактично смотревшему в сторону.

— Спаси Бог, — тихо и твердо сказал Василий Петрович, зачерпывая разваренную, безвкусную, на сопливой воде изготовленную кашку.

— Угу, — ответил Артем.

Допив кипяток из консервной банки, заменявшей кружку, вспрыгнул, рискуя обрушить нары, к себе, снял рубаху, разложил ее вместе с портянками под собой как покрывало, чтоб подсушились, влез руками в шинель, накрутил на голову шарф и почти сразу забылся, только успев услышать, как Василий Петрович негромко говорит беспризорнику, имевшему обыкновение во время кормежки несильно дергать обедающих за брюки:

— Я не буду вас кормить, ясно? Это ведь вы у меня ложку украли?

Ввиду того, что беспризорник лежал под нарами, а Василий Петрович сидел на них, со стороны могло показаться, что он говорит с духами, грозя им голодом и глядя перед собой строгими глазами.

Артем еще успел улыбнуться своей мысли, и улыбка сползла с губ, когда он уже спал, — оставался час до вечерней поверки, зачем время терять.

В трапезной кто-то дрался, кто-то ругался, кто-то плакал; Артему было все равно.

За час ему успело присниться вареное яйцо — обычное вареное яйцо. Оно светилось изнутри желтком, будто наполненным солнцем, источало тепло, ласку. Артем благоговейно коснулся его пальцами — и пальцам стало горячо. Он бережно надломил яйцо, оно распалось на две половинки белка, в одной из которых, безбожно голый, призывный, словно бы пульсирующий, лежал желток. Не пробуя его, можно было сказать, что он неизъяснимо, до головокружения сладок и мягок. Откуда-то во сне взялась крупная соль, и Артем посолил яйцо, отчетливо видя, как падает каждая крупинка и как желток становится посеребренным — мягкое золото в серебре. Некоторое время Артем рассматривал разломанное яйцо, не в силах решить, с чего начать — с белка или желтка. Молитвенно наклонился к яйцу, чтобы бережным движением слизнуть соль.

Очнулся на секунду, поняв, что лижет свою соленую руку.

* * *

Из двенадцатой выходить ночью было нельзя — парашу до утра оставляли прямо в роте. Артем приучил себя вставать между тремя и четырьмя — шел с еще зажмуренными глазами, по памяти, с сонной остервенелостью счесывая с себя клопов, пути не видя... зато ни с кем не делил своего занятия.

Обратно возвращался, уже чуть различая людей и нары.

Беспризорник так и спал прямо на полу, видна была его грязная нога. «Как не подох еще...» — подумал Артем мимолетно. Моисей Соломонович храпел певуче и разнообразно. Василий Петрович во сне, не первый раз заметил Артем, выглядел совсем иначе — пугающе и даже неприятно, словно сквозь бодрствующего человека выступал иной, незнакомый.

Укладываясь на еще не остывшую шинель, Артем полупьяными глазами осмотрел трапезную с полутора сотнями спящих заключенных.

«Дико! — подумал он, зажмуриваясь, испуганно и удивленно. — Лежит человек, ничего не делает, и так... большую часть... жизни...»

В другом конце вспыхнула спичка — кто-то, не стерпев, захотел передавить хоть одно клопиное семейство при свете. Клопы даже ночью непрестанно ползли по стойкам нар, по стенам, падали откуда-то сверху...

Артем открыл на малый всполох спички глаза, увидел, как кто-то из второго взвода полез в чужой мешок. Встретился взглядом с вором, зажмурился, отвернулся, забыл навсегда.

И тут же разбудил его утренний, пятичасовой колокол, а спустя несколько мгновений — заоравший Афанасьев:

— Рота, подъем!

Сегодня Артем ненавидел Афанасьева; вчера кричал другой дневальный, гортанным голосом, — и ненависть была к нему.

Через минуту плохо различимый в противной полутьме Моисей Соломонович уже пел:

— Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли?

Артем скосился на китайца, ночевавшего совсем рядом, но тот, похоже, не слышал слов песни: сидел на своем втором ярусе, гладил шею и лицо, словно под руками вновь обретал себя, свое тело и сознание.

— Ты, б..., оперетка, заткнись! — крикнул кто-то из еще не поднявшихся с нар блатных.

Моисей Соломонович споткнулся на середине слова.

— Я же вроде бы негромко, — сказал он в никуда, разводя руками.

Молчал Моисей Соломонович, впрочем, недолго, вскоре снова еле слышно заурчал что-то — вносили пищу.

Можно было встать в очередь и ждать минут сорок, пока дойдет до тебя, но Артем развивал в себе терпение, чтоб не тратить время впустую.

Пересев под лампочку, успел подшиться и полистать местный, в лагере выпускаемый самими же зэками журнал «Соловецкие острова». Его Василий Петрович брал в библиотеке, видимо, для поддержания едкой неприязни к лагерной администрации на должном уровне. Артем в журнале читал чаще всего поэтическую страничку, — надо сказать, весьма слабую, разве только Борис Ширяев, не без старания слагавший с чужих голосов, обращал на себя внимание. Освободился он или еще нет?.. Журнальные стихи, какими б они ни были, Артем заучивал наизусть и повторял их про себя иногда, сам не очень понимая, зачем.

Только разобравшись со всеми этими делами, Артем встал в очередь: как раз оставалось несколько человек.

— Артем, вы не передумали? — поинтересовался Василий Петрович, возвращая ему вымытую ложку.

— Нет, не пойду, — ответил Артем с улыбкой, сразу поняв, что речь идет о наряде. — Не хлопочите за меня, не стоит.

— Поставят вас на баланы, голубчик, и взвоете. Не вы первый. Одумайтесь, — строго сказал Василий Петрович. — Я пять дней подряд делал полторы нормы на ягодах — сегодня меня поставили старшим. Скоро на северо-восточном берегу пойдут смородина и малина, имейте в виду. У них тут к тому же растет замечательная ягода шикша — она же сика, очень полезная, судя по названию.

— Нет, — повторил Артем. — У меня с моей... шикшой все в порядке.

— В лесу можно увидеть настоящего полевого шмеля, как у нас, в Тульской губернии, — совсем уж беспомощно прибавил Василий Петрович. — А крапиву в человеческий рост, помните, с вами встретили? А птицы? Там птицы поют!

— Там одна птица так стрекочет — словно затвор передергивают, неприятно, — сказал Артем. — И комарья в лесу втрое больше. Не хочу.

— Вам еще зиму предстоит пережить, — сказал Василий Петрович. — Вы еще не знаете, что такое соловецкая зима!

— А вы и зимой думаете ягоды собирать? — засмеялся Артем, тут же укорив себя за некоторую дерзость, но Василий Петрович и вида не подал.

Моисей Соломонович, даром что пел, а все слышал. Нежданно оказался возле нар Василия Петровича и, прервав песню, спросил:

— Освобождается место в бригаде? Артем не хочет? И правильно — он юн, зол, крепок! Василий Петрович, я мог бы, пусть на время,

заменить Артема. Не смотрите на меня так неприязненно, вы даже не знаете, как я точно вижу ягоду в траве, у меня дар!

Василий Петрович только рукой махнул и пошел по каким-то своим делам.

— Так мы договорились? — звал его Моисей Соломонович, ласково глядя вслед. — Я вас отблагодарю, у меня на днях ожидается посылка от мамочки.

Мамочкой Моисей Соломонович называл и жену, и свою мать, и нескольких разной степени родства теток, и даже, кажется, кого-то еще.

— А вас, Артем, ждет замечательная водолечебница на Соловецком курорте, — сказал Моисей Соломонович, подмигнув большим, как яйцо, глазом. — Заезд на три года дает гарантию крепкого здоровья на весь век. У вас ведь три?

Артем спрыгнул со своих нар и как-то так спросил: «А у вас?» — что Моисей Соломонович сразу пропал.

— Остолоп, — сказал Артему вдруг образовавшийся возле нар Крапин. — Сдохнешь.

Он имел такое обыкновение: нагрубить и потом еще стоять с минуту, ждать, что ответят. Артем молчал, закусив губу и глядя мимо комвзода, повторяя про себя два слова: «Проклятый кретин». Артем боялся, что его ударят, и еще больше боялся, что все увидят, как его ударили.

Моисей Соломонович вроде бы разбирался с вещами и перетряхивал свои кофты, но по спине было видно: он слушает изо всех сил, чем все закончится.

Скомандовали построение на утреннюю поверку.

Строились в коридоре. На выходе сильно замешкались, с кем-то начали пререкаться, набычась лбами, чеченцы, всегда державшиеся вместе, Крапин, у которого в руке был дрын — палка для битья, — подогнал блатных, которых не любил особенно и злобно, а они ему отвечали затаенной ненавистью; досталось дрыном среди иных будто бы случайно Артему, но Артем был уверен, что Крапин видел, кого бил, и ударил его нарочно.

— Больно? — пока строились, участливо спросил Василий Петрович, видя, как скривился Артем.

— Мама моя так шутила, когда мы с братом собирались к вечеру и просили ужинать: «А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам!» — вдруг вспомнил Артем, невесело ухмыляясь. — Знала бы...

Пока томился в строю, Крапин не шел у него из головы. Глядя перед собой, он все равно, до рези в глазу, различал слева, метрах в десяти, покатый красный лоб и приросшую мочку уха.

Артем никак не хотел стать причиной насупленного внимания и малопонятного раздражения комвзвода: жаловаться тут некому, управы не найдешь, зато на тебя самого... управу найдут скоро.

С первого дня в лагере он знал одно: главное, чтоб тебя не отличали, не помнили и не видели все те, кому и не нужно видеть тебя, а сейчас получалось ровно наоборот. Артем не боялся боли, и его б не очень унизило, когда б ему попало как равному среди всех остальных; тошно, когда тебя зачем-то отметили.

«Дались этому кретину мои наряды, — с грустью и одновременно со злобой думал Артем. — Я никакой работы не боюсь! Может, я в ударники хочу, чтоб мне срок уполовинили! Черники мне столько не собрать с этой, мать ее, шикшой».

Пока он размышлял обо всем этом, не заметил, как дошла до него перекличка заключенных, и очнулся, только когда его толкнули локтем.

— Какое число? — в ужасе спросил Артем стоявшего рядом. То был китаец, и он, коверкая язык, повторил свой номер в строю. Артем вспомнил, что именно эта цифра только что звучала, и назвал следующую.

Поймал боковым зрением еще один взбешенный взгляд Крапина.

«Что ж такое!» — выругался он на себя, желая, как в детстве, заплакать, когда случалась такая же нелепая и назойливая череда неудач.

— Смир-р-р-но! Равнение на середину! — проорал ротный.

Ротным у них был грузин — то ли по прозвищу, то ли по фамилии Кучерава — невысокий, с глазами навыкате, с блестящими залысинами тип, напоминавший Артему изображение беса. Как и все ротные в лагере, он был одет в темно-синий костюм с петлицами серого цвета и фуражку, которую носить не любил и часто снимал, тут же отирая грязным платком пот с головы.

— Здравствуй, двенадцатая рота! — гаркнул Кучерава, выпучивая бешеные глаза.

Артем, как учили, сосчитал до трех и во всю глотку гаркнул:

— Здра! — хоть криком хотелось ему выделиться, но разве кто заметит твою ретивость в общем хоре?

Ротный доложил дежурному по лагерю о численном составе и отсутствии происшествий.

Чекист принял доклад и сразу ушел.

— Отщепенцы, мазурики, филоны и негодяи! — с заметным акцентом обратился к строю ротный, который выглядел так, словно пил всю ночь и поспал час перед подъемом: глаза его были красны, чем сходство с бесом только усиливалось. — Выношу повторное предупреждение: за игру в карты и за изготовление карт...

Дальше ротный, не стыдясь монастырских стен, дурно, к тому же путая падежи — не «...твою мать», а отчего-то «...твоей матери», — выругался. Потом долго молчал, вспоминая и, кажется, время от времени задремывая.

— И второе! — вспомнил он, качнувшись. — В сентябре возобновит работу школа для заключенных лагеря. Школа имеет два отделения. Первое — по ликвидации полной безграмотности, второе — для малограмотных. Второе, в свою очередь, разделяется еще на три части: для слабых, для средних, для относительно сильных. Кроме общей и математической грамоты будут учить... этим... естествознанию с географией... и еще обществоведению.

Строй тихо посмеивался; кто-то поинтересовался, будут ли изучать на географии, как короче всего добраться из Соловков в Лондон, и научат ли, кстати, неграмотных английскому языку.

— Да, научат, — вдруг ответил ротный, услышав нечутким ухом разговоры в строю. — Будут специальные кружки по английскому, французскому и немецкому, а также литературный и натуралистический кружки, — с последними словами он едва справился, но смысл Артем уловил.

Рядом с Артемом стоял колчаковский офицер Бурцев, всегда подтянутый, прилизанный, очень точный в делах и движениях — его небезуспешно выбритая щека брезгливо подрагивала, пока выступал Кучерава. Характерно, что помимо Бурцева во взводе был рязанский мужик и бывший красноармеец Авдей Сивцев, кстати, малограмотный.

Ротный, пока боролся со словами, сам несколько распросонился.

— Половина из вас читать и писать не умеет.

«А другая половина говорит на трех языках», — мрачно подумал Артем, косясь на Бурцева.

— Вас всех лучше бы свести под размах! Но советская власть решила вас обучить, чтобы из вас вышел толк. Неграмотные учатся в обязательном порядке, остальные — по желанию. Желающие могут записываться уже сейчас, — ротный неровным движением вытер рот и махнул рукой, что в это нелегкое для него утро обозначало команду «Вольно!».

— Запишемся в школу — от работы освобождать будут? — выкрикнул кто-то, когда строй уже смешался и загудел.

— Школа начинается после работы, — ответил ротный негромко, но все услышали.

Кто-то презрительно хохотнул.

— А вам вместо работы школу подавай, шакалы? — вдруг заорал ротный, и всем сразу расхотелось смеяться.

С нарядами разбирались тут же — за столиками сидели нарядчики, распределяли, кого куда.

Пока Артем ждал своей очереди, Крапин прошел к одному из столов — у Артема от одного вида взводного зазудело в спине, как раз там, куда досталось дрыном.

Зуд не обманул — на обратном пути Крапин бросил Артему:

— Привыкай к новому месту жительства. Скоро насовсем туда.

Василий Петрович, стоявший впереди, обернулся и вопросительно посмотрел на Артема; тот пожал плечами. Меж лопатками у него скатилась капля пота. Левое колено крупно и гадко дрожало.

Нарядчик спросил фамилию Артема и, подмигнув в тусклом свете «летучей мыши», сказал:

— На кладбище тебе.

Авдей Сивцев все искал очередь, которая записывается в школу. Никакой очереди не было.

* * *

Работа оказалось не самой трудной, зря пугался.

А они даже обнялись с Василием Петровичем на прощанье — тот, как и собирался, опять отправился по ягоды, захватив на этот раз Моисея Соломоновича.

— Артем... — начал торжественно Василий Петрович, держа его за плечи.

— Ладно, ладно, — отмахнулся тот, чтоб не раскиснуть совсем. — Хотел бы наказать Крапин — отправил бы на глиномялку... Узнаем сейчас, что за кладбище. Может, меня в певчие определили.

В Соловецком монастыре оставался один действующий храм — святого Онуфрия, что стоял на погосте. С тех пор как лагерь возглавил Эйхманис, там вновь разрешили проводить службы, и любой зэк, имевший «сведение» — постоянный пропуск на выход за пределы монастыря, — мог их посещать.

— Певчие в Онуфриевской — да! В церквах Советской России таких не сыскать, — сказал Василий Петрович, разулыбавшись. — Моисей Соломонович и туда просился, Артем. Но там целая очередь уже выстроилась из оперных артистов. Такие баритоны и басы, ох...

Артема направили, конечно, не в певчие, а на снос старого кладбища в другой стороне острова.

С ним в бригаде были Авдей Сивцев, чеченец Хасаев, казак Лажечников, представлявшийся всегда по имени-отчеству: «Тимофей Степаныч», — что, к слову сказать, вполне шло к его курчавой бороде и мохнатым бровям. «У такой бороды с бровями отчество быть обязано», — говорил Василий Петрович по этому поводу Артему в своей теплой, совсем не саркастической манере.

— Пошто кресты-то ломать? — спросил Сивцев конвойного, когда дошли.

Вообще говорить с конвойными запрещалось, но запрет сплошь и рядом нарушался.

— Скотный двор тут будет, — сказал конвойный хмуро; по виду было не понять, шутит или открывает правду.

— И так монастырь переделали в скотный двор, по кладбищам пошли теперя, — сказал мужик негромко.

Конвойный смолчал и, присев на лавочку возле крайней могилки, вытащил папироску из портсигара.

«Наверняка у какого-нибудь местного бедолаги забрал», — мельком подумал Артем.

Винтовки при охраннике не было — конвой часто ходил без оружия; а на многих работах охраны не было вообще. Конвойных набирали из бывших, угодивших в лагерь чекистов, — в основном, надо сказать, безусловной сволочи.

Говорили, что, если сложатся удобные обстоятельства, — и, естественно, при наличии оружия, — конвойный может убить заключенного, например, за грубость или если приглянулась какая-то вещь, вроде этого портсигара, а потом наврать что-нибудь про то, что «чуть не убег, товарищ командир».

Но Артем сам таких случаев не видел, в разговоры особенно не верил, к тому же дорогих вещей у него при себе не было, а бежать он не собирался. Некуда бежать: вся жизнь впереди, ее не обгонишь.

Появился десятник, по дороге отвлекшийся на ягоды; в руке он держал один топор, а второй — под мышкой. Еще издалека заорал, плюясь недожеванной ягодой:

— Что стоим? На всю работу — один день! Чтоб к вечеру не было тут ни кладбища, ни крестов... ни надгробий! Все стаскиваем в одну кучу! Пока не сделаем работу — отбоя не будет! Хоть до утра тут ковыряйтесь! Спать будете в могилах, а не уйдете!

— Скелеты тоже вынать наружу? — спросил Сивцев.

— Я из тебя скелет выну наружу! — еще громче заорал десятник.

— Ну-ка, за работу, треханая ты лошадь! — нежданно гаркнул на Сивцева конвойный, вскочив с лавки.

Тот шарахнулся, как от горячей головни, ухватился за подвернувшийся старый крест на могиле и повалился вместе с ним.

С этого и пошла работа.

«Кладбище так кладбище, — успокаивал себя Артем. — Дерево рубишь — оно хотя бы живое, а тут все умерли».

Поначалу Артем считывал имена похороненных монахов, но через час память уже не справлялась. Зацепилась только одна дата — его рождения, но сто лет назад, в тот же день и тоже в мае. Дата смерти была — 1843-й, декабрь.

«Мало... — с усмешкой, то ли о покойном, то ли о себе, подумал Артем; и еще подумал: — Что там у нас будет в 1943-м?»

Было солнечно; на солнце всегда вилось куда меньше гнуса.

Сначала Артем, потом чеченец, а следом Лажечников разделись по пояс. Один Сивцев так и остался в своей рубахе: как у большинства крестьян, шея его была выгоревшей, морщинистой, а видневшееся в вороте рубахи тело — белым.

Все понемногу вошли в раж: кресты выламывали с остервенением, если не поддавались — рубили, Сивцев ловко обходился с вверенным ему топором; ограды раскачивали и, если те не рушились, крушили и топтали. Надгробия сначала сносили в одно место и складывали бережно, будто они еще могли пригодиться и покойные потом бы их заново разобрали по могилам, разыскав свои имена.

— Извиняйте, потревожим, — приговаривал казак Лажечников, читая имена, — ...Елисей Савватьевич... Тихон Миронович... и вы извиняйте, Пантелеймон Иваныч... — но вскоре запыхался, залился потом, заткнулся. Через час всякий памятник уже раскурочивали без почтения и пощады, поднимали с кряком, тащили, хрипло матерясь, и бросали как упадет.

Будто бы восторг святотатства отражался порой в лицах.

«Есть в том грех, нет? — снова рассеянно думал Артем, тяжело дыша и поминутно отирая лоб. — Когда бы я так лежал в земле — стало б мне обидно... что креста надо мной нет... а надгробный камень с моим именем... свален вперемешку... с остальными... далеко от могилы?»

Отвлек от раздумий Сивцев — улучил минутку и, проходя мимо конвойного, сказал негромко:

— А про лошадь так нельзя, милок. На лошади весь крестьянский мир едет. Ты сам-то всю жизнь в городе, наверно? Родаки из фабричных?

— Чего? — не понял конвойный; Сивцев ушел со своим обломанным деревянным крестом к общей куче, где их было под сотню, а то и больше.

— Ни мертвым, ни живым... покоя большаки... не дают, — шептал мужик, которого молчание, похоже, томило больше всех.

Работу сделали неожиданно скоро — всех мертвых победили на раз.

Кресты смотрелись жутковато: будто случилась большая драка меж костлявых инвалидов.

Запалил костер с одной стороны десятник, не отказавший себе в удовольствии, а с другой — чеченец, который потом все яростней и яростней суетился возле огня, поправляя торопливо занявшееся дерево и закидывая то, что осыпалось к ногам, в самый жар.

Огонь был высок, сух, прям.

— Они уж в раю все, — сказал Сивцев про кресты, успокаивая даже не Артема, а скорее себя. — Мертвым кресты не нужны, кресты нужны живым, а для живых тут родни нету. Мы безродные теперь.

Когда догорело, десятник скучно осмотрел место бывшего кладбища. Делать было нечего на этой некрасиво разрытой, будто обмелевшей и обомлевшей земле. Разве что надгробные камни унести еще дальше, побросать в воду или закопать, но такого приказа не поступало.

Артем вдруг болезненно почувствовал, что все мертвецы отныне и навек в земле — голые. Были прикрытые, а теперь — как дети без одеял в стылом доме.

«И что? — спросил себя. — Что с этим делать?»

Тряхнул головой и — забылся, забыл.

В кремль пошли засветло.

Чеченец внешне был привычно хмур, но внутренне чем-то будто бы возбужден. Уже на подходе, когда сложенные из валунов монастырские стены начали доносить свой особый тяжелый запах, вдруг твердо произнес:

— Нам сказали б ломать свое кладбище — никто бы не тронул. Умер бы, а не тронул. А вы сломали.

— Врешь, сука, — сразу скривил взбесившееся лицо побагровевший Лажечников.

— Сука это говорит, — ответил чеченец почти по слогам.

У Лажечникова так натянулась толстая, какая-то костяная жила на шее, что показалось: оборви ее — и голова завалится набок. Он сделал шаг в сторону чеченца, заранее растопырив руки и раскрыв пальцы так, словно бы собирался чеченца пощекотать под бока, но конвойный крикнул: «Ну-ка!» — и толкнул Лажечникова в спину.

— В роте доскажем, — посулился чеченцу Лажечников. Но минуту спустя не стерпел: — Мы из терских. Когда вас, воров, давили — вы кладбища за собой не утаскивали, оставляли нам своих покойников, чтоб мы потоптали.

— Да, да, — согласился чеченец, и это его «да, да» прозвучало как вскрик какой-то крупной щетинистой птицы. — Вы так можете: сначала чужое кладбище потоптать, потом свое.

Лажечникова снова всего передернуло, он резко оглянулся в напрасной надежде, что конвойный куда-то пропал, но нет, тот шел, и лицо его было равнодушно.

— Ты, что ль, не слышишь, как тут христиан поносят? — спросил Лажечников в сердцах.

— Это ты у кого спросил про христиан? — коротко посмеялся чеченец, скосившись на конвойного. — Нету больше вашего Бога у вас! Какой это Бог, раз в него такая вера!

— Чеченцы тоже христианами были раньше, давно... — вдруг сказал Артем, очарованный в детстве повестями Бестужева-Марлинского и с разлета перечитавший тогда все, что нашел о Кавказе.

Хасаев посмотрел на Артема так, как смотрят на нежданно влезшего в беседу старших ребенка, и, смолчав, только подвигал челюстью.

Артем мысленно обругал себя: зачем влез, дурак.

«Ой, дурак, — повторял он, пока шли по монастырскому двору. — Ой, дурак, дурак, дурак, весь день дурак...»

Так часто повторял, что даже забыл, по какому поводу себя ругает.

В роте всем им выдали по пирожку с капустой за ударный труд.

— И не знаешь, что с им делать: прожевать или подавиться, — сказал Сивцев, хмурясь на пирожок, как если бы тот был живой; но все-таки съел и собрал потом с колена крошки.

До ужина оставался еще час, и Артем успел поспать, заметив, что в роте Лажечников и Хасаев как разошлись, так и не попытались договорить.

Лажечников перебирал свое изношенное тряпье на нарах так внимательно и придирчиво, как, наверное, смотрел у себя на Тереке конскую упряжь или рыболовные снасти, а чеченец негромко перешептывался со своими; издалека казалось, что они разговаривают даже не словами, а знаками, жестами, быстрыми оскалами рта.

* * *

Артема растолкал Василий Петрович; тут же раздалось и пение Моисея Соломоновича про лесок да соловья — верно, навеял сбор ягод.

— Как я вам завидую, Артем, — такой крепкий сон, — говорил Василий Петрович, и голос у него был уютный, будто выплыл откуда-то из детства. — Даже непонятно, за что могли посадить молодого человека, спящего таким сном праведника в аду. Ужин, Артем, вставайте.

Артем открыл глаза и близко увидел улыбающееся лицо Василия Петровича и еще ближе — его руку, которой он держался за край нар Артема.

Поняв, что товарищ окончательно проснулся, Василий Петрович мигнул Артему и присел к себе.

— Праведники, насколько я успел заметить, спят плохо, — нарочито медленно спускаясь с нар и одновременно потягивая мышцы, ответил Артем.

С аппетитом ужиная поганой пшенкой, Артем размышлял о Василии Петровиче, одновременно слушая его, привычно говорливого.

Сначала Василий Петрович расспросил, что за наряд был на кладбище, покачал головой: «Совсем сбесились, совсем...» Потом рассказал, что нашел ягодные места и что Моисей Соломонович обманул — зрение на чернику у него отсутствовало напрочь; скорей всего, он вообще был подслеповат. «Ему надо бы по кооперативной части пойти...» — добавил Василий Петрович.

Артем вдруг понял, что казалось ему странным в Василии Петровиче. Да, умное, в чем-то даже сохранившее породу лицо, прищур, посадка головы, всегда чем-то озадаченный, разборчивый взгляд, но вместе с тем он имел сухие, цепкие руки, густо покрытые белым волосом, при том что сам Василий Петрович был едва седой.

Артем неосознанно запомнил эти руки, еще когда собирали ягоды: пальцы Василия Петровича обладали той странной уверенностью движений, что в некоторых случаях свойственна слепым, когда они наверняка знают, что вокруг.

«Руки словно бы другого человека», — думал Артем, хлебной корочкой с копеечку величиной протирая миску. Хлеб выдавался сразу на неделю, у Артема еще было фунта два — он научился его беречь, чтоб хватало хотя бы до вечера субботы.

— Вы знаете, Артем, а когда я только сюда попал, условия были чуть иные, — рассказывал Василий Петрович. — До Эйхманиса здесь заправлял другой начальник лагеря, по фамилии Ногтев, — редкая, даже среди чекистов, рептилия. Каждый этап он встречал сам и лично при входе в монастырь убивал одного человека из револьвера: бамс! — и смеялся. Чаще всего священника или каэра выбирал. Чтоб все знали с первых шагов, что власть тут не советская, а соловецкая, — это была частая его присказка. Эйхманис так не говорит, заметьте, и уж тем более не стреляет по новым этапам. Но что касается пайка — тогда еще случались удивительные штуки. Когда северный фронт Белой армии бежал, они оставили тут большие запасы: сахар в кубиках, американское сало, какие-то невиданные консервы. Не скажу, что нас этим перекармливали, но иногда на стол кое-что перепадало. В тот год тут еще жили политические — эсдеки, эсеры и прочие анархисты, разошедшиеся с большевиками в деталях, но согласные по сути, — так вот их корми-

ли вообще, как комиссарских детей. И они, кроме всего прочего, вовсе не работали. Зимой катались на коньках, летом качались в шезлонгах и спорили, спорили, спорили... Теперь, верно, рассказывают про свое страшное соловецкое прошлое, а они и Соловков-то не видели, Артем.

В котомке за спиной Василий Петрович принес грибов, которые, видимо, собрался сушить, а в собственноручно и крепко сшитом мешочке на груди приберег немного ягод. Присев, некоторое время раскачивал мешочком так, чтоб было заметно из-под нар. Вскоре появились две грязные руки, сложенные ковшиком, — туда и чмокнула смятая ягодная кашица. Ногти на руках были выдающиеся.

— А я ведь ни разу не видел его лица, — вдруг сказал Артем, кивнув на руки беспризорника, которые тут же исчезли.

— А пойдемте на воздух, погуляем по монастырю, — предложил Василий Петрович, помолчав. — Сегодня у них театр — во дворе не так людно, как обычно. К тому же у меня есть одно преприятнейшее дельце.

Артем с удовольствием согласился.

Возле мраморной часовенки для водосвятия стояли две старинные пушки на лафетах. Артему почему-то они часто снились, и это был пугающий, болезненный сон. Более того, Артем был отчего-то уверен, что впервые видел этот сон с пушками еще до Соловков.

Они дошли до сквера между Святительским и Благовещенским корпусами. Артем был не совсем сыт и не очень выспался, но все-таки поспал, все-таки поел горячего, и оттого, по-юношески позевывая, чувствовал себя почти довольным. Василий Петрович, всегда размышляющий о чем-то неслучайном и нужном, торопился чуть впереди; был он в своей неизменной даже летом кепке английского образца — похоже, стеснялся лысеющей головы.

Стоял пресветлый вечер, воздух был пышен, небо насыщенно и старательно раскрашено, но за этими тихими красками будто бы чувствовался купол, некая невидимая твердь.

«В такое небо можно, как в колокол, бить», — сказал как-то Афанасьев.

С запада клоками подгоняло мрачную тучу, но она была еще далека.

«Как за бороду в ад, тащат эту тучу», — подумал Артем, намеренно подражая Афанасьеву, и про себя улыбнулся, что недурно получилось: может, стихи начать писать? Он — да, любил стихи, только никогда и никому об этом не говорил: а зачем?

В сквере стояли или прогуливались несколько православных священников, почти все были в старых латаных-перелатаных рясах, но без наперсных крестов; один — в красноармейском шлеме со споротой звездой: на подобные вещи давно никто не обращал внимания, каждый носил что было. Василий Петрович кивком обратил внимание Артема на то, что отдельно на лавочке сидят ксендзы, сосредоточенные и чуть надменные.

— Как я заметил, вы замечательно скоро вписались в соловецкую жизнь, Артем, — говорил Василий Петрович. — Вас даже клопы как-то не особо заедают, — посмеялся он, но тут же продолжил серьезно: — Лишних вопросов не задаете. Разговариваете мало и по делу. Не грубы и не глупы. Здесь многие в первые же три месяца опускаются: либо становятся фитилями, либо идут в стукачи, либо попадают в услужение к блатным, и я даже не знаю, что хуже. Вы же, я наблюдаю, ничего особенного не предпринимая, миновали все эти угрозы, будто бы их и не было. Труд

вам пока дается — вы к нему приспособлены, что редкость для человека с умом и соображением. Ничего не принимаете близко к сердцу — и это тоже завидное качество. Вы очень живучи, как я погляжу. Вы задуманы на долгую жизнь. Не будете совершать ошибок — все у вас сложится.

Артем внимательно посмотрел на Василия Петровича; ему было приятно все это слышать, но в меру, в меру приятно. Тем более что Артем знал в себе дурацкие, злые, сложно объяснимые замашки, а Василий Петрович — еще нет.

— Здесь много драк, склок, — продолжал тот, — вы же, как я заметил, со всеми вполне приветливы, а к вам все в должной мере равнодушны.

— Не все, — сказал Артем.

— Ну да, ну да, Крапин. Но, может, это случайность?

Артем пожал плечами, думая про то, как все странно, если не сказать — диковато: извлеченный из своей жизни, как из утробы, он попал на остров; если тут не край света, то край страны точно; его охраняет конвой; если он поведет себя как-то не так, его могут убить; и вместе с тем он гуляет в сквере и разговаривает в той тональности, как если бы ему предстояло сейчас вернуться домой, к матери.

— На моей памяти он никому особенно не навредил, — продолжал Василий Петрович про Крапина. — Вот если с ротным у вас пойдет все не так — тогда беда, беда! Кучерава — ящер. Впрочем, вас обязательно переведут куда-нибудь в роту полегче, в канцелярию... Будет у вас своя келья — в гости меня тогда позовете, чаю попить.

— Василий Петрович, — поинтересовался Артем, — а что же вы до сих пор не сделали ничего, чтоб перебраться подальше от общих работ? Это ж, как вы говорите, главный закон для любого сидельца, собирающегося пережить Соловки, — а сами? Вы ж наверняка много чего умеете кроме ягод.

Василий Петрович быстро посмотрел на Артема и, убрав руки за спину, ответил:

— Да я здесь как-то прижился уже. Зачем мне другая рота? Моя рота — это лес. Вот вам маленькая наука: всегда старайтесь выбрать работу, куда берут меньше людей. Она проще. Тем более что у меня вторая категория — деревья валить не пошлют. Так что куда мне торопиться, досижу свое так. Я в детстве бывал капризен — здесь отличное место, чтоб смириться.

Звучало не совсем убедительно, но Артем, иронично глянув раз и еще раз на Василия Петровича, ничего не сказал, благо тот быстро перевел разговор на другую тему:

— Обратите внимание, например, на этих собеседников. Знаете, кто это? Замечательные люди! На улицах Москвы и Петрограда вы таких запросто не встретите. Только на Соловках! Слева, значит, Сергей Львович Брусилов — племянник генерала Брусилова, того самого, что едва не выиграл Вторую Отечественную войну, а потом отказался драться против большевиков. Сергей Львович, если меня не ввели в заблуждение, капитан Балтийского флота — то есть был им. Но и здесь тоже имеет некоторое отношение к местной флотилии, соловецкой. Беседует он с господином Виоляром... Виоляр — еще более редкая птица: он мексиканский консул в Египте.

— Заблудился по дороге из Америки в Африку и попал на Соловки?

— Примерно так! Причем заблудился, завернув в Тифлис, — улыбнулся Василий Петрович. — У него жена — русская, а точнее, грузинка.

Если совсем точно — грузинская княжна, восхитительная красавица, только немного тонковата, на мой вкус...

— Откуда вы знаете? — с неожиданным любопытством поинтересовался Артем.

— Слушайте, Артем! — Василий Петрович мягко поднял свою седую руку, будто бы останавливая собеседника в его поспешности. — Не так давно господин Виоляр решил заехать на родину своей жены, погостить, отведать грузинской кухни и прочее. Вместо этого он был арестован тифлисским ГПУ и препровожден сюда. Надо бы у нашего ротного поинтересоваться, в чем там дело, но я стараюсь лишний раз с нашим Кучеравой не сталкиваться.

— А жена? — так и не дождавшись объяснений, спросил Артем.

— А жена тоже здесь, — уже шепотом продолжил Василий Петрович, потому что они приближались к спокойно и с безусловным достоинством внимающему собеседнику Брусилову и активно жестикулирующему Виоляру; беседа шла по-английски. — Но она, естественно, в женбараке.

На минуту, пока проходили мимо этой пары, они замолчали.

— А вот тот, кого я ищу, — обрадовался Василий Петрович. — Владычка обещал нам сметанки с лучком.

Артем успел подумать, какое хорошее слово — «владычка», — но упоминание сметанки с лучком подействовало еще сильнее, и в одно мгновение он почувствовал, что рот его полон слюны, даже самому смешно стало, как это не по-человечески, будто он собака какая-то.

— Отец Иоанн! — сказал Василий Петрович.

Им навстречу, улыбаясь, шел высокий человек в рясе, с окладистой расчесанной рыжеватой бородою, с длинными, чуть вьющимися и не очень чистыми волосами. Он был явно не молод, но, пожалуй, еще красив: тонкая, немного изогнутая линия носа, маленькие уши, чуть впалые щеки, не очень заметные брови, добрый прищур светлых глаз.

Василий Петрович поклонился, отец Иоанн быстрым движением перекрестил его темя и подал худощавую веснушчатую руку для поцелуя.

В этом движении, заметил Артем, который в церковь не ходил по стихийному неверию, напрочь отсутствовал даже намек на унижение человеческого достоинства, но имелось что-то ровно противоположное, возвышавшее как раз Василия Петровича.

Артем с теплым удивлением поймал себя на мысли, что тоже хотел бы поцеловать эту руку, и помешала ему даже не гордость, а страх сделать это как-то неправильно. Он остался стоять чуть поодаль, но отец Иоанн поприветствовал и его, ласково кивнув, и в этом жесте не было никакого посыла, который оскорбил бы Артема; то есть священник не говорил ему: ничего, что ты не подошел под благословение, я понимаю, как это трудно, да и опасно в наши нелегкие дни. Нет, священник поприветствовал его так, словно бы ничего вообще не случилось, и он, безусловно, рад встретить Артема, который наверняка хороший и добрый молодой человек.

— Как вы, отец Иоанн? — спросил Василий Петрович.

— Милостию Божией здоров, — ответил тот очень серьезно и продолжил, говоря будто бы и не о своем теле, а о чем-то отдельном от него, за чем он забавным образом приставлен наблюдать. — Все члены работают без отказа и без муки. На колене вспухла какая-то зараза, но, Бог даст, сойдет сама. А то, что на сердце иногда холодок, — так

зиму в сердце пережить проще, чем зиму соловецкую. Сердце, если ищет, найдет себе приют в любви распятого за нас, а когда ноги босые и стынет поясница — тут далеко не убежишь...

Отец Иоанн засмеялся, Василий Петрович подхватил смех, и Артем тоже улыбнулся — не столько словам, сколько очарованию, исходящему от каждого слова владычки.

— Но надо помнить, милые, — говоря это, чуть прихрамывающий владычка Иоанн посмотрел на Артема, пошедшего справа, и тут же на мгновение обратил взор к идущему слева Василию Петровичу, — адовы силы и советская власть — не всегда одно и то же. Мы боремся не против людей, а против зла нематериального и духов его. В жизни при власти Советов не может быть зла, если не требуется отказа от веры. Ты обязан защищать святую Русь — оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит под нами и греется нашей слабой заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а все иное — земная суета. Вы можете пойти в колхоз или в коммуну — что ж в том дурного? Главное — не порочьте Христова имени. Есть начальник лагеря, есть начальник страны, а есть начальник жизни, — и у каждого своя работа и своя нелегкая задача. Начальник лагеря может и не знать про начальника жизни, хоть у него сто чекистов и полк охраны в помощниках, информационный отдел, глиномялка и секирка за пазухой, зато начальник жизни помнит про всех, и про нас с вами тоже. Не ропщите, терпите до конца — безропотным перенесением скорбей мы идем в объятия начальнику жизни, его ласка будет несравненно чище и светлее всех земных благ, таких скороспелых, таких нелепых.

Артем внимал каждому сказанному отцом Иоанном слову: его успокаивала не какая-то вдруг открывшаяся веская правда, а сама словесная вязь.

Единственное, что отвлекло его, — так это прошедший мимо негр: губастый, замечательно черный, высокий; он улыбнулся Артему, показав отличные зубы, причем одного переднего не было.

— Дела и заботы снедают нас, — говорил отец Иоанн, сладко, как от солнца, щурясь. — Тому из заключенных, кто здесь прибился к канцелярскому столу, как к плоту в море, — проще. Тому, кто кривляется на театральных подмостках, — им тоже легче, их кормят за любимое дело. А кому выпали общие работы — куда как тягостней. Наше длинноволосое племя, — тут отец Иоанн тряхнул своей чуть развевающейся гривою и тихонько засмеялся, — принято в заведующие и сторожа, оттого что не имеет привычки к воровству. Не всем так пособляет, спору нет! К тому же многие из попавших сюда страдальцев еще и не берегут своих братьев по несчастью, но, напротив, наносят лишние бремена на таких же слабых и униженных, как они. И мыкается, не затухая, искра Христова то в стукаче, то в фитиле, то в заключенном в карцер. Но какие бы ни были заботы у нас, помните, что еще до своего рождения он возвещал нам через пророка Исайю: «На кого воззрю? Только на кроткаго и молчаливаго!» Ступайте по жизни твердо, но испытывайте непрестанные кротость и благоговение пред Тем, Кто неизбежно подаст всем служившим Ему Свою благодатную помощь!

Артем отвернулся в сторону, пока Василий Петрович угощал владычку Иоанна ягодами, а тот, в свою очередь, передал ему свой сверток.

Обратно шли едва ли не навеселе, вели спотыкливый разговор и сами спотыкались, полные смешливой, почти мальчишеской радости.

Даже привязчивые, проносящиеся над головой крикливые чайки не портили настроения.

Встретили женщину — еще вполне ничего: лет сорока, в шали, в сносных ботинках, в мужских штанах и мужском пиджаке, который она держала запахнутым на груди. Артем разглядывал ее, пока не разминулись.

Над главными воротами крепили огромный плакат с надписью: «Мы новый путь земле укажем. Владыкой мира будет труд!»

— А ведь это наше общение ему навеяло... — сказал Василий Петрович, имея в виду Эйхманиса. — Про монахов, которые спасались в труде! А?

— Думаете? — ответил Артем. — Едва ли...

Навстречу им попался Моисей Соломонович, который поначалу шел молча, но за несколько шагов до Артема и Василия Петровича вдруг запел — без слов, словно слова еще не нашлись, а музыка уже возникла.

Они улыбнулись друг другу и разошлись — не подпевать же.

— Клянусь вам, — прошептал Артем Василию Петровичу, — он чувствует пищу! В присутствии съестного он начинает петь!

— С чего вы взяли? — спросил Василий Петрович, но пакет перехватил покрепче.

Дорожки внутри монастыря были посыпаны песком, повсюду стояли клумбы с розами, присматривать за которыми были определены несколько заключенных. Артем иногда на разные лады представлял себе примерно такой разговор: «На Соловецкой каторге был? Чем занимался?» — «Редкие сорта роз высаживал!» — «О, проклятое большевистское иго!»

На одной из центральных клумб был выложен слон из белых камней.

СЛОН означал: «Соловецкие лагеря особого назначения».

— Бурцев присоединится, у них тоже имеется для нас угощение, — устроим пир, — Василий Петрович был взбудоражен и возбужден, как перед свиданием. — Нет ли сегодня какого-нибудь праздника, Артем? Желательно не большевистского? — спросил он, наклонившись к Артему, и, отстранившись, обаятельнейшим образом подмигнул ему.

В понимании Артема Василий Петрович представлял собой почти идеальный тип русского интеллигента, который неизвестно, выживет ли еще в Советской России: незлобивый, либеральный... с мягким юмором... Единственным ругательным словом у него было непонятное «шморгонцы»... Слегка наивный и чуть склонный к сентиментальности, но притом обладающий врожденным чувством собственного достоинства.

Их ничем особенно не объяснимое товарищество случилось при, ну, не самых обычных обстоятельствах.

Еще будучи в тринадцатой роте, Артем получил первую посылку от матери.

Он уже не однажды был свидетелем, как блатные отбирают у заключенных принесенные в роту продукты или вещи, и, сумрачно раздумывая, как быть, по пути в роту откусывал и глотал огромными кусками присланную из дома конскую колбасу.

Тут и объявился впервые пред Артемом Василий Петрович: двенадцатая и тринадцатая роты соседствовали, располагаясь в разных помещениях одного и того же храма.

— Вижу ваше сомнение, молодой человек, — представившись, сказал он, то ли смущаясь своей роли, то ли играя это смущение. — Вы ведь из карантинной? Часть вашего этапа блатные раздели еще по дороге, в трюмах парохода «Глеб Бокий». Остальных раздевают и объедают уже в роте. Я тоже через все это прошел в свое время. У меня есть к вам простое предложение. Доказать честность своих намерений мне сложно, а то и невозможно: целовать крест в наши дни — не самый убедительный поступок, и честное большевистское я вам дать не могу, поскольку не большевик. Но я знаю, как вам уберечь эту посылку. Выслушаете?

Артем подумал и кивнул, прижав к себе чуть покрепче мешок, в который пересыпали материнские гостинцы.

— Если вы передадите посылку в мои руки, я, в свою очередь, спрячу ее у своего доброго знакомого — владыки Петра, заведующего каптеркой первого отделения. И он сохранит ваши продукты в целости. Обратившись ко мне, вы сможете забирать оттуда нужное вам частями, каждый вечер, после ужина и до вечерней поверки.

Артем некоторое время разглядывал своего нового знакомца и неожиданно решил ему довериться.

— Что я вам буду за это должен? — только спросил Артем.

— Уж сочтемся как-нибудь, — ответил Василий Петрович смиренно.

Не откладывая, на другой же день Артем после ужина нашел Василия Петровича. Награды тот не требовал, но Артем, естественно, угостил его воблой. Тем более что в посылку, похоже, никто не проникал: если колбасу Артем догрыз в первый же день, то сухую воблу пересчитал, а мешочки с сахаром и с сухофруктами перевязал своим узлом и точно заметил бы, что теперь завязано иначе.

В тот раз они и разговорились подробно.

Артем, конечно, мог предположить, что Василий Петрович поддерживает с ним отношения в ожидании следующей посылки, но человеческое чувство старательно убеждало его, что дело обстоит иначе: здесь, думал он, имеет место простая человеческая приязнь, потому что отчего ж к Артему и не относиться хорошо: он и сам к себе неплохо относился.

«Тем более, что всем тут надо жить, — так завершил свои рефлексии по этому поводу Артем. — Разве интеллигент — это тот, кто первым должен подохнуть?»

Потом Артема перевели из карантинной в двенадцатую, в тот же день по досрочному освобождению ушел бытовик, спавший выше ярусом над Василием Петровичем, и Артем занял его место.

Очередную посылку он снова припрятал через Василия Петровича, поделившись с ним и в этот раз.

Когда бродили за ягодами, Василий Петрович в минуту роздыха вкратце рассказал Артему историю о том, как угодил на Соловки.

В 1924 году по старым еще знакомствам Василий Петрович несколько раз попадал на вечеринки во французское посольство: недавнее полуголодное прошлое военного коммунизма приучило всех наедаться впрок, а французы хоть чуток, а кормили.

«Накрывают красиво, а съесть нечего», — сетовал Василий Петрович.

Раз сходил, два, а в третий на обратном пути его попросили сесть в машину и увезли в ОГПУ. Определили как французского шпиона, хотя следствие было из рук вон глупое и доказать ничего не могли совершенно.

— Позорище! — горячился Василий Петрович, однако результат был веским: статья 58-я, часть 6-я — шпионаж.

— А у вас что? — спросил тогда Василий Петрович, потирая руки так, словно Артем собирался угостить его, к примеру, вареной картошечкой.

— У чужой бабы простоквашу выпил — заработал кнута и Сибирь, — отмахнулся Артем.

— Артем, мне все равно, но вы должны знать, что здесь так не принято, — с несколько деланой строгостью, в манере хорошего учителя сказал Василий Петрович. — Если вас спросят, к примеру, блатные, за что угодили на Соловки, — придется ответить. Потом, разве вы не рассказывали о своей статье на следствии, когда сидели в камере? В камере сложно смолчать — могут подумать, что вы подсаженный.

— Глупость, — сказал Артем. — Как раз подсаженный научен красиво врать.

— Неужели вы бытовик? — все не унимался Василий Петрович. — А вид у вас, как у законченного каэра! Не верю, что вы способны украсть!

Артем, усмехаясь, покивал, но так ничего и не ответил. Шел неглядой, жил неоглядой, задорный, ветреный. Надолила судьба — живу теперь в непощаде. Главное — никогда не вспоминать про отца, а то стыд съест и душа надорвется.

— ...Да и общаетесь с каэрами по большей части, — продолжал Василий Петрович, поглядывая на Артема.

— Я общаюсь с нормальными людьми, — ответил тот, потому что от него ждали хоть какого-нибудь ответа.

— А как нормальный человек относится к большевикам? — неожиданно спросил Василий Петрович.

— У меня младший брат — пионер и очень бережет свой красный галстук. А мне нет до большевиков никакого дела. Случились и случились. Пусть будут, — выкладывая слово за словом продуманно, то есть в несвойственной ему манере, ответил Артем.

В нише окна размещались фотография женщины и фарфоровая собачка — белая в черных пятнах, с закрученным хвостиком, надломленным на самом кончике.

«А так и в лагере можно жить... — подумал Артем. — Потом еще будешь вспоминать об этом...»

— Да, Артем, да, так можно жить даже в лагере, — подтвердил Василий Петрович.

Артем никогда бы не поверил, что мог произнести последнюю фразу вслух, — он был молодым человеком, нисколько не склонным к склерозу, — однако на мгновенье все же смешался.

— Ну да, — сказал он, справившись с собою. — Догадаться несложно. А что Бурцев? Где он?

Василий Петрович, не отвечая, по-хозяйски взял плошку из самодельного шкафа, вылил туда сметанку.

Изучив убранство кельи, Артем уселся на крепкую табуретку меж столом и окошком, стараясь не смотреть, как Василий Петрович ножом ссыпал лучок в плошку и начал все это большой ложкой размешивать, изредка посыпая солью, — о, как хотелось эту ложку облизать!

Артем взял фарфоровую собачку, повертел ее в руках и аккуратно провел пальцем по линии надлома на хвостике, глотая непрестанно набегавшую слюну.

— Ах, Артем, как я любил кормить свою собаку, — Василий Петрович выпрямился и, лирически шмыгнув носом, вытер глаз кулаком. — Я ведь не охотник совсем, я больше... для виду. Ружьишко на плечо — и в лесок. Увижу какую птицу, вскину ствол — она испугается, взлетит, а я ругаюсь: «Ах, черт! Черт побери, Фет», — я собаку назвал Фетом, в шутку или из любви к Фету, уж и не знаю, чего тут было больше... У Мезерницкого вроде бы имелся Фет? — Василий Петрович быстро глянул в сторону книжной полки и тут же забыл, зачем смотрел.

Он говорил, как обычно, прыгая с пятого на десятое, но Артем все понимал — чего там было не понять.

— Ругаюсь на собаку так, — рассказывал Василий Петрович, — как будто всерьез собирался выстрелить. И Фет мой, по морде видно, тоже вроде как огорчен, сопереживает мне. В другой раз я, ученый, ствол уже ме-е-едленно поднимаю. Фет тоже притаится и — весь в ожидании! А я смотрю на эту птицу, и, знаете, никаких сил нет спустить курок. Честно говоря, я и ружье-то, как правило, не заряжал. Но когда поднимаешь ствол вверх и прицеливаешься — все равно кажется, что оно заряжено. И так жутко на душе, такой трепет.

Артем поставил собачку на место и взял портрет женщины, не столько разглядывая ее сомнительную прелесть («...Мать, что ли?» — подумал он мельком), сколько пытаясь стеклом уловить последние лучи солнца и пустить «зайчика» по стене.

— И длится это, быть может, минуту, но скорей — меньше, потому что минуту на весу ружье тяжело удержать. И Фет, конечно, не вытерпит и ка-а-ак залает. То ли на меня, то ли на птицу, — уж не знаю, на кого. Птица опять взлетает... А я смеюсь, и так хорошо на душе. Словно я эту птицу отпустил на волю.

«Пошлятина какая-то...» — подумал Артем без раздражения, время от времени поднимая глаза и с улыбкой кивая Василию Петровичу.

— И вот мы возвращаемся домой, — между тем рассказывал тот, — голодные, по своей тропинке, чтоб деревенские не видели, что я опять без добычи, хотя они и так знали всегда... И Надя нам уже приготовила ужин: и мне что-нибудь сочинила, и Фету из вчерашних объедков... — здесь Василий Петрович вдруг поперхнулся и несколько секунд молчал. — А я ему тоже в его плошку отолью вчерашних щец, хлебушка покрошу и даже, к примеру, жареной печенки не пожалею, а сверху еще яичко разобью — он, знаете, любил сырые яйца почему-то... И вот вынесу ему эту плошку, он сидит, ждет... Поставлю перед ним — сидит, смотрит... Он будто бы стеснялся при мне есть. Или какое-то другое чувство испытывал, быть может. Я отойду подальше, говорю: «Ешь, милый, ешь!» И он, словно нехотя, словно бы в первый раз начинает обходить эту плошку с разных сторон и обнюхивать ее.

Артем снова проглотил слюну: если бы вздумал открыть рот — так и плеснуло бы на скатерть.

«Странно, что это никогда не приходило мне в голову, — быстро даже не подумал, а скорее представил себе Артем. — Наверняка это очень вкусно: борщ, сверху насыпать жареной печенки, наломать хлеба и умять его ложкой, так, чтобы борщ пропитал этот хлеб... И сверху разбить два или лучше три куриных яйца, чтоб они так неловко разлились по хлебу, кое-где смешавшись с борщом, но сам желток все равно оставался на поверхности... И с минуту принюхиваться к этому, а потом

вдруг броситься есть, глотать кусками эту печенку с капустой, хлеб с яйцом...»

— Артем, вы слушаете? — окликнул его Василий Петрович.

— К черту бы вас, — с трудом ответил Артем. — Давайте есть скорей. Где наши хозяева? Как вы сказали — Мезерницкий?

* * *

Первым пришел Бурцев. Он кивнул Артему, как доброму знакомому, хотя, странная вещь, за полтора месяца они не перекинулись и несколькими словами — все как-то не приходилось.

Но эта обустроенная келья разом сближала тех, кто попадал сюда: они чувствовали себя как бы избранными и приобщенными — к чистой пище, к выметенному и свежевымытому полу, к сияющей подушке, к чистой скатерти и фарфоровой собачке.

Бурцев, — это Артем знал по рассказам Василия Петровича, — после гражданской работал в варьете, потом где-то на административной должности. Обстоятельства своего ареста он не особенно раскрывал.

По большей части он помалкивал; если выпадало время — почитывал что-то незатейливое из монастырской библиотеки, но Артем успел заметить и удивиться, что, если в присутствии Бурцева заходила речь о чем-то любопытном или кто-то рисковал обратиться непосредственно к нему, он несколько раз поддерживал разговоры на самые разные темы: от хореографического искусства Дункан и отличий Арктики от Антарктики до писем Константина Леонтьева к Соловьеву и очевидных преимуществ Брюсова перед Бальмонтом — эту тему, естественно, Афанасьев затеял. В последний раз Бурцев подивил Василия Петровича неожиданными знаниями о ягодах и охоте, сообщив, что там, где растет морошка, стоит охотиться на белую куропатку, а где брусника — искать глухаря; хотя неподалеку от брусники можно встретить и медведя. Василий Петрович так искренне смеялся вполне серьезному замечанию про медведя, что Бурцев имел все шансы попасть в ягодную бригаду, но он сам не захотел.

Находившийся рядом Сивцев, заслышав разговор, вдруг вспомнил, как на фронте видал медведя, приученного артиллерийской ротой подавать снаряды, но его по ягоды Василий Петрович не взял; да и Бурцев тему о медведе не продолжил.

Втайне прислушиваясь к неспешной речи Бурцева, Артем уяснил для себя, что морошка созревает наоборот: из красной в янтарно-желтую, и мужские цветки у нее дают больше ягод, чем женские, а брусника может пережить иной дуб, потому что живет триста лет.

Про Брюсова и Бальмонта Артему было бы еще любопытнее, чем про ягоды: Бальмонт был единственным поэтом, приятным его матери; однако к Бурцеву он до сих пор так и не решился подойти. Все это казалось нелепым — поесть трески и после, прогуливаясь вдоль нар, вдруг поинтересоваться: вот вы здесь накануне вели речь о символистах...

При том, что, в сущности, Бурцев казался неплохим человеком; и при некоторой своей внешней отчужденности и хмурости на днях даже подпел Моисею Соломоновичу одну еврейскую песню, так что сам Моисей Соломонович замолчал от удивления.

— Мезерницкий уже идет, велел накрывать на стол, — сказал Бурцев. — Где тут у него...

Бурцев открыл деревянный крашеный ящик возле окна — Артем сразу ощутил запах съестного.

— У нас сегодня шпик с белым хлебом, — сказал Бурцев просто.

— Вы ведь неплохо знаете друг друга? — спрашивал тем временем Василий Петрович то ли Бурцева, имея в виду Артема, то ли наоборот: в итоге они оба еще раз со спокойной симпатией встретились глазами, и в этом кратком взгляде содержалась и молодая теплая ирония по отношению к суетливому старшему товарищу, и сама собой разумеющаяся договоренность о том, что объяснять Василию Петровичу причины их не очень близкого знакомства незачем, тем более что они никому не известны: так получилось.

— Это Артем, — не уловив их перегляда, продолжал Василий Петрович. — Добрый, щедрый и сильный молодой человек, ко всему прочему, отличный грузчик, тайный ценитель поэзии и просто умница; вы сойдетесь!

Артем, все время представления смотревший в стол, скептически пожевал пустым ртом, но на Василия Петровича все это мало действовало.

— Наши Соловки — странное место! — говорил он. — Это самая странная тюрьма в мире! Более того: мы вот думаем, что мир огромен и удивителен, полон тайн и очарования, ужаса и прелести, но у нас есть некоторые резоны предположить, что вот сегодня, в эти дни, Соловки являются самым необычным местом, известным человечеству. Ничего не поддается объяснению! Вы, Артем, знаете, что зимой на лесоповале здесь однажды оставили за невыполнение урока тридцать человек в лесу — и все они замерзли? Что трех беспризорников, убивших и сожравших одну соловецкую чайку, с ведома Эйхманиса поставили «на комарика», привязав голыми к деревьям? Беспризорников, конечно, вскоре отвязали, они выжили, но у них на всю жизнь остались черные пятна от укусов. О, наш начальник лагеря очень любит флору и фауну. Знаете, что здесь организована биостанция, которая изучает глубины Белого моря? Что по решению Эйхманиса лагерники успешно разводят ньюфаундлендскую ондатру, песцов, шиншилловых кроликов, черно-бурых лисиц, красных лисиц и лисиц серебристых, канадских? Что здесь есть своя метеорологическая станция? В лагере, Артем! На которой тоже работают заключенные!

Артем пожал плечами — он был не слишком удивлен, ему было почти все равно: комарики, лисицы, метеостанция... Вот сметанка с лучком!

— Хорошо, а вы знаете, — сказал Василий Петрович, — что в бывшей Петроградской гостинице, которая за Управлением, на первом этаже живут соловецкие монахи из числа вольнонаемных, а на втором — чекисты. И — дружат! Ходят друг к другу в гости!

— Так белые люди приплывали в Новую Землю и поначалу ходили в гости к аборигенам, а потом, если те не изъявляли желания креститься и делиться золотом, жгли их селения и травили собаками... которых, надо сказать, индейцы никогда не видели — представьте ужас этих дикарей! — сказал Бурцев, вовсе без злобы и с явным удовольствием нарезая шпик тончайшими лепестками; на последних словах он поднял голову и улыбнулся кому-то, тихо вошедшему в келью и ставшему за спиной Артема.

Это и был Мезерницкий. Он быстро кивнул Артему, давая понять: сидите, сидите, — и тут же, похохатывая, подхватил разговор:

— Разница только в том, что те не хотели начинать креститься, а наши монахи — не хотят прекращать.

— Господин Мезерницкий, разве это повод для шуток?! — всплеснул руками Василий Петрович.

— Товарищ Мезерницкий, — поправил тот. — Музыкант духового оркестра Мезерницкий, имею честь! — И, без перехода, повел речь дальше: — Хорошо, вот вам другой пример! Василий Петрович наверняка завел тему о парадоксах Соловков... Не кажется ли вам забавным, что в стране победившего большевизма в первом же организованном государством концлагере половину административных должностей занимают главные враги коммунистов — белогвардейские офицеры? А епископы и архиепископы, сплошь и рядом подозреваемые в антисоветской деятельности, сторожат большевистское и лагерное имущество! И даже я, поручик Мезерницкий, играю для них на трубе — просто по той причине, что сами они этому не обучены, но готовы исключительно за это умение освободить меня от общих работ. Знаете, что я вам скажу? Я скажу, что борьба против советской власти бессмысленна. Они сами не могут ничего! Постепенно, шаг за шагом, мы заменим их везде и всюду — от театральных подмостков до Кремля.

Бурцев со значением посмотрел на дверь, а Мезерницкий только махнул рукой:

— Ерунда! Не далее как вчера я это говорил Эйхманису лично.

— Говорил или не говорил — дело твое, суть в том, что все это легкомысленно, — ответил Бурцев без раздражения и даже с улыбкой. — Ты тут уже три года, друг мой, и оторвался от реальности. Тебе видней, что там с духовыми, а с хозяйством они понемногу учатся справляться...

— Не знаю, не знаю, — прервал Мезерницкий, которому куда больше нравилось говорить самому. — Обратите внимание, милые гости: на общих работах из числа офицеров работает только Бурцев, и то в силу его, простите, мон шер, нелепого упрямства, а остальные... — тут Мезерницкий начал загибать пальцы, вспоминая, — инспектор части снабжения, лагстароста, инженер-телефонист, агроном, два начальника производства и два начальника мастерских!.. Не все, не все!.. На железной дороге — наши! На электростанции — наши! В типографии — наши! На радиоузле — наши! Топографией занимаются наши! И даже в пушхозе — наши!

— И непонятно, как мы при таких талантах проиграли большевикам войну, — негромко, ни к кому не обращаясь, заметил Бурцев.

— При том, что, — вновь не обращая ни на кого внимания, говорил Мезерницкий, — учтите, с двадцатого года я абсолютно аполитичен. Командование Белой армии своей глупостью и подлостью примирило меня с большевиками раз и навсегда. Но зачем же отрицать реальность! Соловки — это отражение России, где все, как под увеличительным стеклом: натурально, неприятно, наглядно!

Бурцев вместо ответа, как бы в задумчивости, покусал губы. Он закончил нарезать хлеб и осмотрел стол так, словно это была карта успешно начинающихся батальных действий.

Артем быстро, изучающе оглядывал Бурцева и Мезерницкого.

Бурцев был невысок, кривоног, с чуть вьющимися темно-русыми волосами, черноглаз, тонкогуб... Пальцы имел тонкие и запястья тоже, что казалось странным для человека, задействованного на общих рабо-

тах, хоть и не очень давно: насколько Артем помнил, Бурцев появился на Соловках на месяц раньше него, с первым весенним этапом.

Мезерницкий, напротив, был высок, сутуловат, волосы имел прямые и чуть сальные, часто шмыгал носом, как человек, пристрастившийся к кокаину, в чем на Соловках его подозревать было невозможно. Он разнообразно жестикулировал; Артем отметил его давно не стриженные ногти.

Когда Мезерницкий ногтем с черной каемкой придерживал белый, разнежившийся в тепле лепесток шпика, это было особенно заметно.

* * *

Спор быстро закончился: сметана с луком, белый хлеб и шпик примирили всех.

Самое сложное было есть медленно — Артем обратил внимание, что не ему одному.

Потом Василий Петрович и Бурцев затеялись в шашки: первый — заметно возбуждаясь партией, второй — почти равнодушный к расстановке сил на клетках. Мезерницкий недурно играл на мандолине, Артем тихо блаженствовал, полулежа на голой лежанке, иногда думая: «...Какие хорошие люди, как я хочу быть им полезен...», — иногда будто задремывая и просыпаясь от того, что на лицо садилась одна и та же настырная муха.

С пиджака на доску выпал клоп: Артем поспешил его убить.

...Распрощавшись с Мезерницким, во дворе столкнулись с идущим из театра возбужденным и раскрасневшимся народом. Кто-то, как водится, еще обсуждал представление, кто-то уже думал о завтрашней работе и спешил отоспаться, но вообще ощущение было, как всегда, диковатое: заключенные идут вперемешку с начальством лагеря и вольнонаемными, женщины накрашены, иные одеты по моде, кое-кто из мужчин тоже не в рванье.

Завидев театральную публику, Василий Петрович тут же, едва попрощавшись, ушел в роту, Бурцев, быстро покурив, тоже кивнул Артему — будто бы и не было их молчаливого взаимопонимания в келье.

Зато появился Афанасьев, выспавшийся после своего дневальства и с виду очень довольный.

Он был рыжий, встрепанный, чуть губастый, ему вообще шло хорошее настроение.

— Из театра? — заинтересованно спросил Артем; все-таки, кажется, ему удалось минут пятнадцать поспать под мандолину, и он вновь испытывал, конечно, не бодрость, но некоторое оживление.

Афанасьев мотнул головой.

— Что давали? — спросил Артем.

— Да ну, — весело отмахнулся Афанасьев, — Луначарского. Хотя все это, Артем, впечатляет даже с Луначарским. Какая там каэрочка играет, а? Плакать хочется.

Афанасьев что-то еще говорил про спектакль, сумбурное, словно хотел объяснить замысел режиссера, а в уме все равно представлял исключительно каэрочку.

Они прогуливались взад-вперед по быстро пустеющему вечернему дворику, Артем кивал, кивал, кивал и не заметил даже, как Афанасьев перекинулся на другую тему, самую главную для него.

— Тема, ты только подумай, каких стихов я понапишу, вернувшись! Я в стихи загоню слова, которых там не было никогда! Фитиль! Шкеры! Шмары! Поэма «Мастырка», представь? У нас ведь ни один поэт толком не сидел!

— Декабристы сидели, — вспомнил Артем.

— Да какие там поэты! — снова отмахнулся Афанасьев.

— Маяковский вроде сидел, — еще вспомнил Артем.

— Да какой там, — снова не согласился Афанасьев. — Не то все, не то! Соловки — это, Тема, особый случай! Это как «Одиссея» — когда он в гостях у Полифема...

— Ну да, Полифем, шкеры, шмары — это будет... салат! — усмехнулся Артем, вспомнив про сметану с лучком.

— Да что ты понимаешь! — вроде бы даже чуть озлился Афанасьев. — Будущее поэзии — за корявыми словами, случайными. Ломоносов писал про три штиля — высокий, средний и низкий, — так надо еще ниже зачерпнуть, из навоза, из выгребной ямы, и замешать со штилем высоким — толк будет, поверь!

— По мне, таким образом только басню можно сочинить: «Полифем и фитиль», — нарочно подзуживал Афанасьева Артем.

— Какой у вас разговор любопытный, о мифологии, — сказал кто-то рядом негромко.

Оба разом обернулись и увидели Эйхманиса. Застыли, как пробитые двумя гвоздями насквозь.

— Добрый вечер! — сказал Эйхманис спокойно.

— Здра! — выкрикнул Афанасьев, как всегда кричали на поверке; что до Артема, он лихорадочно, путаясь в мыслях, как в загоревшейся одежде, пытался вспомнить: успели они за последнюю минуту произнести какую-нибудь контрреволюционную глупость или нет.

— Здра, гражданин начальник! — выкрикнул и Артем. Так было положено отзываться на приветствие начальника лагеря.

На замечание Эйхманиса по поводу мифологии никто не рискнул ответить.

Эйхманис кивнул головой, в смысле: «Вольно». По всей видимости, он направлялся к воротам — как всегда без охраны, только все с тою же своей спутницей, которая сейчас, как и в прошлую встречу, в лесу, смотрела мимо.

Вблизи оказалось, что Эйхманис выше среднего роста — и выше Артема с Афанасьевым, — что он строен, сухощав и от него пахнет одеколоном. Он был в хорошей гражданской одежде: коричневый пиджак, брюки, высокие остроносые ботинки.

У ворот, заметил Артем, ждал красноармеец, держа двух лошадей в поводу.

Жил Эйхманис в четырех верстах от монастыря, неподалеку от Савватиевского скита, в Макариевской пустыни. Говорили, что он выстроил себе там огромный приполярный дом, что характерно — в нарочитом отдалении от своих подчиненных-чекистов. На поверках Эйхманис появлялся редко, а занимался, рассказывали, куда чаще охотой, биосадом, питомником лиственниц и хвойных, которые в этом году начали высаживать по всему острову...

Артем осторожно, исподлобья разглядывал его лицо. Правильные, крупные, но чем-то редкого типа и даже несколько изысканные черты лица, зачесанные назад волосы, белые, достаточно крупные зубы, улы-

бающиеся, но одновременно будто и недвижимые глаза. Пожалуй, он был красив, напоминал какого-то известного поэта десятых годов и мог бы располагать к себе. Только в линии скул — слишком скользкой, делающей лицо более худым, чем оно было на самом деле, — было что-то неприятное и болезненное.

На спутницу Эйхманиса Артем так и не рискнул взглянуть, хоть и хотелось.

— Вы так и трудитесь в двенадцатой роте, Афанасьев? — спросил Эйхманис, улыбаясь.

— Да! — тряхнул рыжей головой Афанасьев и добавил для верности: — Именно!

Эйхманис снова, теперь уже прощаясь, кивнул, и пара пошла к воротам.

— Черт! — тихо засмеялся Афанасьев, когда услышали постук копыт. — А я заладил: Полифем, Полифем... Ничего мы такого не успели сказать? Нет ведь?

Артем тоже, с непонятным чувством, улыбался.

Не дождавшись ответа, Афанасьев сказал:

— Говорят, он знает всех заключенных по именам!

— Да быть не может, — ответил Артем, поразмыслив. — Сколько тут тысяч? Пятнадцать рот!.. Нет, невозможно.

— Ну, хорошо, хорошо, — быстро согласился Афанасьев, но тут же отчасти раздумал: — Половину — наверняка! Начальников производства, командиров рот, взводных, десятников, актеров, музыкантов, священников знает... Все это говорят! Меня вот тоже откуда-то помнит.

— Итожим: он знает нужный ему народ, — предположил Артем с несколько напускной серьезностью.

— Думаешь? — обрадовался Афанасьев, не услышав иронии, хотя до сего момента различал любые интонации. — Может, меня вытащат из двенадцатой роты, наконец. Куда угодно! Жаль только, я руками делать ничего не умею. Что же, черт меня дери, я писал стихи! Нет, был бы топографом! Или столяром. Или умел бы играть на барабане. Или, в конце концов, готовить что-нибудь вкусное. Ты знаешь, что тут в лазарете работает бывший повар Льва Троцкого? Что тут есть и свой придворный живописец — по фамилии Браз? Он бывший профессор Императорской академии художеств!

— Так попросись придворным поэтом к Эйхманису, — предложил Артем. — Будешь ему оды сочинять на каждое утро. «Ода на посещение Эйхманисом питомника шиншилловых кроликов»!

— Издеваться только тебе, — отмахнулся Афанасьев.

— Зачем же он тогда спрашивал, в какой ты роте? Тут два объяснения могут быть: либо зовет тебя в придворные поэты, либо хочет на Секирку перевести. Тебе как больше нравится?

Секиркой звали штрафной изолятор на Секировой горе, располагавшийся в бывшей церкви, верстах в восьми от кремля. Рассказывали про тот изолятор невеселое: там убивали людей.

Афанасьев выглядел очень обнадеженным и молчал, наверное, только оттого, что боялся спугнуть непонятную пока удачу.

— А кто это с ним? — спросил Артем негромко, не поясняя и не кивая головой в сторону уехавших: и так все было ясно.

— Это Галя, б... Эйхманиса, вольнонаемная, работает в ИСО — Информационно-следовательском отделе, — ответил Афанасьев тихой скороговоркой безо всяких эмоций. — Тебя еще не вызывала?

У Артема от произнесенного Афанасьевым слова стало трепетно и тоскливо на душе: он даже чуть-чуть задохнулся. Женщины у него не было уже четыре месяца.

* * *

Если б поднимали не в пять, а хотя бы в шесть, — жизнь была бы куда проще. Но поверки неизменно оказывались длинными, с нарядами тоже случалась путаница, поэтому на работу все равно попадали поздно, иной раз к девяти; а если идти далеко, верст за несколько, то еще позже.

Первым делом Артем вспомнил, как вчера его хвалил Василий Петрович; ну да, арестантская жизнь его вошла в колею: самое важное — не считать дни, а он перестал их считать на третьи сутки, приняв все как есть. Оставалось малое — дотерпеть, дожить; впрочем, он пока не видел никаких причин, чтобы умереть, — жили и здесь. Жили слабые, вздорные, глупые, вообще неприспособленные к жизни — даже они.

Потом Артем вспомнил про Крапина, и крепкий настрой немного расшатался.

Все утро старался он не попадаться ему на глаза — получилось.

Василий Петрович купил себе ложку: тут же похвалился.

Афанасьев ходил задумчивый: его сняли с должности дневального, хотя вроде только что назначили. Это была хорошая должность, теплая, особенно зимой. За место дневального держались всеми когтями.

Вместо Афанасьева дневалить стал чеченец Хасаев; третий их соплеменник, самый молодой, тоже постоянно крутился в роте. Казак Лажечников теперь мимо дневальных стремился пройти поскорей, глядя в пол, а воду из бака возле поста перестал пить вовсе.

На поверке ротный Кучерава ругался так бестолково, нудно и мерзостно, что Артем почувствовал легкую тошноту.

Наряд ему выпал на баланы; Артем не удивился — к этому все и шло.

«Баланы так баланы, посмотрим, что такое там...» — подбодрил себя Артем, довольный уже тем, что Крапин не обмерил его еще раз дрыном. Вместо него взводный выбивал дух из какого-то блатного, не спешившего выйти на работу, поскольку был в кальсонах: других штанов не имелось.

— Лес ворочать? — смуро спросил Артема Афанасьев. — И я тоже.

Помимо них тот же наряд выпал Моисею Соломоновичу, Лажечникову, Сивцеву, китайцу, битому Крапиным блатному, еще двоим той же масти и какому-то малоприметному низкорослому мужичку, про которого Артем помнил только, что он непрестанно бормочет, вроде как уговаривая самого себя.

Стояли во дворе, ждали десятника. С утра вечно не поймешь, где лучше быть: в роте все орут и матерятся, а на улице эти неуемные, оголодавшие за ночь чайки. У Артема однажды, едва он заехал на Соловки, так же вот с утра чайка выхватила припасенный на потом хлеб. Заметившие это блатные посмеялись — было обидно. Артем почти всерьез поклялся себе перед отбытием на материк оторвать крыло у одной чайки, чтоб сразу не сдохла и чтоб поняла, тварь, как это бывает, когда больно.

Вообще чаек стоило опасаться — они по-настоящему могли напасть и клюнуть, скажем, в глаз так, чтоб глаза не стало. Хлеб Артем еще

в роте спрятал, причем не в штаны, а в белье, — там тоже был удобный кармашек. Угощать он этим хлебом никого не собирался, а собой не брезговал.

— Почему не дневалишь больше? — все-таки спросил он Афанасьева. — Только вроде заступил. Не самая трудная должность. Стихи можно было бы сочинять — время есть.

Артем посмотрел на Афанасьева и понял, что тому не очень хочется шутить на эту тему.

— Это в ИСО решается, — ответил Афанасьев нехотя. — С Галей не сошелся характерами.

Стоявший рядом Василий Петрович как-то странно взглянул на Афанасьева и отвернулся.

— А за чеченцев Кучерава попросил, — добавил Афанасьев спустя минуту. — Они ж там все соседи по горам.

Артем кивнул и, так как Афанасьев был не в духе, прошел к Василию Петровичу, который опять получил бесконвойный наряд по ягоды и ожидал своей бригады.

— Только не выражайте мне соболезнования, Василий Петрович, — за несколько шагов, улыбнувшись во все щеки, попросил Артем.

— Улыбайтесь, улыбайтесь, — сказал Василий Петрович печально и, легким движением прихватив Артема за локоть, немного развернул его в сторону; Артем, молодо ухмыляясь, подчинился.

— Вы, я смотрю, дружны с Афанасьевым, — внятно и негромко произнес Василий Петрович. — Я вам хочу сказать, что на должность дневальных назначают строго стукачей, так что...

— Его ж как раз сняли с должности, — ответил Артем чуть громче, чем следовало бы, и Василий Петрович тут же своими очень уверенными и неестественно крепкими пальцами за локоток повернул Артема еще дальше, в сторону колонны священников, отправлявшихся строем на свою сторожевую работу.

Священники шли кто поспешливо, кто, напротив, старался степенно, но строй спутывал всех. Над ними кружились, иногда резко снижаясь, чайки... И эти бороды, и эти рясы, и эти чайки, иногда окропляющие белым пометом одежды священников, — все вдруг будто остановилось в глазах Артема, и он понял, что запомнит увиденное на целую жизнь, хотя ничего его не поразило, не оскорбило, не тронуло. Просто почувствовал, что запомнит.

— Шестая рота — не что-нибудь, — сказал кто-то громко и насмешливо. — Шестая рота — ангельская! Раз, два — и на небесах. За что страдают? Ни словом, ни делом, ни помышлением. Безвинно, во имя Твое, Господи.

— Смотрите, — говорил Василий Петрович очень спокойно. — Это Евгений Зернов, епископ Приамурский и Благовещенский. Это Прокопий, архиепископ Херсонский... Иувеналий, архиепископ Курский... Пахомий, архиепископ Черниговский... Григорий, епископ Печерский... Амвросий, епископ Подольский и Брацлавский... Киприан, епископ Семипалатинский... Софроний, епископ Якутский, сменил одни холода на другую непогодь... Вот и наш владычка, батюшка Иоанн...

Василий Петрович в приветствии чуть склонил голову, прихрамывающий и оттого торопящийся больше других владычка Иоанн весело помахал рукой, и что-то то ли очень детское, то ли старозаветно взрослое было в этом жесте. Будто бы ребенок говорил: «Я не отчаиваюсь»,

а древний человек вторил: «И вы не отчаивайтесь», — и все в одном взмахе.

— Вы откуда его так хорошо знаете? — спросил Артем.

— Отчего хорошо? — ответил Василий Петрович. — Просто нас доставляли сюда вместе, в одном трюме. Все были злы и подавлены, а он улыбался, шутил. Его даже блатные не трогали. Возле него как-то остро чувствуется, что все мы — дети. И это, Артем, такое теплое, такое нужное порой чувство. Вы, наверное, еще не понимаете...

Артем осмотрелся по сторонам и поинтересовался:

— А вот там, в сквере, он про советскую власть говорил. Как вы думаете, правда?

Василий Петрович пожал плечами и быстрым движением убрал руки за спину.

— Все правда. Правда, к примеру, то, что вы можете оказаться стукачом, — он вас первый раз в жизни видел.

Артем невесело посмеялся, отметив для себя, что таким строгим Василия Петровича еще не видел, и перевел тему:

— Тут мне сказали, что Эйхманис помнит едва ли не весь лагерь по именам...

— Очень может быть, — ответил Василий Петрович задумчиво. А вы... всех этих священников... когда запомнили, зачем? Эйхманису их сторожить, а мне с ними жить, — бесстрастно сказал Василий Петрович, глядя прямо перед собой. — Я эти лица запомню и, если вернусь, расставлю дома, как иконки.

Артем ничего не ответил, но подумал по-мальчишески: а чем они святее меня? Я тоже жру суп с вяленой воблой или с безглазыми головами соленой рыбы и вместо мяса — палую конину; зато они сторожат, а я пойду сейчас бревна таскать.

Василий Петрович тряхнул головой и, чтоб чуть снизить патетику, заговорил совсем другим тоном, куда доверительней, разом становясь тем человеком, который так нравился Артему:

— Я тут подумал... Отсюда, из Соловков, святость ушла еще в пору Алексея Михайловича... Наверняка вы, Артем, знаете эту историю, когда в 1666 году монастырь восстал против Никоновой реформы? А спустя десять лет осады его взяли, и бунтовавших монахов, и трудников — всех закидали камнями, чтоб сабли не грязнить и порох не переводить. Как произошло это — так и не случалось на Соловках больше ни монашеских подвигов, ни святых. Двести с лишним лет монастырь качался на волнах — немалый срок. Как будто готовился к чему-то. И вот, не поверите, Артем, мне кажется, пришли времена нового подвижничества. Русская церковь именно отсюда начнет новое возрождение... Вы, наверное, ребенком еще были, не помните, что за тяжкий воздух был до прихода большевиков.

«Как у нас в бараке?» — хотел спросить Артем, но не стал, конечно.

— Интеллигент возненавидел попа, — перечислял Василий Петрович. — Русский мужик возненавидел попа. Русский поэт — и тот возненавидел попа! Мне стыдно признаться: но и я, Артем, попа возненавидел... И не поймешь сразу, за что! За то, что русский поп беспробудно пил? Так чего ж ему было делать? Ненавидят ведь не из-за чужой дурноты, а из-за своей пустоты куда чаще... Вы на Второй Отечественной не были, а я был и свидетельствую: когда солдатам предлагали исповедоваться перед боем — девять из десяти отказывались. Я увидел

это сам и тогда уже — сам себе удивляясь! — понял: войну проиграем, а революции не избежать: народ остался без веры. Только этим и могло все закончиться!.. Закончиться — и тут же начаться. Здесь.

— В тринадцатой роте, — вдруг вспомнил и не смолчал Артем, — параша стояла в алтаре. Помните? В моей партии был один священник — так он ни разу туда не сходил. Ночью поднимался и шел на улицу, в общий сортир. Пока ходил, его место на нарах занимали. Утром встаем — он сидя спит где-нибудь в уголке, чуть не замерзший.

— И что вы думаете? — спросил Василий Петрович.

Артему явственно захотелось позлить своего товарища — это было твердое и малообъяснимое чувство.

— Я думаю: дурак, — ответил Артем.

У Василия Петровича дрогнула челюсть — будто бы Артем у него на глазах толкнул больного; он отвернулся.

Его уже ждала собравшаяся партия с корзинами; появился и десятник Артема, сразу заорал, как будто ему кипятком плеснули на живот.

— Да иду, — сказал Артем скорей себе, чем десятнику, иначе можно было и в зубы получить.

Десятник был такой же лагерник, сидевший то ли за три, то ли за пять убийств, родом московский. Фамилия его была Сорокин. Он будто бы источал потаенную человеческую мерзость, кажется, она выходила из него вместе с потом: какая бы ни была вонь в бараке, Артем, едва приближался к Сорокину, чувствовал его дух. Под мышками у Сорокина всегда были темные, уже солью затвердевшие круги, влажные руки его мелко дрожали, щетина на лице тоже была влажная и вид имела такой, словно это не волосы, а грязь, вроде той, что остается на полу сеновала — колкая, пыльно-травяная осыпь.

Сорокин, как говорили, был любитель придумчиво забавляться над лагерниками, хотя стоит сказать, каэров он не бил. Их по негласному завету лагерной администрации вообще не было принято трогать, так что желающие позверовать отыгрывались на бытовиках.

Шли на работу лесом, нагнали партию Василия Петровича, тот, оглянувшись, встретился глазами с Артемом и тут же отвернулся, болезненно, как от резкого колика, сморщившись.

Артем хотел было про себя пожалеть, что отказался идти по ягоды, но мысли эти прогнал. Про то, что зачем-то надерзил Василию Петровичу, он не думал. Характер у него был не зловредный, но эту черту — вдруг ткнуть в открытое место — он за собой знал. И никак об этом не печалился.

«Быть может, я не люблю, когда открывают то, что болит...» — подумал Артем, чуть улыбаясь.

«...Про веру рассказывает, — подумал еще, — а сам Моисея Соломоновича убрал из своей бригады... Нет бы пожалеть...» Сорокин всю дорогу орал и матерился непонятно на кого и по какому поводу, как будто с утра поймал бациллу от Кучеравы. Даже конвойные на него косились.

Артем вдруг представил, как берет большой сук, побольше, чем дрын Сорокина, и резко, с оттягом бьет десятника по затылку. Это было бы счастье!..

И сразу б такая тишина настала...

Пошли бы ягоды собирать, песню бы спели, костер развели...

А то даже Моисей Соломонович не поет.

Артем переглянулся с Афанасьевым; тот, показалось, мечтал о том же самом.

Лесом вышли к каналу, который, как сказал Лажечников, соединяет Данилово озеро с Перт-озером. По каналу сплавляли с лесозаготовок бревна, именуемые баланами. Артем разглядывал их с берега тем взглядом, каким, наверное, смотрел бы на некую обильную речную хищную сволочь, которую предстояло вытащить за жабры на берег.

— Есть два золотых дня — вчера и завтра, — приговаривал мелкий, метра в полтора мужичок, стоявший возле Артема. — Вчера уже прошло, Господь позаботился о том. Завтра я вверяю Ему, Он позаботится и о нем. И остается один день — сегодня. Когда я молитвенно свершаю свой труд.

— Этот? — спросил Артем, кивнув на плавающие баланы.

Мужичок посмотрел на Артема, на баланы и ничего не ответил.

— Баланы нужно доставить на лесопильный завод, — огласил задачу для всех собравшихся десятник. — Общий урок на день: сто баланов... О чем смотрим?

— Э, а багры там, веревки? — спросил блатной, которому с утра уже досталось от Крапина.

— Веревка тебе будет, когда тебя повесят! — заорал десятник.

— Ну, багры тогда, — не унимался блатной и, конечно, своего дождался: Сорокин набежал на него, уже издалека потрясая дрыном; блатной защищался и даже отмахивался исхудавшими грязными руками, а потому получил и по рукам, и по бокам, и по башке. Только вскрикивал: «Начальник! Начальник! Чё творишь-то?»

На щеке блатного свисла клоком кожа, рука тоже сильно кровянила. «Раздевайся, в воду пулей! Дрын тебе в глотку, чтоб голова не шаталась!» — орал десятник. Блатной скинул свои драные порты — под портами он был голый, — десятник сам потянул битого за рубаху к воде, и рубаха так и разорвалась надвое.

Чтоб с ними не проделали то же самое, остальные поспешно начали раздеваться сами.

— Куда, б...! — заорал десятник, отстав, наконец, от блатного, который поскорей забежал в воду по пояс и стоял там, оттирая кровь. — Разделись, б..., как в кордебалете! Самые молодые — в воду, остальные принимают баланы на берегу! Тупые м...алаи, мать вашу за передок!

«Про кордебалет знает, смотри ж ты», — думал Артем, снимая штаны.

— Сука, холодная, — сказал один из блатных, заходя в воду.

«Да ничего, в самый раз, — подумал Артем. — Ночью дожди идут, чуть подостыла... Зато когда в воде — комаров меньше...»

— Нате, кровососы, даже кусать не надо, так слизывайте, — вытянул битый блатной кровоточащую руку комарью и сипло засмеялся; по его виду казалось, что он не очень переживает о зуботычинах десятника.

Никто не хотел оставаться на берегу рядом с десятником: один за другим полезли Сивцев, Афанасьев, Моисей Соломонович. Мелкий мужичок прошелся туда и сюда вдоль берега, все повторяя: «Была бы спина — найдется и вина!» — а потом тоже шагнул в воду.

Моисей Соломонович был ростом выше всех на голову; он шел и шел по воде, и ему все было мелко; а маленький мужичок, едва ступил, сразу как-то потерялся до подбородка и только вздыхал теперь: «Боже ты мой! Спаси, Господи!» Сделал еще шажок — и едва не пропал вовсе.

— Куда ты полез, клоп! — заорал десятник на него. — Ну-ка на берег! Ты что там, клоп, верхом на баланах будешь плавать? И ты, длинный, сюда, — указал он на Моисея Соломоновича. — У тебя руки как раз, чтоб принимать бревна, вместо багра будешь.

У Сивцева было еще крепкое тело, на спине виднелся весьма красноречивый шрам, кажется, от шашки. У Лажечникова такой же шрам шел по груди — от плеча и почти до соска.

Тела блатных были в наколках.

«Во, собрались какие все...» — подумал Артем неопределенно, косясь на свое чистое тело, даже без волос на груди.

Афанасьев, впрочем, тоже оказался без особых примет, только в мелких родинках.

Артем добрел, бережно ступая по дну, до первого балана — как раз оказалось по грудь — и обеими руками потянул дерево на себя, отдуваясь от комаров.

Тихо матерясь, явился к нему на помощь битый блатной.

— Ксива, — представился он.

На лице у Ксивы было несколько прыщей и еще два — на шее. Нижняя губа отвисала — невольно хотелось взять ее двумя пальцами и натянуть Ксиве на нос.

Блатной протянул руку и одновременно с тем, как Артем пожал ее, сказал глумливо:

— Держи пять, ГПУ даст десять.

Артем глубоко вдохнул носом и ничего не ответил.

— Ладно, не ссы в штаны, ссы в воду, — не унимался блатной и все поглядывал на Артема.

— Ты будешь тут свои поговорки говорить, или, может, давай поработаем? — сказал Артем, потому что уже надо было что-то ответить.

— Баба тебе будет давать, а ты в ней х... полоскать, — сказал блатной и снова засмеялся, издевательски глядя на Артема. — Так что давай без давай. Десятника хватает.

— Слушай, — наклонился к нему Артем, стараясь говорить в меру миролюбиво. — У тебя есть напарники, — тут Артем кивнул на других блатных, с едким интересом прислушивающихся к их разговору, — ты с ними будь, а я буду со своим дружком. Годится?

Афанасьев стоял тут же, несколько нарочито рассеянный и как бы не вникающий в чужой разговор.

Ксива толкнул балан так, чтоб он угодил бочиной в грудь Артему, и только после этого сделал шаг назад. Напоследок еще, ударив ладонью вскользь по воде, слегка обрызгал Артема.

Тот не ответил: плескаться в ответ показалось глупым, и ударить сразу за это в лоб — тоже вроде не большого ума поступок. Стер рукой брызги с лица, и все.

* * *

«А в воде попроще... — раздумывал Артем, отвлекая себя от противных мыслей о блатном, этом самом, как его, Ксиве, — работа получше, чем на берегу. Потому что одно дело — по воде толкать баланы к берегу, а другое дело — тащить их на себе посуху».

Но Артем не угадал, конечно.

Баланы нужно было дотолкать до берега, потом хватать их — сырые, скользкие и ужасно тяжелые — за один конец, в то время как другой подхватывали Моисей Соломонович с малорослым мужичком, и выползать на сушу.

Если четыре мужика могли справиться с баланом, значит, он был самого малого размера.

В ход пока шло молодое дерево, неширокое в объеме и длиной не больше пяти метров, а чаще и поменьше. Но в воде виднелись такие великаны, которые и целым взводом не стыдно было бы нести.

Берег к тому же был каменистый, ступать по нему, еле удерживая балан, оказалось мукой.

Сивцеву в пару достался китаец. Китайца Сивцев почему-то называл «зайчатина». «Давай, зайчатина, мыряй глубже... — повторял он не без удовольствия. — Непапошный какой...»

Мелкий мужичок с Моисеем Соломоновичем сработаться никак не могли. Первый балан, который дотолкали Артем с Афанасьевым, они еще кое-как, чертыхаясь и семеня, помогли оттащить подальше от воды, а следующий балан мужичок выронил, Ксива заорал на него, и тот сразу как-то по-детски заплакал.

— Я работал в конторе! — всхлипывал он. — С бумагами! А меня который месяц принуждают надрывать внутренности! Сил во мне не стало уже!

«Юродивый», — подумал Артем раздраженно.

— Начальник, да на х... он не нужен! — прокричал Ксива и тут же, торопливо загребая руками, ушел вглубь, когда десятник направился к нему. На спине у Ксивы тоже были прыщи, они шли рядком, как белоголовые насекомые, по лопатке, через позвоночник и вниз к заднице.

Натрудив руки, наломав ноги, выволокли с горем пополам десяток баланов на берег.

«...А десятник сказал, что урок — сто!» — ошалело, но еще способный в мыслях позабавить себя, подумал Артем.

С берега баланы нужно было тащить на лесопильный завод.

Пока поднимали, присаживаясь и надрывая спину, первый балан на плечи, Артем успел возненавидеть его, как живое существо, — неистово и пронзительно.

«Какой же ты, сука, тяжелый, скользкий, хоть бы тебе всю морду изрубили топором, гадина...»

Впопыхах первый заход Артем сделал без рубахи. Еще на полпути разодрал голое плечо о дерево.

Дорога оказалось неблизкой, по кочкам и кустам. Артем неустанно обмахивался от комарья. Афанасьев, даром, что поэт, оказался выносливым, как верблюд: «Хорош танцевать, Тема!» — просил он, тяжело дыша в нос.

Нос балана несли Сивцев с китайцем, Артем неотрывно смотрел китайцу в черный затылок.

На лесопильном визжала пила. Не видя пути, Артем по звуку понимал, что они близко, еще ближе, еще... Вот, кажется, пришли. На «тричетыре» — командовал Афанасьев — сбросили балан, и такая благодарность во всем теле вспыхнула на мгновение. Вот только комарье...

Неприветливый, сгорбленный работой мужик вышел из помещения, посмотрел на прибывших и, не поздоровавшись, исчез в дверном проеме.

Обратно Артем бежал почти бегом — к своей рубахе.

— Куда погнал? По работе соскучился? — крикнул вслед Афанасьев.

Мокрое белье противно свисало. Артем чувствовал свою закоченевшую, сжавшуюся и ощетинившуюся мошонку. Вдруг вспомнил, что забыл хлеб в кармашке, сунул руку — так и есть, пальцы влезли в сырой и гадкий мякиш. Оскользнулся на кочке, упал, непроизвольно выбросив вперед руку — как раз ту, что сжимала хлеб.

Осталось немного на пальцах: Артем лежал на траве, животом чувствуя холодную илистую воду... облизывал руки в хлебной каше.

— О, затаился, — раздался позади голос Афанасьева. — Оленя выжидаешь в засаде? Или на лягушек охотишься?

Артем поднялся, почувствовал, что вот-вот заплачет. Вертел головой, чтоб Афанасьев не увидел.

Это был последний хлеб, впереди еще два дня оставалось на пшенке и треске.

...Справился с собой, сжал зубы, вытер глаза, заставил себя обернуться и улыбнулся Афанасьеву. Получилось — оскалился.

Сивцев обратно не торопился и передвигался почему-то на корточках. Ягоды собирает, догадался Артем.

Ему ягод не хотелось. Дотащили два балана — оставалось девяносто восемь.

На следующей ходке стало жарче, хотя день был стылый. Обратил внимание на Сивцева — тот был будто бы в сукровице: поначалу Артем подумал, что мужик разбил висок вдребезги. Оказалось — ягоды: намазал рожу от комаров, деревенский хитрец.

Возвращаясь, Артем тоже попытался найти какой-нибудь хоть бы шикши. С первого раза не получилось — десятник Сорокин заскучал на берегу и пошел встречать припозднившихся работников: снова разорался, как обворованный.

Во второй раз Артем угодил на ягодную россыпь — черт знает, что за ягода! — но весь умазался. Втирал с таким остервенением, словно узнал, что смерть подошла к самому сердцу, а тут попалась живая ягода, может уберечь.

...Хоть на глаза и лоб перестали садиться.

Мелкого мужичка, которого никто не знал, как зовут, материли теперь все подряд, кроме Моисея Соломоновича. Мужичок поминутно останавливался передохнуть, едва вставал и тут же норовил споткнуться и завалить балан, охал и вскрикивал.

Когда солнце зашло за полдень, мужичок отказался работать.

Подошел, хромая на обе ноги, к десятнику и сказал:

— Убей, я не могу.

— И убью, — ответил десятник и начал убивать: сшиб с ног, потоптал мужичку лицо, несколько раз вогнал сапог в бок, крича при этом: — Будешь работать, филон?

Работающие остановились — все, отдых. Кто-то даже закурил. Один китаец отвернулся, присел и глаза закрыл, как исчез.

— Я не могу! Не убей! — слабым голосом вскрикивал мужичок. — Не могу! Не убей меня!

Артем тупо смотрел на это. То — «убей!», то — «не убей!» — мельком заметил про себя.

Если бы мужичка и убили сейчас же, он бы, наверное, ничего не почувствовал.

«...Какое все-таки странное выражение: «Не убей меня!», — снова заметил Артем. — Никогда такого не слышал...»

Когда кто-то крикнул: «Хорош, слушай!» — Артем какую-то долю мгновения даже не понимал, что это крикнул он сам. По щеке Артема пошла трещина — ягодный сок присох, а рот раскрылся, и щека будто пополам надорвалась.

Десятник, нисколько не задумываясь, развернулся и уже в развороте забросил дрын в Артема, как в чистое поле.

Артем едва успел пригнуться, а то бы ровно в лоб угодил.

— Принеси, шакал, — скомандовал ему десятник.

В глаза десятнику Артем не смотрел, на других лагерников тоже. Скосился на двоих конвойных — они наблюдали за всем происходящим с единственным и очень простым чувством: им хотелось, чтоб кто-нибудь дал им причину озлиться. Один даже привстал и все перетаптывался — так не терпелось.

Артем сходил за дрыном — тот лежал неподалеку на камнях. Не поднимая глаз, отдал его десятнику.

За всю эту тошную минуту к нему не пришло ни одной мысли, он только повторял: «А мальчишкам-дуракам толстой палкой по бокам».

Выхватив дрын, десятник замахнулся на Артема, но тот с не свойственной ему поспешностью и незнакомой какой-то, гадкой суетливостью увернулся и, ссутулившись, побежал к воде — работа, работа заждалась.

Даже рубаху не снял — так и влез в ней сразу по самую глотку.

Остальные полезли за Артемом.

— Мне не по силам, гражданин десятник, — по слогам умолял мужичок на берегу десятника, — не по силам. Сердце в горле торчит! Умру ведь!

Когда Артем с Афанасьевым подгоняли очередной балан к берегу, выяснилось, что десятник взамен работы придумал мужичку другое занятие.

Встав на пенек, мужичок начал выкрикивать:

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

Ксива заржал, другие блатные тоже захихикали.

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти! — повторял мужичок, как заведенный.

— Две тысячи раз, я считаю, — сказал десятник Сорокин, довольный собой.

Конвойные, парни ражие, тоже заливались.

Скопив на берегу десять баланов, снова отправились к лесопильному заводу. Левая рука была вся ободрана о кусты: когда танцевали по дороге на кочках, цеплялись за что попало. Теперь поменялись сторонами с Афанасьевым, и Артем цеплялся правой.

За спиной все раздавалось:

— Я филон! Я филон! Я паразит советской власти!

На обратной дороге Артем как следует выжал рубаху, но, странное дело, волглая ткань оказалась еще холодней, чем совсем мокрая.

Ягодный сок с лица смыло, новых ягод не попадалось. С размаху бил комаров — на ладони россыпью оставались алые отметины, значит, сидели сразу дюжиной.

Взамен усаживались новые, бессчетные.

Мужичка хватило ненадолго, уже через полчаса он еле сипел. Десятник время от времени подбадривал его дрыном.

Принесли обед; мужичок, косясь на еду, выкрикнул из последних сил про филона и паразита и шагнул было за пайкой, но десятник не понял, к чему это он.

— Ты куда, певчий клоп? Куда собрался? — заорал десятник. — Ты думаешь, ты заработал на пожрать? Какой обед филону? Тысяча штрафных!

Артем даже не смотрел, что происходит, только слышал, что бьют по живому и беззащитному с тем ужасным звуком, к которому он так и не привык к своим двадцати семи.

* * *

«Что же это такое? — беспомощно и обрывочно думал Артем, подъедая обед. — Почему так все совпало? До сих пор как-то уворачивался!.. Что теперь делать с этим Ксивой? За ним блатных свора... Не Василий же Петрович будет со мной... Да еще я зачем-то его обидел!.. А с десятником? Какой стыд! Как я бежал от него — стыд! Почему же я не убил его?..»

Артема никто и не бил никогда, кроме отца. Но отец — когда это было!.. Он даже имя его забыл.

К тому же оставалось штук семьдесят баланов — как и не начинали.

Афанасьев, у которого откуда-то находились силы говорить, рассказывал про чеченцев. Артем вяло слушал, иногда забываясь. Тем более что мужичок сипел еще:

— Я филон, я филон, я паразит... советской... власти!.. Я филон... Паразит...

— Не филонь, филон, — куражился десятник Сорокин. — Сначала два раза про филона, потом — паразит. А то нескладно звучит. И громче, громче! Ну!

Артем отыскал себе веточку на земле поровней да повкусней — обкусал концы, приладил в зубы. Сидел, расчесывая ногтями колени, разгоняя кровь.

«Нельзя слабеть! Нельзя подыхать раньше времени!» — повторял он себе, разгрызая ветку.

Потом выплюнул ее, укусил себя несколько раз за руку, пробуя чувствительность.

— ...Характер не поймешь какой у этих ребят, — все рассказывал Афанасьев, пытаясь говорить так, чтоб его было слышно за криками мужичка. — Который младший чечен — пошел за пайкой в каптерку, принес три. Как он там их уговорил, что сказал, я не знаю... Вроде отзывчивые, но сразу и беспощадные... и наивные, как дети, и хитрые... Чудной народец!

За полчаса, пока обедали, Артем немного отдышался, хотя снаружи, наоборот, наползал озноб: мурашки по коже разбегались, как ледяные вши.

Как бы хорошо, чтоб сейчас назрело и образовалось вокруг огромное солнце, раскаленное и золотое, как самовар, — зажмурившись, мечтал Артем. К нему сначала можно было бы протянуть руки, почти в упор, едва не прикасаясь ладонями. Потом развернуться и на минутку прислониться спиной, чтоб от рубахи с шипом пошел пар; главное — успеть оторваться, пока рубаха не прилипнет к самовару, а то дыра будет... Но если медленно отстраняться от самовара, а не рывком, то с мелким потрескиванием ткань отойдет, и как тогда хорошо будет

спине, как сладостно. Потом развернуться и ноги, пятки протянуть — пятки были ледяные настолько, что их можно было бы прямо в огонь...

— Гражданин десятник, можно костер развести? — спросил Ксива.

— Лето на дворе, какой костер, работать пора, шакалы, — ответил десятник и сразу заорал: — Работать, шакалье! Только начали, а уже сдохли!

К баланам, вытащенным на берег, Артем поспешил с некоторой надеждой согреться.

Конвойные кидали шишками в филона и паразита, тот не пытался уклониться, а только делал иногда мягкие, черпающие движения руками, всякий раз будто пытаясь поймать шишку и никогда не ловя. Иногда стукало по лбу — метили, видимо, в рот и никак не могли попасть.

— Гражданин десятник! — не унимался Ксива. — У нас Оперетка без пары остался, он к тому же длинный, тока мешает... не пришей к манде рукав, а не работник. Пусть поет тогда — он петь любит. Вон поставьте Моисея на соседний пенек.

Десятник послал было Ксиву на самые даля, но другие блатные просьбу Ксивы поддержали — из воды было не так опасно препираться. Наконец один конвойный одобрительно подмигнул десятнику, хотя конвойному как раз было все равно: он-то, в отличие от десятника, за урок не отвечал.

— Иди сюды, Соломон, — сказал десятник и тут же отвлекся: — А ты что притих? Давай-давай, филон и паразит! Ори во всю глотку, йодом в рот мазаный!

Моисея Соломоновича действительно поставили на пенек. Он беспомощно огляделся, словно не видел вокруг еды, а без нее начать петь не умел, тем более что мелкий мужичок явно мешал... Но, вздохнув пару раз, Моисей Соломонович вдруг вступил в песню.

Сначала — бесконечную про то, как родная мать меня провожала; следом, приметив оживление конвойных, — «Яблочко», при этом непрестанно нашлепывал себя по комариным щекам. «Жги, барабань!» — подначивал на это Ксива. Потом запел что-то цыганистое, а покончив с «цыганочкой», затянул вдруг незнакомую Артему про сокола: «Расстужился млад ясен сокол, сидючи сокол во поиманье. Во золотой во клеточке, на серебристом на шесточке...

— Про Секирку песня, — тихо засмеялся Афанасьев.

На Секирке, рассказывали, были такие жерди, как для курей, только потолще; на них штрафников заставляли сидеть целыми сутками. Через несколько часов тело ныло и гудело, умоляя прекратить эту муку, но прекращать было нельзя — за любое движение били втрое хуже, а потом все равно возвращали на жердь.

Потешный мужичок все это время сипел свою речевку, к его простуженному кудахтанью уже попривыкли, и если он замолкал, пока к нему не направлялся десятник, помахивая дрыном, становилось как-то странно и необычно. Но когда десятнику оставалось до пенечка несколько шагов, раздавалось шипящее «Я филон!» — и все вставало на свои места: вода, балан, филон, поет Моисей Соломонович, звон в ушах, черные круги перед глазами. Вода тоже расходилась кругами, и круги в глазах то путались с водной рябью, то сливались с ней...

Подташнивало, ныла голова, по плечу стекала теплая кровь.

Моисею Соломоновичу мужичок не мешал.

— Жалобу творит млад ясен сокол, — пел Моисей Соломонович, — на залетные свои крылышки, на правильные мелки перышки: «Ой вы, крылья мои, крылышки, правильные мелки перышки!»

Контру разводит, а эти олухи не слышат, — все смеялся, хоть и подзамученно теперь, Афанасьев, толкая балан к берегу.

Соски у Афанасьева, заметил Артем, стали почти черными.

— Уносили вы меня, крылышки, и от ветра, и от вихоря, — выводил Моисей Соломонович, — от сильного дождя осеннего, от осеннего, от последнего... Не унесли вы меня, крылышки, от заезжего добра молодца, от государева охотничка!

«Что творит...» — подумал Артем... Но и думал он уже еле-еле, будто бы заставляя всякую мысль сдвинуться с места.

Пришла пора снова тащить баланы на лесопильный завод. Там их укладывали штабелями — тоже надрывная забота.

Давя комаров, Артем заметил, что на щеке уже образовалась кровавая корка. Подумал мельком: «Вот бы столько крови набралось, чтоб уже не прокусывали».

К вечеру десятник и конвойные подостыли и развели, наконец, костер. Иногда давали и работягам погреться минуту-другую.

Конвойные, услышал Артем, начали донимать десятника, что пора домой. Тот матерился, что урок не сделан по вине ленивой и медленной скотины — лагерников.

Некоторое время Артем до горячего жжения в застывшей груди надеялся, что все прекратится сейчас же... Но десятник как-то договорился с конвоем.

Последние из положенных на сегодня баланов вытаскивали на берег уже в болотистом сиянии белой соловецкой ночи.

Никто не разговаривал, как будто забыли все известные слова.

Моисей Соломонович сам попросился у десятника помочь доделать работу, и его отпустили — наслушались. Зато мужичок, стоя на пеньке, так и вскрикивал про филона.

— Во гриб, — вдруг прошептал Афанасьев. — Ты не думаешь, что он нарочно?

Артем не думал.

...Пропахшая мерзостью и человеческим копошением трапезная, куда дошли они уже в одиннадцатом часу ночи, показалась родной, долгожданной и милой.

Там была шинелька.

Артем, не глядя в миску, поужинал холодной кашей, выпил полкружки теплой воды, положил сырое белье под себя, влез в шинельку и пропал. Быть может, даже умер.

* * *

Когда чеченцы скомандовали: «Рота, подъем!» — Артем исхитрился увидеть длинный и содержательный сон. Что он поднялся, умылся, извлек из-под себя портянки и штаны с рубахой — подсохли, хорошо, — при этом что-то такое бубнил Василий Петрович, прыгая с первого на пятое, а потом вдруг вытащил валенки из своего мешка и дал Артему: носи, мол, ведь баланы не шутка. Артем тут же в них влез и странным образом ощутил себя целиком внутри валенка — очень терпко и тепло пахло там, немного кисловато, но так даже лучше. Поне-

жившись, он выбрался из валенка, отправился на утреннюю поверку. Все это время и в трапезной, и на поверке орал мужичок-с-ноготок про филона и паразита, но это не мешало перекличке. «Двести пятидесятый, полный строй до десяти!» — выкрикнул Артем и здесь понял, что забыл пожрать! Как же так, какой ужас! И когда ж все успели? Где он был? Неужели на параше? Но ведь очередь стоит не меньше часа, что он целый час делал на параше? Получив наряд на ягоды, — ну, слава Богу, слава Богу, слава Богу! — Артем поспешил обратно в трапезную, точно узнав откуда-то, что Василий Петрович взял и сберег ему пшенку, с большим куском масла, не виданного уже четвертый месяц, и поставил ее под шинельку, чтоб не остыла, масло там отекало и таяло. Так мать оставляла Артему кашу, когда он был ребенком, завернув ее в старый плед. Стремясь избежать встречи с Ксивой, Крапиным и десятником Сорокиным, Артем почти добежал к своим нарам. Вслед ему крикнули что-то чеченцы, тоже обидное. Все летело ко всем чертям последние дни, только каша могла спасти! «И там еще пирожок!» — крикнул Василий Петрович. Артем влез на нары, забрался обратно в шинель, поджал ноги, чтоб не торчали наружу, зажмурился, чтоб даже глаза сохраняли тепло... Только вот каша. Что с кашей?!..

— Рота, подъем! — еще раз настырно проорал чеченец; не прошло и мгновенья с тех пор, как он выкрикнул «Подъем!» в первый раз.

— Рота, подъем! — проорал он и в третий раз.

— Что ты, б..., кукарекаешь, как петух, по три раза? — крикнули на чеченца. Артем уже проснулся, узнав голос Ксивы, хотя одной рукой все-таки слепо трогал нары под собой и рядом: не лег ли он на кашу, не опрокинул ли ее?..

— Кто сказал «петух»? — громко спросил чеченец. «Петух» он произносил через длинное «и».

Как же хочется спать! Артем, не раздумывая, дал бы сейчас мизинец отрубить себе за сон. Особенно мизинец на ноге. На ноге он вообще не нужен. По мизинцу за час сна.

Появилась рука Афанасьева с пирожком — Артем отчего-то испуганно посмотрел, на месте ли мизинец Афанасьева. Да, на месте. А потом образовалась ухмыляющаяся рожа петроградского поэта:

— Ты спал вчера, когда принесли... За ударный труд. Представь, чего мне стоило его не сожрать! Я его нюхал всю ночь. Оставь на день, я еще понюхаю...

Артем под дурацкий смех Афанасьева выхватил пирожок и тут же целиком засунул в рот! Его взяло сомнение: вдруг и это приснилось? Пирожок был настоящий, с капустой, Артем жевал и чувствовал, как крошится его лицо: это все вчерашние комары, смешанные с кровавой ягодой... или наоборот...

— Видела б тебя родная мать, — сказал Афанасьев, он-то вчера как-то исхитрился умыться.

Надо было спрыгивать скорей — в любую минуту мог появиться Крапин, а то и Кучерава: они ежеутренне обходили ряды, нещадно подгоняя спящих лагерников; бывало, и ребра ломали.

В эту ночь Артем впервые не поднялся на парашу — пришлось идти вместе со всеми; и ничего, снес, стерпел. Высокий ушат с положенной поперек доской; напротив, лицом к лицу, стоит очередь и подбадривает иногда друг друга. Ксива, чтоб на него не смотрели, начал, будто в шутку, себя доить за уд, пугая всех: «Щас! Ай, щас! Уже подходит! Разойдись!»

Парашу, заметил Артем, выносили два фитиля, нанятых чеченцами за махорку. Продевали палку в ушки ушата и тащили в центральную уборную.

На той же палке, что и парашу, чеченцы внесли чан с кашей.

Хоть этой палкой и не мешали в чане, все равно было неприятно. Но не так, чтоб расхотелось жрать.

С кормежкой Артем характер не выдержал — влез в очередь один из первых, позабыв даже, что где-то здесь есть Ксива, так, к слову, и не откликнувшийся на вопрос чеченца. «Вот ссыкливая падлота», — подумал Артем. В очереди было хорошо, тесно, весело, тем более что штаны и рубаха высохли, вот только валенок никаких не оказалось.

Поев, почувствовал себя немного уверенней.

За кипятком тоже надо было подсуетиться — кипяток имел обыкновение заканчиваться.

«Если Ксива сунется — ударю», — решил он про себя.

Василий Петрович подошел, посмотрел на Артемово лицо, покачал головой.

— Слышали? — спросил. — Бурцев сегодня стал отделенным.

Артем молча порадовался, что Василий Петрович простил его: утро-то неплохо начинается, может, и дальше так пойдет.

— Хорошо... Хотя мы с ним... не сошлись до такой степени, чтоб мне... испытывать надежды... — отвечал Артем, попивая кипяток.

В сон все-таки клонило очень сильно, и синяк на ноге саднил, и ладони, ободранные о кусты, ужасно ныли — Артем прижимал их к банке с кипятком и от удвоенной боли чувствовал даже некоторое удовольствие.

— Все приличный человек, — сказал Василий Петрович почему-то с сожалением. От него, кстати, ощутимо пахло чесночком.

Артем тоже хотел чеснока, но не хотел, чтоб его жалели, и остро осознавал, что на ягоды к Василию Петровичу все равно не попросится: характер.

Пришел Афанасьев, чокнулись банками с кипятком, Артем сказал, улыбаясь и чувствуя объеденные комарами щеки:

— А ты ничего. Я, еще когда мы пни корчевали, заметил.

— Артем, голуба, я, бывало, на воле по три дня не ел, — ответил Афанасьев. — Достанется где кусок хлеба — и снова на три дня. А тут у меня на обед суп с кашей, вечером снова каша. Захотел — подсуетился и сделал салат из селедочки с луком. Совсем задурил — пошел и купил себе конфет в ларьке. Разве в этом счастье?

— Конфет? — удивился Артем, не поддерживая разговор про счастье. — Откуда у тебя деньги? Скопил, что ли?

— Почему? В карты выиграл. Будешь мармеладку?

У Афанасьева действительно была мармеладка, и он угостил ею Артема.

От сладкого даже в мозг ударило: такой душистый, томительный вкус.

«Я с детства занимался собой, вертелся на турнике, даже боксу учился, работал грузчиком, а это — поэт! И такая живучая сущность, — дивился Артем, глядя на Афанасьева. — И характер такой простой!.. Все-таки и у меня есть какие-то углы, и я этими углами цепляю то Ксиву, то Крапина... А у Афанасьева вообще никаких углов нет, он втекает в жизнь — и течет по жизни... Хотя нет, его же убрали с дневальных?..»

— ...Слышишь меня? — смеясь, спросил Афанасьев, рассказывавший что-то.

Артем отрицательно покрутил головой, снова улыбаясь, и вдруг спел:

— Не по плису, не по бархату хожу, а хожу-хожу по острому ножу... Откуда я знаю эту песню? Никогда ее не слышал.

— Как не слышал, — добродушно удивился Афанасьев, — вчера Моисей исполнял.

* * *

«Человек — живучая скотина», — думал Артем по дороге на баланы. Сердце его разогнало кровь, глаза проснулись, сон сошел, душа ожила.

«Это сейчас ты так говоришь! А если такой наряд тебе будет выпадать до ноября? — спросил Артем себя. — Представь, каково в ноябре, да в канале, да по глотку...»

Отмахнулся, не стал представлять; обернулся на монастырь.

«Надо мхом порасти и стоять на любом ветру каменно...»

Вчерашняя партия была в полном составе, даже потешного мужичка опять прихватили, может, из подлости. Звали его Филиппом — Афанасьев узнал. Убил Филиппок свою матушку и по той причине оказался в Соловецкой обители.

— Работать не будешь — вечером выдавлю глаз и заставлю съесть, — посулился ему негромко Ксива.

— Потяну лямку, пока не выроют ямку, — кротко и еле слышно ответил Филипп.

После того, что Афанасьев рассказал про Филиппа, Артем непроизвольно сторонился мужичка. От слов его, будто бы помазанных лампадным маслом, воротило.

Как дошли до места, Моисей Соломонович сделал три круга вокруг своего пенька — не позовут ли его попеть и сегодня. Но никто знака не подавал.

«Ах, как жаль, — говорил весь вид Моисея Соломоновича. — Как жаль, ах».

После вчерашнего концерта Артем поглядывал на Моисея Соломоновича с интересом: судя по всему, это был человек увлекательный.

Не дожидаясь понукания десятника, Артем полез в воду. Рубаху он накрутил на голову, плечи намазал прибрежной грязью.

— Гражданин десятник, чё сегодня — опять сто? — поинтересовался Ксива. — Не великоват ли урок? — и тут же резво, как конь о двух ногах, забежал в воду.

Десятник Сорокин не поленился и запустил в Ксиву дрыном.

— Давай мой шутильник обратно, шакал, — скомандовал десятник; дрыны называли еще и шутильниками.

— Утоп он, гражданин десятник, — отвечал Ксива, тщательно изображая поиски.

— Я тебе дам «утоп»! Он деревянный, как ты! Ищи!

Артем поймал себя на странном чувстве: ему хотелось, чтоб десятник додавил Ксиву, заставил принести шутильник и наказал бы пару раз этой самой палкой.

Но хитрый Ксива так и не отдал дрын, сколько Сорокин ни орал.

Наоравшись, десятник ушел перекурить с конвойными. А потом и вовсе все трое отправились куда-то: наверное, за ягодами. На проща-

нье Сорокин крикнул, что сегодняшний урок уже сто пятьдесят баланов — полтинник накинули за дрын.

— А тут, даже если по двести, — еще на неделю трудов, — прикинул Лажечников, из-под руки осмотрев канал.

— Ксива, б..., тебя утопить мало, — заругался Афанасьев, без особого, впрочем, задора.

Артем снова удивился: Афанасьев мог позволить себе говорить с блатным таким тоном. Мало того, Ксива ему вполне приветливо ответил:

— Да пошел ты, Афанас. Иди в зубах ему дрын отнеси. Вон как твой дружок вчера.

Артем, хоть и стоял в воде, а почувствовал, что его внутренности будто облили чем-то горячим, липким, стыдным. Деваться было некуда.

— Ты, блатной! — выкрикнул Артем, и крепость собственного голоса его самого возбудила и поддержала. — Пасть свою зашей!

Отталкиваясь от баланов, Артем пошел, стараясь делать это как можно быстрей, по направлению к Ксиве.

— Вы чё, хорош, — искренне засмеялся Афанасьев.

— Э, фраер, иди ко мне, — позвал Ксива Артема, которому и так оставалось два шага. Артем изловчился и вдруг пробил правой прямой замечательно длинный удар Ксиве в лоб, да так точно, что голова его сначала, рискуя сломать шейные позвонки, резко шатнулась назад, а потом он всем телом завалился вперед — благо что на балан, а то бы под воду ушел.

Двое других блатных рванулись было на помощь, но тут влез Афанасьев:

— Их разборка! Их разговор! Двое говорят — остальные стоят!

Ксиву приподняли с балана, он вращал глазами и даже разговаривать не мог какое-то время, только взмыкивал.

Лагерники молча работали. Лажечников хмурился. Сивцев часто шмыгал носом. Китаец привычно находился где-то глубоко внутри себя. Моисей Соломонович занимал всегда такое место, чтоб оказаться равно далеким от любой опасности. Филипп, кряхтя и бормоча, бегал вдоль воды, как будто оттуда должна была вот-вот выпрыгнуть ему прямо в руки большая рыба.

У Артема все одновременно дрожало и ликовало внутри.

Сплюнув, он вернулся к Афанасьеву ворочать баланы. Афанасьев был весело-удивленным, но и несколько озадаченным.

Артем покусывал губы и старался не слишком коситься на Ксиву, но все равно чуть болезненно прислушивался: не начнет ли тот снова хамить.

Время от времени Артему приходилось драться. Он не был к этому склонен, однако драться умел неплохо: надо было только переломить в себе врожденное нежелание ударить человека по беззащитному и ранимому лицу, а дальше все получалось само собою.

Блатные, выведя Ксиву на берег, покрутились возле, предлагая помощь... Кажется, он на них шикнул, и они снова зашли в воду.

— Неплохо, неплохо, — сказал Афанасьев, все еще улыбаясь.

Приятное тщеславие понуждало Артема выказать свою невозмутимость.

Для этого лучше всего подходило молчание.

— Стихов бы, что ли, почитал, — предложил он спустя несколько минут.

Афанасьев задумался, будто решая, говорить всерьез или нет, а потом ответил очень серьезно:

— Своих я еще тут не написал, а прежние не считаются. И чужих не хочу. Буду здесь без стихов жить, как без женщины. Потом слаще окажется попробовать. — И тут же перевел тему: — Тема, что ты хватаешься за самые тяжелые бревна, я не пойму. Сил до хрена, я увидел. Ну так побереги их. Выбирай хлысты тонкие, худые баланы. Это девок надо выбирать помягче, а тут-то... зачем...

Десятник вернулся неприметно, наверное, еще издалека приметил филонящего Ксиву и путь от перелеска проделал едва ли не скоком. В руке у него был новый дрын.

Определенно, у Ксивы сегодня был тяжелый день: пока он добежал до воды, ему досталось раз десять по хребту.

Работал он после этого, как в полуобмороке, а ближе к обеду его вдруг прямо в воде вырвало. Слюнявая нить свисала с отвисшей губы, пока не вытер, озираясь дурными глазами.

Вся эта хлебная слизь и непереваренная каша раскачивались некоторое время на поверхности.

В какой-то момент Артем осознал, что не осталось и толики гордости за свою короткую и очевидную победу, и не потому, что Ксива еле передвигался, весь сонный и скисший, а потому, что день нынешний оказался еще трудней, чем вчерашний.

И баланы за ночь стали будто тяжелее, и ветер — еще более назойливым, и комарье даже на ветру не пропадало.

— Раз вы такой стаей летаете туда-сюда, дотащили б до лесопилки, — ругался на комаров Афанасьев.

Вообще Афанасьев все больше нравился Артему; он бы подумал об этом серьезнее, когда б не разноцветные звезды, пляшущие в глазах.

Откуда-то издалека раздавался рев десятника Сорокина — тот снова наказывал потешного Филиппка за отсутствие сил и воли к работе.

Филипп сам предложил поорать про филона, хотя, признаться, голос его сел совсем.

— Слыхали? — обратился десятник к конвойным. — Он опять хочет орать про филона, а не работать!

Конвойные смеялись; Филиппа еще раз, сбив на землю, поучили дрыном, он вскрикивал и безуспешно пытался уползти.

Сегодня Артему и в голову не пришло бы за него вступаться. Вчерашний свой поступок он не понимал вообще и объяснить бы при всем желании не сумел.

Подступало тихое помутнение.

Артем медленно повторял, часто смаргивая: «Вот плавают звезды перед глазами, вот плавают, вот плавают, а если их выловить, а если их выловить и сварить».

И представлялся ему суп: позолоченный, ароматный, источающий нежнейший дух.

Понемногу начало накрапывать прямо в суп, а потом как надорвалось — грянул оглушительный ливень, пузырящийся, шумный, толкотливый.

Било по мозгам так, что звенело и бурлыкало в голове.

Артем чувствовал озноб, сделавший руки негнущимися, движения — тупыми, пальцы — деревянными.

В воде оказалось лучше, чем на суше, — и все, кроме Филиппа, залезли в канал, стояли там меж пузырей, в угаре и грохоте дождя.

Десятник и конвойные сразу убежали поближе к деревьям и пережидали там, покуривая.

Филипп, приговаривая что-то, ходил туда-сюда по берегу, словно искал посреди дождя место, где не каплет.

Дождь шел минут десять и разогнал комарье.

Но не успела рассеяться последождевая морось, как по одному, неистово пища, начали возвращаться комары.

«Нет бы ливень прошел огненный, раскаленный», — мечтал Артем.

Дорога до лесопилки и назад больше не согревала. Зато пятки едва чувствовали боль, и Артем наступал на камни, ветки, шишки с некоторым даже озлоблением.

Филипп работал теперь в паре с невысоким, хоть и втрое шире его Лажечниковым.

Уже вечерело, когда непрестанно что-то шепчущий Филиппок вдруг притих и несколько минут вел себя настороженно и странно.

Артем с Афанасьевым подавали, кряхтя и клекоча, очередной особенно тяжкий балан из воды, и Филипп вдруг на глазах у Артема исхитрился и — явно с задумкой! — сбросил руки. Лажечников пытался удержать балан, но куда там! Балан мощно тюкнул концом точно по ноге Филиппа.

— Эй! Ты что? — вырвалось у Артема.

— Ай! — заорал Филипп. — Ай! — Он еще хотел прокричать заготовленное «Выронил!», но боль, видимо, оказалась такой настоящей, что его хватало только на «Выр! Выр! Выра!..».

Афанасьев и Артем тоже сбросили свой конец и стояли не шевелясь.

Только Лажечников, ничего не понявший, приговаривал, безуспешно пытаясь рассмотреть ушиб:

— Не то поломал?

Появившийся десятник, вообще не раздумывая, взял Филиппа за волосы и поволок — не куда-то и с определенной целью, а просто от бешенства, — и волочил кругами, пока кудрявый клок так и не остался зажатым в кулаке.

— Сука шакалья! — орал Сорокин. — Кого ты хотел обмануть? Я таких сук имею право удавить лично! Всем саморубам и самоломам положена смерть! Ты сдохнешь сейчас!

Артем, безвольный и глухой, прошел к еле живому костерку, который только что разожгли конвойные.

Он был совершенно уверен, что Филиппа сейчас не станет.

Моисей Соломонович громко вздыхал. Артему почему-то показалось, что тот молится.

Назабавившись и оставив Филиппа на земле, десятник Сорокин тоже направился к костру, бросил в огонь клок волос, который так и держал в руке, и скомандовал:

— Ну-ка все на х... в воду!

— Не убей меня! — снова вскрикивал Филипп срывающимся, будто не находящим себе пути в надорванной глотке голосом.

Что-то придумавший Сорокин позвал блатных — и вскоре они откуда-то прикатили здоровый, пуда на полтора пень.

Подсушив пень на костре, Сорокин, произнося вслух то, что писал, вывел карандашом: «Предъявитель сего Филон Паразитович Самоломов направляется на перевязку ноги. После перевязки прошу вернуть на баланы для окончания урока».

Конвойные хохотали, причем у Артема было твердое чувство, что все это уже когда-то было и теперь, только громче и назойливее, повторялось.

— Подымайся, шакал! — крикнул, завершив труды свои, Сорокин. — Думаешь, ты не сможешь работать на одной ноге? Сможешь! Сможешь вообще без ног, йодом в рот мазаный!

— Я не нарочно! — с подсвистом сипел Филипп.

— Либо я тебя забью дрыном по голове и брошу в канал, либо ты встал и пошел с письмом в монастырь! — со всей возможной серьезностью предложил Сорокин, яростно сжимая крепкую палку.

Артем увидел перед собой человека, готового к убийству и даже желающего его.

И Филипп встал.

Пень он сначала, шага три, нес впереди живота — и уронил... взвалил на горб и с минуту шел, далеко ступая здоровой ногой и очень мелко — ушибленной, натурально плача при этом... вскоре сам упал... дальше покатил пень перед собой.

Артем вслед ему не смотрел, слыша лишь его стенания и жалобы. Иногда Филипп вскрикивал так, словно его прокалывало насквозь раскаленной спицей, — наверное, когда неудачно ступал на покалеченную ногу.

Они закончили урок еще позже, чем вчера: с конвойными десятник снова договорился. Зарабатывал себе условно-досрочное, скот.

— Я решил купить плеть, — сказал Артему Афанасьев, когда они, дотащив последний балан, бессильно возвращались от лесопилки на помаргивающий костерок. — И знаю как.

Полуночный дождь гнал их до самого монастыря. Шли по щиколотку в грязи.

Видя мутные монастырские фонари, Артем чувствовал, что это не дождь бьет его в затылок и плечи, а он тащит за собой дождь, как огромную, полную ледяной и трепещущей рыбы сеть.

* * *

Ночью в роте удавился заключенный из их взвода.

Всех подняли в начале пятого, едва дневальный обнаружил мертвяка.

Артем просыпался так, будто ему — как кость, с хрустом, — сломали сон, и открытый перелом шел через трещащий от боли череп.

...Ротное начальство суетилось: может, убийство. Но лагерники точно понимали, что нет, поскольку это был фитиль, доходяга, никому не интересный. Он сидел четвертый год, висело на нем пять, недавно отсидел в карцере десять суток, и это его доконало.

Разбуженный Кучерава пару раз рубанул дневального дрыном за то, что недоглядел. Чеченец таращил бешеные глаза, но у Кучеравы они были еще бешеней.

Мертвяк висел в дальнем углу, исхитрившись удавиться с краю нар, прицепив удавку к жердям третьего яруса. Петлю смастерил из рубахи, порвав ее на длинные лоскуты.

Никто ничего не слышал. Лагерник на первом ярусе так и спал головой к ледяным ногам удавленника, пока не получил дрыном от Кучеравы.

Мертвяка ужасно материли за переломанный сон.

Дневальным велели снять труп; битый послушно полез и перерезал удавку, но принимали внизу все равно те же фитили, что выносили парашу. Двое других чеченцев командовали и покрикивали.

Труп вынесли и положили на улице у входа.

Прибежала собака одного из лагерников по кличке Блэк, понюхала труп и села рядом. Во дворе еще жил олень по прозвищу Мишка, но он сегодня держался в отдалении, хотя по утрам, едва появлялись лагерники, сразу спешил к ним: бывало, кто хлебом угощал, а кто и сахарком — далеко не все сидельцы бедовали. Потом тех, кто ему давал сахару, Мишка легко находил в любой толкотне.

Встал Артем в состоянии почти алкогольного опьянения, не помня и десятой части из того, что случилось вчера, и очень медленно осознавая происходящее сегодня.

Он без толку побродил по трапезной, готовый заснуть прямо на ходу, а скорее, все еще спящий.

Вышел на улицу, по дороге заметил, что Ксиву опять рвет, и ничего не подумал по этому поводу.

Над трупом как-то особенно стервозно орали чайки, будто увидели вознесшуюся душу, она им не понравилась, и они хотели ее заклевать, как чужую, прокаженную, лишнюю в этом небе.

Когда одна из чаек стала снижаться, чтоб, кажется, усесться прямо на труп, вдруг с необычайной злобой залаял Блэк. Чайка рванула вверх, но обиду затаила. Спустя минуту уже несколько чаек кружило над Блэком, норовя пролететь над самой его башкой, а он сидел невозмутимо, как будто сам умел в любое мгновенье взлететь и порвать в воздухе кого угодно; только иногда поводил носом.

Плюнув кислой слюной себе под ноги, Артем вернулся в трапезную и влез обратно на свое место. Ему было муторно, зябко, предрвотно.

Одежда Артема не высохла. Видимо, тело его не смогло за ночь дать нужного количества тепла. Наоборот, шинелька подмокла и непонятно отчего внутренняя ткань стала какой-то склизкой.

Подошел Бурцев.

— Команды ложиться не было, — сказал он.

Артем открыл глаза, посмотрел на него, хотел было просительно улыбнуться, но не хватило сил, подумал дремотно: «Белогвардейская сволочь...» — и закрыл глаза: может, пропадет.

И заснул.

Подъем все равно был через четверть часа, но эти четверть часа в покое значили непомерно много. Еще бы часов семь-десять, и совсем было бы хорошо.

* * *

Первая мысль: неужели Бурцев пропал? Обиделся, интересно, или нет?

Вторая мысль: а был труп или нет, или приснился? Может, и Бурцев тогда приснился?

Труп лежал на месте. Блэк все сторожил мертвого. Чайки ходили неподалеку, косясь на недвижный человеческий глаз и дразнящийся язык.

— Ты помнишь, что я вчера сказал? — спросил Афанасьев у Артема после завтрака.

«Купить плеть, сплетовать» означало «побег».

Артем ничего не ответил и даже не кивнул.

Они сидели на его нарах с кипятком в руках. Было только семь утра. Артем бесстыдно сколупывал вчерашнюю грязь со щиколоток. Афанасьеву было все равно.

Минуту назад, перед тем как залезть наверх, он положил в протянутую руку живущего под нарами беспризорника мармеладку. Теперь два товарища со второго яруса смотрели, как рука вновь появилась. Некоторое время открытая грязная ладонь будто бы искала что-то — таким движением обычно пытаются определить, идет дождь или нет. Больше мармеладок не выпало; рука исчезла.

Некоторое время молчали, тихо закисая от недосыпа.

— Отсюда не убегают, — сказал Артем, встряхиваясь.

— Убегают, — ответил Афанасьев, жестко, по-мальчишески надавив на «г» в середине слова.

Еще посидели.

Ни о каком побеге Артем даже думать не хотел.

— Ты вроде был иначе настроен к здешней жизни, — сказал он, еле справляясь языком с тяжелыми словами.

— Дурак, Тема? — прошипел Афанасьев. — То, что я могу выжить и здесь, не означает, что я буду тут жить... К тому же, если остаться в двенадцатой, тут могут и уморить. Зимой уморят запросто.

— Еще кипятка хочу, — сказал Артем, сползая с нар так, будто его всю ночь жевали и выплюнули, не дожевав.

Когда ставил консервную банку на свои нары, заметил, что рука от напряжения дрожит. Как же он теперь будет поднимать баланы, если пустую железяку едва держит.

Еще надо было идти в сушилку, отнести вещи — у него были запасные штаны, имелся и пиджак. Он переоделся в сухое и, невзирая на лето, влез в шинель.

— С тобой схожу, — сказал Афанасьев.

Сушилка была в восточной части кремля; обслуживала она в основном администрацию, но иногда работники, тоже из числа заключенных, могли смилостивиться и взять шмотье у простых лагерников.

Прошли мимо удавленника, за своим разговором и не посмотрев на него. Мертвый язык, замеченный боковым зрением, еле тронул в Артеме человеческое, почти неосязаемо.

Если б Артем задумался об этом, он решил бы так: это же не человек лежит; потом: что человек — это вот он, идущий по земле, видящий, слышащий и разговаривающий, а лежит нечто другое, к чему никакого сочувствия и быть не может.

Афанасьев все пугал Артема предстоящей зимой:

— ...За невыполнение нормы раздели и оставили на морозе... Он и задубел. Это не «Я филон!» орать. И лежал за отхожим местом ледяной труп до самой весны, пока не начал оттаивать...

Артем вдруг вспомнил слова Василия Петровича, что в дневальные назначают только стукачей. Он же про Афанасьева говорил!

— К чему ты мне это рассказываешь? — перебил Афанасьева Артем.

Им навстречу из сушилки вышел хмурый чекист, и Афанасьев не ответил.

В сушилке уже стояло человек семь отсыревших бедолаг, причем некоторые из них были по пояс голые: сменной одежды они не имели.

— Куда ты тянешь свое тряпье, иди под жопой его суши! — надрывался приемщик, наглая рожа.

Все сразу стало ясно.

— Человек человеку — балан, — сказал Афанасьев на улице.

* * *

В роте Бурцев бил китайца.

Китаец лежал на своих нарах и не хотел или не мог встать на работу.

Бурцев его тащил за шиворот.

Китаец не стоял на ногах, тогда Бурцев его бросил, но тут же склонился и начал неистово трясти за грудки, выкрикивая каким-то незнакомым Артему, болезненно резким голосом:

— Встать! Встать! Встать!

Это «Встать!» звучало, как будто раз за разом остервенело захлопывали крышку пианино.

«Вот ведь как... — вяло размышлял Артем. — Подумать-то: всего лишь отделенный. И такое. А мог бы и со мной такое проделать?»

Появился откуда-то Василий Петрович, весь, как курица, взъерошенный то ли от ужаса, то ли от удивления.

— Мстислав! — все повторял он. — Мстислав!

«Кто у нас Мстислав?» — никак не мог понять Артем: отчего-то он никогда не слышал, чтоб кто-то называл Бурцева по имени.

Бурцев выпрямился и, не глядя на Василия Петровича, пошел к выходу: скомандовали построение на поверку.

По дороге Бурцев вытирал ладони, словно только что мыл руки.

Василий Петрович помог китайцу подняться.

— Тем, а вот тебе не кажется странным, — привычно возбужденный, бубнил Афанасьев, пока рота пыталась построиться. — Китай-то черт знает где. Там где-то ходят китайцы, живут своей муравьиной жизнью, и там есть родня этого нашего... как его зовут?.. Родня говорит по-китайски, ест рис, смотрит на китайское солнышко, — а их сын, внук, муж валяется на каких-то Соловках, и его бьет отделенный Бурцев?

Артем понимал, о чем говорит Афанасьев, но все эти отвлеченности не могли взволновать его. Вот Бурцев его удивил, да. Он ходил взад-вперед, наблюдая, как строится отделение. Вид у Бурцева был сосредоточенный.

Василий Петрович привел китайца, Бурцев не подал вида, словно случилось то, что должно было случиться.

Проходя мимо Артема, Бурцев остановился, сощурился и сказал:

— О, тебя не узнать. Возмужал.

Артем попытался улыбнуться, но отчетливо понял вдруг, что его оплывшее, лихорадочное, больное лицо за два дня едва не съедено комарами и что Бурцев издевается.

«Гребаный хлыщ, — подумал Артем. — Ему тоже теперь надо бить в лоб? Прекратится это когда-нибудь или нет... Это он мне отомстил за то, что я не встал с кровати утром», — мгновенье спустя догадался Артем.

Ни на какую радость после этого надеяться не приходилось, но судьба сыграла в своем жанре: Артема с Афанасьевым сняли с баланов. Направили, правда, непонятно куда.

«Кого благодарить-то? — думал Артем. — Удачу? Где она — моя удача?.. Или Василия Петровича?»

Но Василий Петрович был, кажется, ни при чем.

Артем старался не смотреть на крутой, обваренный лоб Крапина, чтоб ничего не напортить.

Может, Афанасьев подсуетился?

Но Афанасьев вида не подавал, только посмеялся, лукаво глядя на Артема:

— Главное, не центральный сортир чистить, — остальное все сгодится.

По пути в роту, когда движение застопорилось, кто-то больно толкнул Артема в спину; он быстро оглянулся. Позади были блатные.

Поодаль стоял Ксива, смотрел мутно, словно что-то потушили в его голове. Под глазами у него были натурально черные круги.

— Амба тебе, чучело, — сказали Артему.

— Что стряслось, братие? — тут же обернулся, качнув засаленным рыжим чубом, Афанасьев, шедший рядом.

— Не лезь, Афанас, — ответили ему.

Артем развернулся и сделал шаг вперед. Его еще раз, похоже, костяшками пальцев, сурово и резко ткнули под лопатку. Больше не оглядывался, наоборот, пытался скорей протолкнуться, но впереди, как назло, топтались медленные, будто под водой, лагерники.

Сзади хохотнули, произнося что-то обидное и гадкое.

Артем изо всех сил постарался не услышать — и не услышал.

Его потряхивало, он держал руки в карманах, сжав кулаки.

На улице по-прежнему орали чайки. Было необъяснимо, зачем природа сделала так, чтоб небольшая птица умела издавать столь отвратительный звук.

— Ты не дергайся, — сказал Афанасьев очень спокойно. — Мы разберемся.

Артема будто кольнули теплой иглой под сердце — всякое доброе слово лечит, от него кровь согревается. Но виду не подал, конечно, да и верить никаких оснований не было. Ну да, Афанасьев, кажется, с риском для себя поигрывал с блатными в карты, но с чего б ему разбираться и как?

Утро оказалось слишком длинным, пора ему было переваливаться в день.

* * *

— Кто со мной разговаривал? — спросил Артем, совсем уже успокоившийся.

«Выкружу», — сказал себе.

— Бандит Шафербеков. Порезал жену, сложил кусками в корзину и отправил по вымышленному адресу в Шемаху.

— А Ксива — он кто?

— Карманник. Но тоже вроде какую-то бабушку напугал до смерти.

— А прозвище у него откуда такое?

— Губу его видел? Она ж как ксива — всем ее сразу предъявляет...

Артем покачал головой:

— И ты общаешься с этой мразью?

Афанасьев саркастично скривился:

— А здесь есть другие?

Артем пожал плечами: было очевидно, что есть.

— Ты думаешь, на любом бывшем чекисте из девятой роты меньше крови? — поинтересовался Афанасьев. — Там у каждого по дюжине таких корзин в личном деле.

— Я не про них.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

— А про каких? Посмотри на Бурцева — что с ним стало за день! Отделенным назначили! А Мстислав наш из дворян наверняка. Плетку скоро себе заведет, бьюсь об заклад. Чекисты, думаешь, суки, а каэры все невинные, как они сами про себя здесь рассказывают? Ага!

— На каэрах другая кровь, — сказал Артем тихо.

— Какая другая? Такая же. Сначала мокрая, а потом сворачивается.

— Ты понимаешь, о чем я, — упрямо повторил Артем.

— И твоего Василия Петровича я не люблю, — весело, но не без стервозной нотки продолжал Афанасьев. — Неровный тип. Знаешь, как мы с ним познакомились? Иду с посылкой от мамки, он ловит меня за рукав в коридоре — это еще когда я в карантинной роте был: хочешь, говорит, посылочку сберегу?

Артем помолчал и спросил:

— А что такого?

— А чего мне с ним посылкой делиться?

— Тогда придется делиться с блатными.

— Вот именно. И первый твой вопрос был: «Почему ты дружишь с этой мразью?»

Артем выдохнул и сказал миролюбиво:

— Да ну тебя.

Афанасьев хохотнул, очень довольный собой.

— Ты циник, Афанасьев, — сказал Артем уже совсем по-доброму, не без некоторого, признаться, уважения. — Ты мог стать замечательным советским поэтом. Никаким не попутчиком, а самым правоверным.

— Мог бы, — согласился очень серьезно Афанасьев. — Но не стану. Мне и карт хватает, чтоб жульничать. А этим я не торгую.

— А ты совсем не веришь большевикам? — спросил Артем минуту спустя.

— Я? — встрепенулся Афанасьев и даже схватил свой чуб в кулак, слегка подергивая. — В чем-то верю, отчего ж. Только большевики мне не верят совсем!

И снова захохотал.

Они нарубили-наломали дубовых и березовых ветвей и вязали выданной бечевой веники, ими же обмахиваясь от комарья.

Сегодня выпал день солнечный, высушивающий давешнюю сырость, и место они выбрали такое, чтоб подпекало, — так что было очень хорошо, даже чудесно. Нисколько не хотелось думать, кто там сегодня студится и надрывается с баланами.

— А вы где играете? — спросил Артем, имея в виду карты. — За это ж могут на Секирку сослать.

— На Секирку... — сказал Афанасьев насмешливо. — И что теперь? Играем где можем, — это сильней страха, игра — она вместо этой б...ской жизни соловецкой, затмевает ее... Мест, чтоб громать, пока много: в оконных нишах играем... есть пара обжитых, еще не пропаленных чердаков, за дровами место есть... В роте тоже играют иногда, разве не видел? Но ловят, суки, давят.

Афанасьев мечтательно смотрел куда-то далеко, будто мысленно раскидывал карты.

— Ты хорошо играешь? — спросил Артем.

— Играю? — засмеялся Афанасьев. — Нет, тут другое. Это не игра — это, Тема, шулерство. Играть там — без смысла, важен только обман. Я в детстве хотел фокусы показывать в цирке, с ума сходил

просто. Фокусам так и не научился толком, а вот с картами могу кое-что... А сама игра — это уже дело пятое. Главное, если хочешь выиграть, чтоб была своя колода. Или, на крайний случай, третьего человека. Все дело в колоде: как ты ее растасуешь — так и поиграешь, Тема.

Артем помолчал.

— А карты откуда?

— Святцы сделать — тоже своя забава, — с видимым удовольствием рассказывал Афанасьев.

«...Во поэт», — подумал Артем весело.

— Идут блатные в библиотеку, продолжая плановый процесс перековки, берут роман потолще... Режут страницы из книг, бумагу склеивают хлебным клеем — это когда хлеб обваривается кипятком и отжимается; отжатая жидкость — клейкая. А потом через трафаретку рисуют мылом, разведенным на чернилах, карты, они же «святцы», они же «колотушки», — с учительской интонацией закончил Афанасьев и, подняв веник, спросил: — Жаль, на венике нельзя улететь, как Баба Яга, да, Тема? Сейчас бы уселися с тобой — и адьо, товарищи!

— Баба Яга ж — на метле, — отвечал Артем.

— А метла что? Веник! — не соглашался Афанасьев.

Веников они сделали уже полторы сотни, и надо было еще пятьдесят.

— Давай-ка мы сделаем метлу, может, полетит? — сам себя развлекал Афанасьев.

Сходил до обильно наломанных ветвей, выбрал самые длинные, связал из них уродливый, в половину человеческого роста веник.

— А? — смеялся Афанасьев, пытаясь на него присесть и так разбежаться.

— У нас веревки кончились, — подсмеиваясь, сказал Артем. — Вязать веники нечем. Урок не сделаем, хлеба дадут триста граммов, а у меня и так кончился.

— А я знаю чем, — тут же сообразил Афанасьев. — Я тут брошенную колючку видел.

— Думаешь, надо? — спросил Артем, умиляясь новым рыжим товарищем.

— А чё, не надо? — отвечал Афанасьев. — Сказали: надо веники — вот будут им крепкие революционные веники.

Он сходил за колючей проволокой и вернулся с длинным хвостом, натужно волоча его за собой. Наломав колючки и заливаясь от смеха, изготовил «веничек соловецкий», связав пышные березовые ветви колючкой.

Артем тоже заготовил свой такой же.

— «...Окровавленный веник зари!..» — продекламировал Афанасьев, размахивая новым изделием. — Знаешь такой стих? И всыпает им в толстые задницы Окровавленный веник зари! Серега как в воду глядел!

— Нет, не знаю такой стих, — признался Артем, не очень-то поверив Афанасьеву: наверняка сам сочинил.

Подвязав ветви колючкой, а одну длинную, когтистую проволочную жилу ловко спрятав посреди душистых ветвей, Афанасьев изготовил «веничек секирский».

— Ай, как продерет! — кричал Афанасьев. — До печенок! — Он попробовал на себе и пришел в еще больший восторг.

Артем не отставал.

Закопав готовые соловецкие и секирские веники поглубже среди остальных, обычных, Афанасьев с Артемом продолжили свое занятие.

«Веничек чекистский» шел уже с двумя жилами колючки.

Веник с тремя рогатыми жилами наломанной колючей проволоки назвали «Памяти безвременно ушедшего товарища Дзержинского».

— Представь! — заливался Афанасьев, мотая рыжей головой и ловя себя за чуб кулаком; смех его тоже был какой-то рыжий, веснушчатый, рассыпчатый. — Тема, ты только представь! Пришла чекистская морда в баню! «Ну-ка, — говорит, — банщик, наподдавай мне!» Наподдавал банщик так, что все в дыму, ничего не разглядеть! «Ну-ка, — кричит из клубов пара чекист, — пропарь-ка меня в два веничка!» И как пошел банщик его охаживать, как пошел!.. Чекист вопит! Банщик старается! Чекист вопит! Вроде пытается перевернуться! Банщик еще пуще! Еще злее! Еще чаще! Еще поддал! Еще пропарил!.. Чекист уж смолк давно! Банщик постарался-постарался и тоже понемногу успокоился... И вот дым рассеялся, стоит банщик и видит: вокруг кровища... клочья мяса!.. вместо чекиста — кровавая капуста!.. где глаз, где щека!.. где спина, где жопа!.. как в мясной лавке!.. и в руках у банщика вместо веника — два шампура с нанизанными лохмотьями мяса!.. И тут входит другой чекист. Ты представь, Тема, эту картину! Входит! Другой! Чекист! На все это смотрит огромными детскими глазами! Картина «Банщик и чекист», б...! «Не ждали»! Передвижники рыдали, б..!

Артем так хохотал, что закружилась голова: кулак засовывал в рот и кусал себя, чтоб не ошалеть от смеха.

Веник «Суровая чекистская жопа» готовили долго, совместно. Он был огромен и толст — ухватить его можно было только обеими руками, да и поднять непросто. Проволочных жил там было с десяток. По большому счету, таким воистину можно было изуродовать, главное — размахнуться как следует.

Две хилые березовые веточки, сплетенные с одной жилой колючки, назвали «Терновый венчик каэровский».

Так было весело, что едва не проглядели десятника.

Пока тот донес к ним свою сизую харю, успели немного прикопать свои творения.

— Все готово, начальник! — отрапортовал Афанасьев, сдерживая смех с таким невыносимым усилием, что, казалось, сейчас его разорвет всего целиком.

— Тут вроде больше, — сказал десятник, помолчав.

— Гораздо больше! Ударными темпами в порядке боевого задания! — отчитался Афанасьев необычайно звонко.

Артем смотрел в сторону, по лицу его текли самые счастливые за последние месяцы слезы.

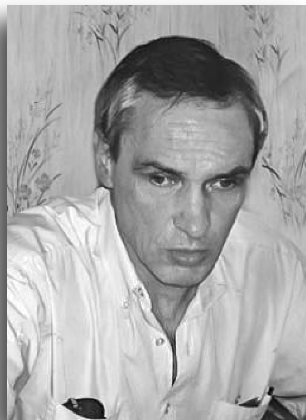
— Возьмите себе попариться! — предложил Афанасьев так громко, словно десятник стоял на другом берегу реки.

— Чего ты орешь? — спросил десятник.

Афанасьев потупился и больно закусил себе губу. Веснушки на его лице стали такие яркие, словно их поджарили.

Десятник немного повозился и выбрал три веника, обнюхивая каждый с таким видом, словно пред ним были его портянки: забота о себе и нежность к себе были тут ровно смешаны с чуть приметной брезгливостью...





ЛЕВ КОТЮКОВ

Я спас свою душу...

Тайная вечеря

...И во время вечери, когда диавол
уже вложил в сердце Иуде
Симонову Искариоту предать Его,
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его
и что он от Бога исшел и к Богу отходит,
встал с вечери, снял с Себя верхнюю одежду и,
взяв полотенце, препоясался.
Потом влил воды в умывальницу
и начал умывать ноги ученикам
и отирать полотенцем, которым был препоясан.

Евангелие от Иоанна

Все сошлись навсегда в тесной горнице,
И себя до конца обрели...
И преданье Святое исполнилось
На окраине вечной Земли.

И пред страшной, назначенной росстанью
Божий Сын наши души простил.
И омыл ноги первых апостолов,
И предателю ноги омыл.

И молчали пределы Небесные,
И таилась Луна в облаках...
Но Земля содрогнулась пред бездною,
И вскипела вода в родниках.

Никого, никого в темной горнице,
Все себя до конца обрели...
Все свершилось, но все не исполнилось, —
И доносится хрип из петли...

Не ко времени

...О, как же я был несвободен!
Как гений, поверивший в зло...
Но годы былые сегодня
Во сне вспоминаю светло.

И вроде остался со всеми,
И вроде не всех позабыл...
Но умерло место и время,
Где я не ко времени был.

Порой наяву вспоминаю
Себя на ином берегу,
И что-то еще понимаю,
И что-то понять не могу.

Но вроде бы жизнь не пропала,
И в Лету летят якоря,
И время меня отторгало —
Уверен, — в те годы не зря.

Я спас свою душу в безвестье —
Пред бездною небытия.
Но умерло время и место,
Где был не ко времени я.

В глуши одиноких растений
Ловлю, словно тень, красоту,
И годы летят, словно тени,
И хлеб, словно пепел, во рту...

Старость

Вновь больная усталость,
Будто в лоб кирпичом...
Но угрюмую старость
Оттираю плечом.

Над бездонным оврагом,
На обвальном краю,
Оттираю с напрягом
Злую старость свою.

А до гибели малость —
Ну, один только шаг!
И вот-вот моя старость
Рухнет в черный овраг.

И с угрюмой ухмылкой,
На обвальном краю,
Я хватаю за шкирку
Суку-старость свою.

И со мной моя старость!
И, под стать молодым,
Мы стоим, обнимаясь,
Над провалом земным.

И пока мы живые —
Мы близки, как никто.
И стоим, как родные,
Над провалом в ничто.

После войны небесной

...Горе живущим на земле и на море!
Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что немного ему остается времени.

Откровение Иоанна Богослова

Наступает пора отмщения, —
Всяк себя проклянет, прозрев...
Ни прощения, ни спасения, —
Только ярость и Божий гнев.

И ни убыли, и ни прибыли
На последней дороге в ад,
И во времени царь погибели
Покорит стоэтажный град.

И воздастся всем полной мерою,
В звездных топках сгинут миры,
И вовек не открыть Америку —
В тусклой бездне черной дыры...

На закате Европы

Холода. Города иностранные.
Поезда. Разговоры пространные.
Европейские бледные дни.
Ни безумного, розного прошлого,
Ни закатного зарева грозного, —
В небесах неземные огни.

Эти дни вспоминать нынче некому —
За лесами, холмами, за реками...
Я и сам забываю себя...
И все еду дорогой отвратною
В край, где солнце встает незакатное,
Где никто никому — не судья...

Где не знает никто чужеродное,
Где в любви моя воля свободная,
Где из тьмы не рождается тьма.
Где никто о Европе не ведает,
Где царит Божье Солнце победное,
Где от смерти не сходят с ума!..

Памяти мечтателя

Все мечтал об избенке уютной,
Все мечтал о цветах под окном...
Но убит был бабенкой распутной,
И давно уже в мире ином.

Кто ты нынче, поэт и бродяга?!
И шепчу, как в несбыточном сне:
«Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне...»

Поэту

Дай руку, мой собрат!
И бездне не внимай...
Легка дорога в ад,
Трудна дорога в рай.

Пусть злобой дышит новь,
Пусть бьются зеркала,
Пусть бесится любовь,
Исполненная зла.

Пусть все предрешено
От века на Земле,
Но Богом не дано
Любовью жить во зле.

Мы по дороге в ад
Идем дорогой в рай...
Дай руку, мой собрат!
И бездне не внимай...





ЮРИЙ БОНДАРЕВ

Мгновения

В пространстве тысячелетия

Наверное, тысячу лет назад мы, трое выздоравливающих, в распахнутых халатах, сидели на крыльце госпиталя и наслаждались солнечным раем. Старый госпитальный парк, разрисованный тенями в полуденный час, был тих, безмятежен, покоен, его дорожки и тропки безлюдны. В высоте шевелились, нежно общаясь между собой, верхушки берез, и в синем обилии света мне, девятнадцатилетнему артиллерийскому лейтенанту, казалось, что молодая листва наслаждалась, как и мы, весенним воздухом, там в листве шла счастливая птичья игра.

Связист Михеев, не торопя удовольствие, сладко посасывал длиннейшую самокрутку, не без добродушного интереса поглядывал на пулеметчика Сомова, который сидел на припеке деревянных перил и, прищуриваясь, виртуозно вонзал в перила немецкий стопорный нож, при этом говорил с веселой откровенностью:

— В общем-то отчаянные у нас бабешки, я уж их знаю, братцы мои! Мужики на фронте, а они вроде бесятся с чертом под ручку!

И он выдернул финку, по-хозяйски потрогал пальцем лезвие и снова вонзил.

— Мда-а... А вот вчерась после спикировал я к одной. Здесь, в нашей столовке работает и живет неподалеку. Как звать — мое дело, вам не надо. Ну, по договоренности прихожу ночью, я в халате по всей госпитальной форме. Она разом молочка мне на стол и эти... как они называются, беляши, кажись. Раскраснелась, красивущая, все при ней. «Ешьте, Петенька, вам поправляться надо». Сел, смотрю — в кроватке девочка спит, беленькая, курносенькая, лет четырех. Замужем, спрашиваю, она молчит. Глаза опустила. А грудь высокая, так ходуном и ходит. А мне все ясно. Как же, говорю, изменяешь, значится, мужу? Жив он? На войне? Ну, переночевал я, а утром спрашиваю: муж любил тебя? А она как заревет, упала на кровать, слезы ручьем, плечи трясутся. Нашкодила, видать, не только со мной. Вот они, тыловые бабешки. Нашкодила!

Я смотрел на его дерзкую крепкую шею и думал, что этот Сомов, должно быть, неплохо воевал, на передовой можно было на него положиться, но его высказанное презрение к тыловым бабешкам неприятно задело меня.

Светловолосый, раненный в ноги связист Михеев, на костылях, морща круглые брови, смущенно кашлянул:

— О женщинах, похоже, в сердцах рассуждаешь, а сам к ним, как голодная муха, липнешь. Как-то ты неудобно рассуждаешь.

А Сомов, вырезая свою фамилию на периле крыльца, усмехнулся и сказал:

— Соображать надо! Не я к ним, а они ко мне. Я сразу говорю без стеснения: холостой я, как пень в болоте, а жениться ни за что, потому что не встретил такую, чтоб головой в омут, а другие — те, да не те малость! Я, Матвеев,

к ним, как жеребец, не лезу. Я нежно с ними, а они, ведьмочки, ласку-то на километр чуют! Скажу тебе, тут я ко второй уже прилабунился, чего ж не лабуниться, ежели тебя привечают. А чего мне? — продолжал Сомов, посмеиваясь. — Война, Михеев, причина тому, что женщинки стыд потеряли, моргни — она и бежит со всех ног! Война, мол, все спишет. Вшистко едно война, панове! Хорошо, брат, что до войны не женился, доверия к ним ноль, один пшик! Знаю я их. Они, брат, тебя любовям научат! А ты женат, Михеев?

— Дурак ты, извини, — пробормотал Михеев. — Да я за свою жену жизнь не пожалею! Понял, нет?

Сомов засмеялся.

— Сдаюсь! Ох ты, девица красная из деревни Иванушки-Степанушки. Знаем, брат, кто в тихом омуте!.. Не поимей обиду. Вот вернешься к жинке и прямо на пороге вались с молитвой на колени — твой, мол, был до гроба! Проверь! А она как проверит-то? Ха-ха!

И нацелив трофейный нож на дымящиеся парком перила, заговорил серьезно:

— Я, брат, не против законного брака! Свой очаг, детишки! Да ежели такая встретится, упаду к ее ногам, заплачу и скажу: всю жисть, всю жизнь тебя искал! — Он задумался, помолчал. — Да-а, ходит здесь одна женщинка-врач... Из хирургической палаты. Такая вся красивая, строгая, в глаза заглянешь — сердце останавливается. Три раза клинья подбивал, всякие книжные и польские слова говорил и так далее... Смеется, как серебро сыпет: «Сомов, вы до войны артистом работали или в клубной самодеятельности?» А я не верю что она целехонькая. С офицерами ранеными, небось, шашни крутит. Госпиталь — мужчины и женщины рядом, чего там? Все мы слеплены из одного теста.

— Ты про Нину Николаевну, что ли, говоришь? — неприязненно спросил Михеев. — Эх, и нахальный ты! Разве она тебе пара? Ты ведь четыре стула в комнате расставить не можешь, необразовщина ты!

Сомов самолюбиво сузил глаза.

— Что ж, она, не сомлеваюсь, образованная, да я тоже свет посмотрел, лапоть ты, Михеев! И в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии побывали. И иностранным словам туда-сюда научились, не так себе, кое-что знаю, что к чему. Чую — еще айн момент и не устоит она, а момента нет. Ты, Михеев, в этом ни хрена не петришь. Ты всю жизнь одну и ту же женщину до полусознания мусолишь и будешь мусолить, младенец ты, молокосос несчастный!

— Ты что это? За что меня? — крикнул растерянно Михеев.

Я был самым молоденьким из госпитальных офицеров, хотя командовал артиллерийским взводом, повидав кое-что на войне, и воспитанный матерью после смерти отца, готовый в школьные годы по-мальчишески отрешенно защищать ее и младшую сестру, не утратил сыновье чувство вдали от дома.

— Ты зачем так смотришь, лейтенант? У тебя такое лицо, вроде ударить меня собрался! — губы Сомова сжались, и он соскочил с перил. — Рана никак открылась или... ты чего обозлился?

— Сядь! И молчи... — сказал я и слегка толкнул его в плечо.

Сомов упал в кресло, изумленно повторяя:

— Зуб на меня имеешь, лейтенант?

— Если скажешь хоть еще одно дурацкое слово о женщинах... — заговорил я, чувствуя, что говорю как будто не я. — Лучше молчи!

— И о моей жене молчи! — крикнул Михеев и стукнул костылями в пол.

— Вшистко една война, — заговорил я насмешливо. — Неужели только этому научился на фронте, Сомов? Если нет, значит, ты чужим горем пользуешься? — Что это я — учу его? Он старше меня!

— Да вы чего окрысились? — яростно вскричал Сомов. — Чего на меня напали, лейтенант? Какого хрена пристали? Я что — фриц какой-нибудь?

— Шелудивый ты маленько насчет этого... — вздохнул с горечью Михеев. — Кому война, а кому мать родна.

— Подождите, Михеев, — прервал я его. — Я знаю, Сомов, что у вас есть мать, — сказал я, ненавидя себя за намерение нравоучительности, и не договорил.

— А какое мать имеет отношение?

— Не верю!

Сомов делано рассмеялся, но прищуренные зеленые глаза оставались зло напряженными.

— Ей-богу, небесные ангелочки! Крылышек беленьких не хватает! Летали бы! А пошли вы ко всем святым... и подальше! Ясно куда? Люблю баб — и на том свете ответ я держать буду, а не вы! Не ваше собачье дело, а мое личное! Ясно вам, хреновые умники?

Он резко выдернул нож из перил, завернул в тряпку, сунул в карман халата. И с неприступным, затвердевшим лицом соскочил прыжком со ступеней крыльца в госпитальный парк, где по песчаной дорожке в сторону хирургического отделения шли, чему-то смеясь, две медсестры в невинно-ослепительных белых халатах. Сомов оглянулся на нас и двинулся навстречу им, тоже смеясь...

Да, это было тысячу лет назад, и в необъятном пространстве тысячелетия я вспомнил секунду моего бытия, и госпитальное крыльцо, и майский день, и пулеметчика Сомова, и связиста Михеева, которых никогда больше не встречал, и увидел себя со своей наивной чистотой и вместе честолюбивым бесстрашием молоденького лейтенанта-артиллериста, выбивавшего немецкие танки в Сталинграде и на Курской дуге.

Незабываемое

Не могу понять, почему через «тысячу лет» (в 2013 году) захотел увидеть эту ночь и этот рассвет, когда началась Великая война, длившаяся долгих четыре года.

Я смотрел на рассветное небо, а оно зеленело, нежно розовело за деревьями, пустынно-ясное, обещающее молодость, любовь, безмятежную жизнь. Ветви берез отчетливо вырисовывались среди светлеющего востока, проступая листвой в застывшей неподвижности. Не было ни звезд, ни месяца. Как в околдованной воде стояла ночь на хрупком переломе, еще длился час нерушимости всего земного.

И в этот час непорочного рассвета началось то, что стоило нам многих жизней, и то, что закончилось триумфальным разгромом Германии.

Мы закончили войну в славе, силе, уверенности. В боях мы не растеряли романтизм, надежду и веру.

В судьбоносный, бесповоротный момент страны большинство людей должно задуматься, что жизнь дана для жизни, услышать гул соб-

ственной крови от праведного гнева, от радостной надежды и осознать, что в нашей жизни самая укрепленная крепость — справедливость, последняя крепость, где вдруг возгорается сопротивление — корыстной силе и тупому насилию. Эта крепость — дух народа, его гены, золотые зерна мысли, его опора, воля к сопротивлению. Малодушие, безволие есть смерть, конец нашей истории, непроглядная тьма.

Я верю в тысячелетнюю неугасимую звезду России.

Зависть, страх, мудрость

Состояние зависти нельзя определить однозначно, но так или иначе оно возникает из болезненного осознания превосходства чужого ума и таланта или же заметной манеры поведения: уверенной мужественности, спокойствия, ласковой снисходительности к слабому полу, достойного великодушия сильного человека.

Чрезвычайное распространение зависти приближено к чувству страха перед самим собой, проявляясь собственной неполноценностью, самоуничижительно превращая ее в недостижимость перед чужим превосходством. Однако порой это чужое превосходство воспламеняет такую энергию самолюбия, соперничества, враждебного тщеславия, что он, завистник, весь напрягаясь, задыхаясь от злых усилий, изредка в чем-то, пожалуй, нагоняет предмет своей неизлечимой зависти.

Можно ли представить истинный талант современной словесности или кисти, который испытывает непосильную ревниво-завистливую муку к гению Толстого, Шолохова, Сурикова, Репина? Нет, здесь иное духовное состояние — соприкосновение с наивысшей шкалой мирового искусства, художества и с неиссякаемой мудростью.

Убежденность

Российская интеллигенция от века утверждала, что свобода и культура жизнеспособны и неразделимы, — но это не либеральная форма придуманной морали в расшитом декадентском камзоле и не та власть своеволия слова, которая отдает человека в нечистые руки антиморали, делающая человека несвободным. А та власть, которая требует исполнения естественного долга каждого перед всеми и всеми перед каждым. Это и есть вся суть долга перед жизнью — наивысшая целесообразность в устройстве общества.

Свобода немыслима без осознания этических обязательств. Нельзя быть освобожденным и от ближнего своего, и от природы. Свобода вместе с культурой не инстинкт, не страсть, не ощущение «субъективного образца объективного мира», а разумная убежденность в общности природы и людей, способная обновить и объединить мир.

Заданная цель

Уродливые позы в телевидении и прессе не всегда проявляют у людей разумных желание полемизировать с так называемыми правдолюбцами, избравшими манеру всепозволительного, точнее — непристойно-

го стиля. Тем более что охраняющие истину доказательства, несдержанная ответная брань или же спокойные аргументы могут глупцам всех мастей и тупицам, коим несть числа, показаться слабостью, оправданием, даже виной, а это унижает истинность реальности и удлиняет срок клеветы, которой предназначено умереть своей смертью.

Какими бы виртуозными ни были выпады и выходки, какой бы изощренно-иезуитской ни была озлобленность в намерении как можно больнее ударить незаурядного политика, общественного деятеля, грош цена всем этим попыткам, ибо не такому уж темному нашему народу в конце концов становится ясно, что в ненависти мельтешит пакостная физиономия лжеца, бесстыдно извращающего истину, торгующего моралью, совестью и правдой. Давно уже нет сомнения, что заданная цель купленной, перекупленной и заложенной серо-желтоватой прессы и аморального «голубого экрана» — это подвергнуть идиотизации в нашем великом прошлом, в первую очередь, духовные и народные ценности, то есть вырвать героические страницы из человеческой летописи, приговаривая, что у славян не было и нет своей истории. После этого на безжизненном пустыре, обработанном «пятой колонной» и американскими бульдозерами, вырастить бумажные розы завезенного колониального образца и придумать не третий, а четвертый слаборазвитый мир с людьми, на шее которых будут висеть колокольчики, как у прокаженных в средние века.

Истина

Истину ищут сознательно и подсознательно, но почасту не находят ее до конца жизни.

Может быть, действительно, ее поиск — это выбор между Богом и Сатаной?

Или между правдой и ложью?

Или между добром и злом?

Или между ненавистью и любовью?

Или между великодушием и жестокостью?

Или между страхом и мужеством?

Или между нежностью к женщине и холодным влечением?

Или между плюсом и минусом, ибо то и другое может испортить судьбоносную формулу в науке?

Потом невольно возникают следующие вопросы, ждущие ответа.

Если добродетель и зло держатся на одном основании, то неужели — уничтожив одно, уничтожается и другое?

Это такое ожидание и надежда, сопутствующие человеку всю жизнь?

Где истина — в сердце, в душе, в сознании, в жизненном опыте, в страданиях, в радости? Где?

Великая истина в подоблачном звуке музыки до тех пор, пока оно, это чудо, не испорчено лживостью земных слов не только нечестивцев, но и праведников. Музыка — поднебесное очищение души.

Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло». Но современному человеку хочется возразить мудрецу: зло, наверное, есть качество, а не мысль, а мысль — данный нам инструмент познания сущего. Мысль суть и зло, и благо, утверждение и отрицание, то есть путь к истине. Древние говорили, что прочность истины проверяется согласием с

учением Аристотеля. Но, пожалуй, она открывается одному мудрецу в многообразии жизни. Значит — не единична. Поиск истины — это не что иное, как поиск справедливости самой жизни как существования на земле.

Вера же — чувственное отношение к истине.

Золотые зерна

Настало время не произносить речи в сенате, как произносили во времена Цицерона и Крипса, а действовать, ибо слово, конечно, — движение и действие.

Мы оказались в тяжелом положении, потому что разрушаем триаду — государственность, народность, веру. И возник определенный фон, я бы сказал, социально-нравственного напряжения, которое напоминает натянутую струну.

Пусть простят меня воинственно-либеральные представители нашей печати и средств массовой информации, если по их адресу я скажу горчайшие слова. Понятия «демократия», «свобода» и «гласность» сначала восприняты были с повышенной надеждой. Затем подъем этот начал вызывать чувство неловкости. Если говорить о длительной разрушительной тенденции, то нетерпеливо ожидаемая гласность раскололась на левую и правую, почасту стала ложью, которая ныне больше похожа на правду, чем сама правда. Наша ультра-пресса разваливает фундамент социалистической цивилизации, а дом, как известно, в воздухе не построишь. Наш фундамент — это омытая потом и кровью история России, ее героические истоки, духовность, культура, экономика и труд четырех поколений. Нам было заказано судьбой укрепляться на том, что уже сделано, и вместе «поспешая, не торопясь», мужественно и упорно совершенствоваться и двигаться своим путем.

В этом движении воля к сопротивлению, дух народа, его гены — золотые зерна будущего России.

Болезнь

Он ощущал обморочную слабость в ногах, но мог уже передвигаться, а когда дошел из ванной к постели, обильная испарина облила его, задрожали колени. Впервые за двадцать дней болезни он почувствовал, что тело стало невесомым, а постель отвратительно пуховой.

«Все к тому... — подумал он, ложась и закрывая глаза. — Как это у Толстого? Да, вот... вспоминаю, вспоминаю... распахнулась дверь, и вошло Оно. Неужели это бред? Дверь не распахивалась, и Оно не входило... В комнате везде темнота, сплошная темнота, и я не вижу Ее... Но кажется: Оно сидит у моего изголовья. Я почему-то не чувствую ни одного ее движения, и все же мне чудится, что Оно неосязаемо гладит меня по голове... Не прикасаясь, гладит ветерком ледяного дыхания, и я слышу в белом тумане ее бесплотный голос: «Боль пройдет, и наступит блаженная пустота, где нет боли и нет мыслей, и поверь, ты уйдешь в наслаждение, без надежд и несвершившихся желаний, это они лукавят и приносят страдания. Поэтому поверь мне: желаний нет... выше небесного наслаждения ничего, поверь, нет».

«Не надо! — застонал он, не слыша своего стона. — Не надо мне блаженной пустоты! Я хочу жить!»

Но появилась мысль, враждебно поглощающая его целиком:

«Помни, что нет ничего неподвластного времени, помни, что проходит земной цикл, и впереди железобетонная непроницаемая стена загораживает все любимое тобою, а там, за стеной, бездонный обрыв, дышащий тьмой, без самоощущения себя...»

Потом он уловил другую мысль, которая скользнула лучезарно-голубым лучиком. Зачем же его сознание вмещало недосягаемые звездные миры, неизмеримые пространства вселенской темноты и в ее бескрайности появление закономерной случайности — появление на свет его, в некое число некоего тысячелетия, где неуклонной судьбой уже предназначен был роковой срок ухода. Какая же это несправедливость! Неужели осознанность неминуемого рока не придает множеству его никчемных поступков бесславную тщетность? И все рядом с ним, примитивно подражая муравьям, да, именно муравьям, не прекращают никчемной деятельности, озабоченные воображаемой ее необходимостью. И они, существуя в ежедневной суете сует, до конечного часа убеждены в ценности личного существования, в снисходительности судьбы и не верят в неизбежность ухода, зная, что все, абсолютно все, имеет заданные начала и предназначенные концы, ибо и звезды гаснут...

«Нет, нет, я хочу жить... хочу только жить... Ведь надо заставлять себя жить. Кто это сказал? Разве кто-то произнес эти мудрые слова?..»

И когда в его сознании всплыли эти мысли, в ту минуту сопротивляясь и вместе подчиняясь новой земной жадности вдохнуть воздух, он тогда еще не понял, что всемогущая судьба сжалилась над ним и началось его медленное выздоровление.

В новогоднюю ночь

Он взял ее руку, осторожно отогнул край перчатки и, едва касаясь губами, поцеловал в запястье.

— Я вас люблю, — сказал он виновато.

— Вы? Любите меня? И давно?

— Целую вечность. Я вижу — вы смеетесь? А мне не до смеха. У вас так заблестели глаза, что мне стало не по себе.

— Ну что вы! Просто невероятно! Вот мы с вами едем в автобусе с прекрасного университетского вечера по домам, а у вас в голове некое кавалерское несоответствие. Поэтому простите за ненаучно-фантастический вопрос. За что же вы меня любите?

— Хотите посмеяться надо мной? С какой стати? Над этим не смеются.

— Я историк, серьезная дама, и мне, уважаемый физик, не полагается особенно веселиться. Вы просто ошеломили меня. Тем более, вам, наверное, известно, что я замужем.

— У меня нет права оскорблять вашего мужа! Я сказал, что люблю вас, и это услышали только вы. Я не чувствую вины и могу повторить фразу, которая вас ошеломила. Разве вам ни разу не объяснялись в любви?

— Можете повторить, если вам так решительно хочется.

— Я люблю вас, Нина Викторовна.

— Спасибо. Ну вот теперь все сказано, и давайте помолчим.

Она отвернулась к окну, он сбоку увидел ее чуть-чуть дрожащие от улыбки ресницы, ее пленительную, раньше не замечаемую им серьгу, полуприкрытую каштановыми волосами, и ему нестерпимо захотелось взять ее руку, отодвинуть край кожаной перчатки и опять осторожно поцеловать в запястье.

Он несмело погладил и сжал ей пальцы. Она вопросительно взглянула на его покорное, какое-то беззащитное лицо и неожиданно сказала с веселой дерзостью:

— Знаете что, на вечере мы выпили с вами по рюмке, но в голову мне пришла сейчас чертовски бредовая мысль. Поедем куда-нибудь, хоть на Воробьевы горы, сверху зиму московскую посмотрим! Новогоднюю! Как вы? За или против?

— Не спрашивайте, — ответил он обрадованно. — Неужели вы могли подумать, что я отвечу «против»?

— Значит, сходим на первой остановке и ищем такси. Прокатимся по Москве и — на Воробьевы...

— С удовольствием.

Они сошли на первой остановке, заснеженной, безлюдной, и засмеялись от окружившей их свободы зимней ночи, от ее пустынной в этот час улицы, от розовости озаренных огнями сугробов, от праздничного скрипа снега под их ногами.

— Так гораздо лучше, — сказала она и придвинулась к нему не смущаясь. — Почему вы смотрите на меня, как на исторический экспонат? В автобусе вы были одним, сейчас как будто другой. Почему вы молчите? Я вас не узнаю.

— И я вас. Вы замечательная...

— Если так на самом деле, то поцелуйте меня, — сказала она не то насмешливо, не то с вызовом и сделала шаг, легонько притянула его к себе.

И он подумал, что она серьезная умная женщина, но ведет легкомысленную игру с ним, наклонился к ее близкому лицу и губами коснулся ее виска.

— Ну вот, ей-богу... Поцеловал меня, как девочку!

Она поощрительно похлопала рукой в перчатке его по щеке и шутливо приказала:

— Извольте-ка поцеловать меня как мужчина. Вы это умеете?

Он понимал, что она, чувствуя его неловкость в традиционно мужском ухаживании, по-женски, с опытной кокетливостью командовала им, и эта смелость обрадовала его. Он неуклюже обнял ее, но тут же опомнившись, с порывистой нежностью приник к ее губам, мягко шевельнувшимся под его губами.

— Любая машина — наша! — отрываясь от нее, по-мальчишески крикнул он и выбежал на середину мостовой, взволнованно вглядываясь в обе стороны с надеждой, что ему повезет: добрый его покровитель помогал ему в эту ночь.

Это место Москвы, заваленный снегом бульвар по ту сторону дороги, отдаленный от шумных нескончаемых толп машин на шоссе, были заповедником января с его новогодними сугробами, залитыми светом фонарей и уличных окон, горевших огнями елок на этажах напротив бульвара, и мнилось: где-то не так далеко плавала между небом и снегами греховная музыка, вызывая легкомысленное настроение у обоих.

Они остановили первую попавшуюся машину, оживленно сказали водителю «Воробьевка», а когда сошли на этой самой Воробьевке, начали искать удобную дорогу для осмотра города с высоты. Такую дорогу они не нашли — даже боковые тропинки были наглухо заметены метелями, но это ни ей, ни ему не испортило настроение.

— Вот что, — сказала она, оглядывая черноту неба с острыми угольками звезд. — Небеса нам не помогают. Будем надеяться на себя. И на меня. Вы не против, мужчина?

— Слухамся, как говорят поляки. — Он с послушным видом приложил два пальца к виску.

— Сейчас снова ловим машину и, если не возражаете, едем ко мне на чашку кофе. Я живу одна. Я — почти разведенка. Знаете, что это такое?

— Догадываюсь. Но кажется, вы сказали, что замужем.

— Почти. Я живу в Москве, а муж далеко за океаном. В Сиэтле. Он, представьте, консул. Встречаемся раз в году. Сиэтл — город в Америке, на берегу океана.

И он подумал, что они преподают в одном университете, встречаются в деканате, на ученых советах, на конференциях, всякий раз дружески улыбаются друг другу, и это было обыденно и необъяснимо тепло, когда глядел на ее темнеющие ресницы, на ее глаза, задорно молодеющие от смеха. Ему нравилось, как она смешливо подымала брови, как приветливо поворачивала голову, когда он обращался к ней. Она, по-видимому, нравилась не только ему, в перерывах между лекциями ее окружали студенты, и ему тоже захотелось побывать хоть бы на одной из ее лекций по новой истории, но он пока не решался.

«Мне повезло», — опять подумал он, садясь с ней в машину, и, довольный собой, сказал, что теперь должна командовать она, указывая путь до своего дома.

Когда в лифте с высоким зеркалом, какие бывают в многоэтажных московских домах, поднялись на восьмой этаж и вышли на лестничную площадку в окружение солидно обитых кожей дверей, он тщетно попытался заранее угадать дверь ее квартиры.

Было ему странно и любопытно: из раскрытой квартиры, задрав хвост, придавливаясь к косяку, тонко, по-детски мяукая, высунулся в переднюю белый котенок. И она вскрикнула радостно, подхватывая его на руки, прижимая к щеке.

— Ах ты, басурман мой милый! Соскучился? Голодный? Потерпи малость. — И посадив котенка на диванчик в передней, договорила: — Мой любимец, мой друг. А теперь раздевайтесь, дорогой гость, проходите в хоромы, где проживает, смех, смех, смех, одинокая разведенка!

— Почему смех? — удивился он. — Вы довольны одиночеством?

— Привыкла. Стараюсь не думать об этом. Ведь я не могу переменить профессию мужа. Да и он привык месяцами не видеть меня. А телефонные разговоры — это игрушки, светская забава. Садитесь, уважаемый физик, на этот диван к столику. А я посмотрю в баре что-нибудь для вас интересное. Новогоднее. Хотите виски?

— Вероятно, нет.

— Джин?

— Тоже нет.

— А коньяк армянский?

— Это географически поближе. Рюмку выпью. Боже праведный, да у вас целая библиотека, Нина Викторовна! — воскликнул он, с интересом оглядывая заставленные книгами полки в просторной комнате с незадернутыми шторами на широких окнах, за которыми сверкали и пылали новогодние огни. — И вы все прочитали? — Он жестом выразил восхищение. — Или вместе с мужем? Наверное, читали по вечерам вслух?

— Вот здесь все по истории, учебники, исследования, мемуары, воспоминания, — сказала она нарочито учительским тоном. — Это мое. И вслух я не читаю. А тут — сплошь художественная литература. Это тоже мое царство, тут ближайшие друзья. Особенно, когда остаюсь одна. Да, я ищу дружбы с Толстым, с Буниным, с Чеховым... Но не такой дружбы, как с вами... — Она смело взяла его за плечи и посмотрела ему в глаза. Не выдержав ее взгляда, он сморгнул. — Такой дружбы, как с вами, — повторила она и вдруг с улыбкой поправилась: — Хотя вы и сказали, что любите меня... Но какой дружбы я ищу с вами, я еще не понимаю, не знаю...

— Не знайте и не понимайте, — прервал он ее тоже комично. — Не торопитесь.

Он бережно снял ее руки с плеч и поцеловал ей пальцы. Она достала из бара коньяк, две рюмки, вазочку с орешками и пригласила к столику:

— Давайте выпьем коньяку и будем рассказывать смешные истории. Но первая рюмка — за Новый год. Мужчина, разливайте. И будьте главой стола.

Он, несколько конфузясь неопытностью быть главой стола, преувеличенно старательно разлил по рюмкам, они чокнулись и взглянули друг на друга с одной и той же мыслью.

— С Новым годом, Нина Викторовна... правда, вчера прошедшим, — произнес он, запнувшись. — Если вы не против, позвольте вас поцеловать в щечку?

— Пожалуйста, не забывайте, что шестнадцать лет мне давно миновало.

И она легонько махнула пальцем по щеке, будто сбрасывая возможный невинный поцелуй, и покорно подалась к нему, приблизив полуоткрытые губы. Этот поцелуй показался ему слишком откровенным, как сладостный внутренний ожог, заставивший его прерывисто вздохнуть, а она отклонилась, сдерживая смех.

— Что с вами, вы были женаты или вы природный холостяк?

— Мы разошлись через двадцать дней после загса. Пожалуй, холостяк.

Они помолчали и выпили коньяк молча. В тишине резко зазвонил телефон, она вздрогнувшими глазами глянула на стенные часы, словно встревоженно проверяя точность звонка, неспешно поднялась и своей гибкой молодой походкой подошла к телефону на письменном столе, помедлила, повернулась к нему спиной и сняла трубку.

Вспоминая эти последние минуты в квартире Нины Викторовны, он ясно помнил, как она стояла у телефона спиной к нему, видел ее наклоненную голову, убранные в пучок каштановые волосы на затылке, ее серьги, не вполне принятые носить в университет, и по тому, как она страстно произносила: «Да, я одна, я одна!» — он уже не сомневался, что она говорит со своим мужем, и ничего, кроме ее голоса, не воспри-

нимал, сознавая единственное — это говорит она, Нина Викторовна, нисколько не стесняясь его присутствия в комнате.

— Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя! Не выдумывай, ради бога, глупости! Я одна, я одна, я одна! И безумно скучаю по тебе! Я не позвонила, виновата! Молчи, молчи! Я люблю тебя, ненаглядный мой!..

Его уколола невнятная боль в груди, и, обеими руками опираясь на столик, он оттолкнулся от дивана и почему-то на цыпочках двинулся по толстому ковру в переднюю, убеждая себя уйти, немедленно, сию минуту, не медля ни минуты, вон!..

Она увидела его движение, сдавленно прошептала в трубку: «Я перезвоню», — и бросила трубку, кинулась к нему, как если бы осознала внезапное несчастье.

— Подождите! Стойте! — крикнула она в ненаигранном ужасе. — Подождите, я объясню вам!

— Не стоит, — сказал он еле слышно.

Неловко справляясь с дубленкой, путаясь в рукавах, он, наконец, с облегчением надел ее и, охваченный знобящим сквозняком, заговорил неуравновешенным голосом:

— Вы чрезвычайно смелая и... непростая женщина, а я, я совсем другой. Не донжуан и не мушкетер. Обыкновенный преподаватель, да еще физики... Вы очень мне нравитесь. Только без лжи. И все же я благодарю вас. До встречи в университете. Надеюсь остаться вашим хорошим знакомым, если разрешите.

— Что же нам делать, Господи, спаси и помоги!.. — застонала она, молитвенно сложив ладони и простирая их к потолку. Но тотчас красивое лицо ее исказилось, стало незнакомым, обостренным, злым, она боком рванулась к двери, с отчаянной мстительностью распахнула ее и выкрикнула, захлебываясь в непонятном ему гневе:

— Уходите! Сейчас же уходите! Ненавижу себя и вас! Прочь! Я не могу!..

— Прошу вас, успокойтесь, — сказал он с болезненной жалостью.

В комнате, врезаясь в упавшую тишину, зазвонил телефон, она вскрикнула, а он, не застегиваясь, не надевая шапку, вывалился на лестничную площадку, бессознательно нажал на кнопку лифта. Но тут же прыжками побежал по лестнице вниз с лихорадочной мыслью: скорее бы, скорее!..

Он выбежал из подъезда в новогоднюю ночь, властно опахнувшую его колючей волной мороза, бросившей ему навстречу хаос огней, праздничных пожаров елок в окнах на всех этажах, розовые ползающие полосы на гребнях сугробов.

«Какая нелепица! Я схожу с ума! — думал он, торопливо шагая по зло хрустящему снегу. — Зачем эта неестественная ночь! Когда я выходил, мне показалось, что в ее глазах мелькнули слезы. Какой же был смысл в ее слове «ненавижу»? Что оно значило? Я глупец! Глупец! Я все понял и не понял ничего. Господи, прости!»

У него ослабли ноги, и он обнял фонарный столб, приник лбом к его ледяному уюту, потом поднял голову, едва нашел в светло-туманном небе еле заметные звезды, плача и ядовито смеясь над собой от беспомощности.



КОНСТАНТИН СКВОРЦОВ

Ни времени, ни смерти нет

* * *

Золотой зверобой
и горячее поле душицы,
И обвивший смородину
сказочный алый цветок.
И родник под скалой —
тот, который доныне мне снится,
И сиреневый полог тумана
вдали от дорог.

Я мальчишкою знал:
ты должна здесь вот-вот появиться,
Вся из солнца и трав,
из ручьев, от рассвета хмельных.
Побелели виски.
Замолчали в отчаяньи птицы.
Я оставил тебя,
как венок из цветов полевых.

Я готов был припасть
к первой встречной зеленой травинке,
Потому что в тумане
все время мерещилось мне:
Может быть, это ты
в серебристой, как сон, паутинке,
Той, что ветер принес,
словно птица на сизом крыле.

И уехал я в город,
оставив и горы, и поле...
И в ущелье домов,
где не встретишь живого огня,
Ты по улице шла
в золотых светляках зверобоя.
Я узнал тебя сразу.
Но как ты узнала меня?

* * *

В эти дни в незнакомой Отчизне,
Где сместились закат и рассвет,
Мы прожили с тобой столько жизней,
Что хватило б на тысячу лет.

Ну, подумаешь: лошади в поле
Или птица, летящая ввысь.
Все, что было знакомым до боли,
Обрело нераспознанный смысл.

Так на свет появляется гений,
Вещим словом становится бред.
Ради этих счастливых мгновений
Мы с тобой и явились на свет!

Кто-то скажет, что буря в стакане
Наши чувства, но ты их прости.
Мы с тобою примерными станем.
Боже, только б с ума не сойти!

* * *

Осенний лес и неба синева.
Огонь осин и вспышки дикой вишни.
С деревьев тихо падает листва,
В глухом лесу она казалась лишней.

И солнца золотые кружева
Разлиты по земле, как Божья милость...
И где-то хохотнула вдруг сова
Средь бела дня... Что это с ней случилось?

Зачем она, природе вопреки,
Вперяет глаз прозорливый и меткий
Туда, где расписные лоскутки
С девичьим страхом покидают ветки.

И между нами, как меж двух страниц,
Лишь этот удивительный гербарий.
И пахло от дерев, лежащих ниц,
Сухой травой и свежими грибами.

Любимая! Вот жизни краткий миг...
И, к нам не проявляя интереса,
Прошел с корзиной полною грибник —
Ему мы показались частью леса!

С корзиной полною — вот счастья знак.
Какого мы еще искали знака?
И никогда я не смеялся так...
И никогда, друг мой, я так не плакал!

Миронежье

Сегодня очень рано рассвело,
И всплыло в море памяти безбрежной
Затерянное русское село —
Овеянное сказкой Миронежье.

Глядится в лес с кривою крышей дом,
Застыли совы, словно изваянья,
Но сердце наполняется теплом
От одного старинного названья.

Что нас с тобою так туда влечет,
Где пахнет только елью и Онегой?
Да здесь река молочная течет,
И белые грибы растут под снегом!

Здесь мы смолили старенький баркас,
Морошки съели не одно лукошко.
С тобою мы бездомны, но у нас
Есть в Миронежье добрая сторожка.

И если я скажу тебе не то
Иль ты меня окатишь фразой снежной,
Мы убегаем в наше Миронежье
И ставим самовар на круглый стол.

* * *

Сосна горела, как свеча,
Закатным пламенем играя.
Я пил из горного ручья,
Бегущего к воротам Рая.

И я задумался:
«Неужто Предела Вышнего достиг?»
Но, словно ходики, кукушка
Не умолкала ни на миг.

Гора, готовая зардеться,
Укрылась тенью до зари.
Кукушке в лад стучало сердце,
Не нарушая общий ритм.

За Аваляк свалилось солнце
В метель черемух и снегов.
Чья песня раньше оборвется —
Кукушки ль, сердца ль моего?

В болоте чахнет мелколесье,
Но ели набирают цвет.
И в этом вечном равновесье
Ни времени, ни смерти нет!

* * *

Теперь не надо запрягать коней.
До петухов поднявшись спозаранку,
Я мчался к речке юности моей,
Держа в руках не вожжи, а баранку.

Была дорога мягкою, как холст, —
Моих колесных прадедов наследство...
Я так хотел увидеть старый мост
И окунуться в речку, словно в детство.

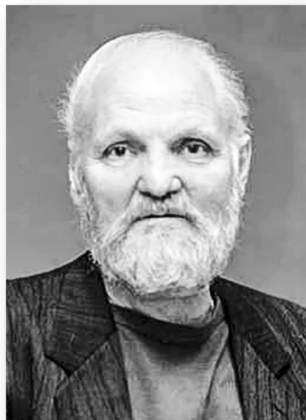
Острожный столб, что вбили земляки,
Мне сообщал табличкою неброской:
«Река Весна». Но не было реки.
Цвела осока желтою полоской.

Вдоль дома, что дымился в стороне,
Прошла старушка, тихо, как преданье.
Перекрестясь, она сказала мне:
— Деревни нет, осталось лишь названье.

Я прочитал на сломанном кресте,
Блуждая на заброшенном погосте,
Что на земле мы временные гости,
Как изморозь на фиговом листе.

И не узнав родимой стороны,
Я атлас взял, сработанный навечно.
Названье есть, но нет моей страны,
Где дом стоял и щебетала речка.





ВЛАДИМИР КРУПИН

Молитва матери

Рассказы

Катина буква

Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить какую.
Я написал букву «К».
— Нет, — сказала Катя.
Букву «А». Опять нет.
«Т»? — Нет.
«Я»? — Нет.
Она пыталась сама нарисовать, но не умела и переживала.
Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта?
Нет, Катиной буквы не было во всем алфавите.
— На что она похожа?
— На собачку.
Я нарисовал собачку.
— Такая буква?
— Нет. Она еще похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолет, и на небо, и на дерево, и на кошку...
— Но разве есть такая буква?
— Есть!
Долго рисовал я Катину букву, но все не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она ее напишет сама.

Соколко

То, что животные обладают разумом, это даже и обсуждению не подлежит. Дядя мой соглашался говорить о пчелах, если собеседник тоже, как и дядя, считал пчел умнее человека. Мама моя говорила с коровой, ругала куриц, если те откладывали яйца не в гнездах. Кот наш Васька сидел за обедом семьи на табуретке и лапой, издали, показывал на облюбованный кусок. Дворовая наша Жучка, завидя нас, начинала хромать, чтоб мы ее пожалели. Что уж говорить о лошадях, которых мы водили купать. Белесая Партизанка, худющая, с острым хребтом, выйдя на берег из реки, валилась на песок и валялась, чтоб ее снова запустили в воду, — так ей нравилось купание.

Но как же я помню из своего детства одного песика — собачку по имени Соколко. Именно из своего детства, будто этот песик был мой. А он из сказки

Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. Когда царевна, отведенная в лес на погибель, приходит в дом семи братьев, Соколко очень ей радуется, верно ей служит. И как он старается оградить хозяйку от злой колдуньи, как лает на нее, кидается, дает понять царевне об опасности. Но царевна все-таки надкусила яблоко, у нее «закатилися глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижна стала». Вскоре героически умирает и верный Соколко... Он, бессловесная тварь, не уберег любимую хозяйку. Страдание его безмерно. Он отыскивает братьев в лесу, горестно воет, зовет их домой. Братья, чувствуя неладное, скачут вслед за ним. Спешились. «Входят, ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав с лаем кинулся, озлился, проглотил его, свалился...»

Вообще, это величайшая сказка. Чернавка ведет царевну на съедение диким зверям, а та просит ее: «Не губи меня, девица! А как буду я царица, я пожалую тебя». И на краю гибели царевна уверена, что станет царицей. Пощадив царевну, оставляя ее на волю Божию (она именно так и говорит: «Не кручинься, Бог с тобой»), чернавка докладывает мачехе, что приказание выполнено: царевна привязана к дереву. Чернавка тут, надо думать, угождает мачехе, не смея осуждать жестокость приказа, даже успокаивая совесть незаконной царицы. «Крепко связаны ей локти, попадется зверю в когти, меньше будет ей терпеть, легче будет умереть». Вырастая в обезбоженное большевиками время, мы не были оставлены Богом. Такие тексты, как эта сказка, исподволь действовали на нас. Ведь царевна, войдя в дом братьев, вначале «затеплила Богу свечку», а уж потом «затопила жарко печку». Это же поселялось внутри нас и влияло на душу. Когда умирает царевна, то не как-нибудь, а ложится на лавку «головой под образа». Когда отказывает в просьбе стать женой кого-либо из братьев, то говорит: «Коли лгу, пусть Бог велит не сойти живой мне с места. Как мне быть — ведь я невеста...»

А уж как ищет ее возлюбленный Елисей! И помогает ему не солнце, не луна, а ветер. Мы же все знали наизусть этот отрывок: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч...» Но что особенно важно, так это слова: «Не боишься никого, кроме Бога одного». Ветер рассказывает Елисею о пещере, где «во тьме печальной гроб качается хрустальный». Пушкинский, совершенно православный мотив — преодоление любовью смерти, изображение смерти как сна перед воскресением, здесь блистателен: «И о гроб невесты милой он ударился всей силой. Гроб разбился. Дева вдруг ожила. Глядит вокруг изумленными глазами...»

Вот ведь и в «Золушке» есть мотив волшебства и колдовства: превращение тыквы в карету, мышей в лошадей, но все это как-то не по-нашему. В «Спящей царевне» колдовство — сила злая, преодолеваемая любовью.

«Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, — учили мы, — ты волнуешь сине море, ты гуляешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного!» Учили, и дарвиновское понимание всесилия природы, атеистическая объяснимость любых явлений ее отступали перед этой боязнью ветра: могучий ветер боится только Бога. Ветер, ломающий деревья, топящий корабли! Еще далеко впереди было Священное Писание, буря на Галилейском море, утихшая по одному слову Спасителя, — все было впереди. Но принять в сердце веру православную помогла нам русская литература, особенно Пушкин. «И с невестою своей обвенчался Елисей». Не как-нибудь, не в загс пошли — обвенчались.

А как мой Соколко? А вот он не ожил. Как жаль, что он не умел говорить, — объяснил бы братьям, отчего умерла царевна, а так пришлось показать им причину ее смерти. Соколко так любил царевну, так мучился своей виной, тем, что не уберег ее, — конечно, как бы он потом жил?

Если бы я стал вдруг снова мальчишкой, завел бы щеночка и назвал бы его Соколко.

Подкова

Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застревали у нее. Теснились у порога, глядя, как голый по пояс молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне.

Кузнец, худой мужик в холщовом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал лошадь за щетку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал ее в груду других, отработавших, чистил копыто, клал его себе на колено и прибивал новую подкову, толстую. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смирно, только вздрагивала.

Раз привели некованого горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь (но удачно — кузнец отскочил), выломал передний запор — здоровую жердь — и ускакал, звеня плохо прибитой подковой.

Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголек, прикурил.

— Дурак молодой, — сказал он, — от добра рвется, пользы не понимает — куда он некованый? Людям на обувь подковки ставят, не то что. Верно? — весело спросил он.

Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подкове.

Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали, а на следующий день снова вернулись.

— Еще счастья захотели? — спросил кузнец.

Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали.

— Смотрите. За погляд денег не берут. Только чего без дела стоять. Давайте мехи качать.

Стукаясь лбами, мы уцепились за веревку, потянули вниз. Горн осветился.

Это было счастье — увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышит порванный мех, как полоса железа равняется цветом с раскаленными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе — рабочие и выездные — подкованы нашим знакомым кузнецом, мы его помощники, и он уже разрешает нам браться за молот.

Зеркало

Подсела цыганка.

— Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.

Закурила. Курит неумело, глядит в глаза.

— Дай погадаю.

— Дальнюю дорогу?

— Нет, золотой. Смеешься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.

— Нет денег.

— А казенные? Ай, какая нехорошая линия, девушка выше тебя ростом тебя заколдовала.

— И казенных нет.

— Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живешь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.

— Нет бумажных.

— Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушку, станут, как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.

Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.

— Вот зеркало. В него посмотришь и увидишь, кто твой лучший друг, а кто враг. Кого ты хочешь увидеть, друга или врага?

— Врага.

— Так смотри!

Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше. И остался я дурак-дураком. Какая девушка? Какая черная вода, какая линия? При чем тут зеркало?..

В заливных лугах

Поздней весной в заливных вятских лугах лежат озера.

Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озера весь день похожи на спокойный пожар.

Ближе к сенокосу под цветами нарождаются плоды. Красота становится лишней, цветы падают в свое отражение. И на воде еще долго живут. Озера лежат белые, подвенечные, а ночью вспоминается саван.

Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слезы, покачиваются, касаясь друг друга.

Постепенно вода оседает, озера уходят в подземные реки, и как будто лепестки — вместе с ними.

Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами. Пьют эту воду кони и люди, птицы и звери, цветы и травы, дает эта вода жизнь всему сущему, всему живому.

Только мертвым не нужна вода, поэтому место для них выбирают на взгорьях.

Падает звезда

Если успеть загадать желание, пока она не погасла, то желание исполнится. Есть такая примета.

Я запрокидывал голову и до слез, не мигая, глядел с Земли на небо.

Одно желание было у меня, для исполнения которого были нужны звезды, — чтоб меня любили. Над всем остальным я считал себя властным.

Когда вспыхивал сразу гаснущий, изогнутый след звезды, он возникал так сразу, что заученное наизусть желание: «Хочу, чтоб меня любила...» — отскакивало. Я успевал сказать только, не голосом — сердцем: «Люблю, люблю, люблю!»

Когда упадет моя звезда, дай Бог какому-нибудь мальчишке, стоящему далеко-далеко внизу, на Земле, проговорить заветное желание. А моя звезда постарается погаснуть не так быстро, как те, на которые загадывал я.

Где-то далеко

Много времени в детстве моем прошло на полатях. Там я спал и однажды — жуткий случай! — заблудился.

Полати были слева от входа, длинные, из темно-скипидарных досок.

Мне понадобилось выйти. Я проснулся: темень темная. Пополз, пятясь, но уперся в загородку. Пополз вбок — стена, в другой бок — решетка. Вперед — стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слезы закапали на бедную подстилку из чистых половиков.

Тогда еще не было понимания, что если ты жив, то это еще не конец, и ко мне пришел ужас конца.

Все уходит, все уходит, но где-то далеко-далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатей ползает на коленках мальчик, который думает, что умер, и который проживет еще долго-долго.

Молитва матери

«Материнская молитва со дна моря достанет», — эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинна и за многие века подтверждена бесчисленными примерами.

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с ним недавно. Он рассказал его, как будто все так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня.

На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.

— А я очень торопился, — сказал отец Павел, — и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Я даже не спросил, почему она со мной не пошла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко — я был в облачении. Я поздоровался, говорю: «Ваша мама просила меня к вам зайти». Он вскинулся: «Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла». А на стене ее фотография среди других. Я показываю на фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила меня вас навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?» — «Нет, — говорю, — пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм». — «А если не приду?» — «Придешь: мать просит. Это грех — родительские слова не исполнять».

И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил. И лишь однажды за все время опамятовался, и в душе его промелькнула жалость к матери. И раскаяние. Но ненадолго.

А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого — темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась. Тут уж я сам с утра пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины, значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно — умереть без покаяния, без причастия.

И главное: значит, она любила его, любила своего сына, даже такого — пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. Именно она и только она силой своей любви.

Янки, гоу хоум!

Обычно фронтовики не любят смотреть военные фильмы. Даже не оттого, что в фильмах «киношная» война, а оттого, что слишком тяжело вспоминать войну. Мне кто-то рассказал про одного ветерана, бойца пехоты, который пристрастился смотреть всякие «Хроники низколетящих самолетов», всякие сериалы, смотрел и плакал, и говорил соседу, тоже фронтовику: «Вот ведь, Витя, как люди-то воевали, какая красота, а мы-то все на брюхе, да все в грязи, да все копали и копали...» Ветерану начинало казаться, что он был на какой-то другой войне, ненастоящей, а настоящая — вот эта, с музыкой и плясками.

Мы, послевоенные мальчишки, прямо-таки бредили войной. Она была и в фильмах («Подвиг Матросова», «Голубые дороги», «Подвиг разведчика»), она была и в наших играх, и в каждом доме. Там — отец не вернулся, там — вернулся весь искалеченный, там — все еще ждали. Мой отец, прошедший со своим единственным глазом еще и трудармию (а что это такое, лучше не рассказывать), разговоры о войне не выносил, и я не приставал. Дяди мои, на мой взгляд, тоже не подходили для боевых рассказов. Уж больно как-то не так рассказывали.

— Дядь Федя, тебя же ранило, — приставал я. — Ну, вот как это?

— Как? А вот становись, я тебе по груди с размаху колотушкой охреначу, вот так примерно.

Другой дядя, моряк, был даже офицер. После войны он вернулся к своему плотницкому ремеслу. Мы крутились около, помогая и ожидая перекура. Спрашивать опасались, мог нас послать не только в сельпо — подальше. Но дядька и сам любил вспомнить военные денечки.

— Ох, — говорил он, — у нас в буфете, в военторге, две бабы были — умрешь не встанешь. К одной старлей ходил, к другой вообще

комдив. Однажды... — Тут нам приказывали отойти, ибо наши фронтовики, в отличие от сегодняшней демократической прессы, заботились о нравственности детей. Но то, что нам позволяли слушать, было каким-то очень не героическим.

— Дядя, — в отчаянии говорил я, — ведь у тебя же орден, ведь ты же катерник, ты же торпедник, это же, это же!

— Ну, и что орден? Дуракам везет, вот и орден, — хладнокровно отвечал дядя, плюя на лезвие топора и водя по нему бруском.

— Ну, расскажи, ну, расскажи!

— Не запряг, не нукай. Уж рассказывал. Подошел транспорт, надо потопить.

— Транспорт чей? — уточнял я. Это больше для друзей.

— Немецкий, чей еще? Послали нас. Как начальство рассуждало: пошлем катер, загнутся четверо — невелика потеря, и рассуждали правильно: война. Четыре торпеды. Торпеды нельзя возвращать, надо выпустить. Категорически. Мы поперли. Я говорю, дуракам везет, на наше счастье — резко туман. Везет-то везет, но заблудились. Прем-прем да на транспорт и выперли. С перепугу выпустили две торпеды и бежать со всех ног...

— Почему с перепугу?

— А ну-ка, сам вот так выпри на транспорт! Это ж гора, а мы около как кто? То-то. Бежать! Утекли. Еле причал нашли. Ну, думаем, будет нам. Торпеды приперли. Я с горя спирту резанул. Вдруг из штаба — ищут, вызывают. А куда я пойду, уже расколотый, мутный. «Скажите, — говорю, — что башкой треснулся, к утру отойду». В общем-то, кто-то все равно настучал, что я взболтанный. А почему вызывали — транспорт-то мы потопили! Вот мать-кондрашка, сдуру потопили. Так еще как приказ-то звучал: «...используя метеорологические условия и несмотря на контузию, и экономя, слышь, боезапас...» — вот как!

— За это надо было Героя дать, — убежденно говорил я. Спустя малое время, окончив десятилетку, я стал работать литсотрудником районной газеты. И получил задание написать о Героях Советского Союза. Их у нас в районе было четверо. Но один уже сидел в тюрьме за то, что надел свои ордена и медали на собаку, а сам стрелял из охотничьего ружья в портрет отца народов: второй, инвалид, ездивший на трехколесной трещащей инвалидной самоходке, был куда-то увезен, говорили, что в интернат для ветеранов. На самом же деле инвалидов просто убирали с глаз долой: была такая политика, чтоб поскорее забыть войну, чтоб ничего о ней не напоминало.

— Уже и холодная война заканчивалась, уже Хрущев съездил в Америку, постучал ботинком по трибуне ООН, уже велел везде сеять кукурузу, уже подарил Крым своей бывшей вотчине, тут и фронтовиков решили вспомнить. И мне — не все же кукурузу воспевать! — выпала честь написать очерк для нашей четырехполоски «Социалистическая деревня». Редактор узнал, кто из двух оставшихся Героев передовик мирного труда, и выписал командировку.

Мы не ездили в командировку, а ходили. Так и говорили: пошел в командировку. На юг района — сорок километров, на запад и восток — по тридцать, на север — шестьдесят; все эти километры я исшагал и по жаре, и по морозу, и в дождь, и в метель. И какое же это было счастье — это только сейчас доходит до сознания! Как мела через дорогу узорная поземка, как напряженно и все-таки успокаивающе гудели

столбы, как далеко по опушке леса пролетало рыжее пламя лисы, как проносился, ломая наст, тяжелый лось, а весной далеко и просторно разливалась река, и в заречную часть можно было попасть только на катерах сплавконторы. А летние вечера, белые от черемухи улицы деревень, а девичий смех, от которого туманилась голова и ощутимо билось сердце. Что говорить!

Герой будущего очерка был механизатором. В военкомате я выписал все данные на него и знал, что он получил Золотую Звезду за форсирование Днепра. Готовые блоки фраз уже были в фундаменте очерка: «В то раннее утро рядовой такой-то такого-то энского полка встал до соловьев (мне очень хотелось про соловьев!). Он подошел к Днепру, умылся речной водой и вспомнил родную реку детства, свое село» (мне очень хотелось, чтобы на Днепре вспомнили Вятку и мое село)... Ну, и далее по тексту.

— А вы вспоминали в то утро свою родину? — спросил я, когда, найдя Героя, стал его расспрашивать.

— В какое утро?

— В утро форсирования Днепра.

— А, нет, мы ночью погребли.

— Но вспоминали? (Я мысленно переделал утро на тревожную ночь.)

— Может быть, — неохотно отвечал механизатор. — Тут баба с печки летит, сто дум передумает.

— Вы вызвались добровольцем?

— Да, вызвался.

— Почему именно?

— Дурак был. — Механизатор посмотрел на меня. — Вроде вас возрастом. Молодой был, вот и попер. Там как заинтересовывают — сто первых выйдут на плацдарм, зацепятся, день продержатся — Герой. Кто? Ну, и пошел — два шага вперед.

— Но вы же потом не жалели, когда получили награду?

— Чего жалеть, вот она. Сейчас, правда, льготы за ордена и проезд бесплатный сняли, а так чего ж... в школу приглашали.

Да, правильно (надо в школе побывать), дети должны стать патриотами.

Сделаю отступление. Мы вырастали так, что умереть за Родину было нашей главной мечтой. О, сколько раз мы играли в Матросова, сколько же раз закрывали грудью амбразуру и умирали. Умереть за Родину было так же естественно, как дышать...

Я принес очерк редактору. Отдал и встал навытяжку. По лицу читающего очерк редактора я понял, что отличился. Только два места он похерил:

— Что это такое — вспомнил родину? А Днепр разве не наша родина? (Тогда не было позднее выдуманного термина «малая» родина.) И второе: «Прямо в песке закопали убитых товарищей». Напишем: «После боя отдали воинские почести павшим».

Я не возражал. Но за день до запуска очерка в печать редактор позвонил в колхоз, где работал механизатор, и узнал, что тот напился и наехал трактором на дерево. Редактор срочно послал меня на лесоучасток, где жил последний, четвертый Герой.

Лесоучасток назывался красиво — Каменный Перебор, может, оттого, что стоял на берегу прозрачной каменистой реки Лобани. Этот Герой тоже был механизатором и тоже получил Звезду за форсирование реки. Но не Днепра, а Одера.

— Да и Вислу форсировали, — сказал он. Он все-таки был хоть чуть-чуть поразговорчивей, чем сельский. — Потом всяких французов, датчан выколупывали.

— Как? — спросил я потрясенно. — Французы же наши союзники.

— Да ладно, союзники, — отвечал он. — Какие там союзники, все они там повязаны. Европа вся сдалась немцам, они ее не тронули, потом они им и отрабатывали. Ну-ка, сравни Минск и Париж, чего от них осталось?

— Но французское Сопротивление?

— Было. Но раздули, — хладнокровно отвечал он. — У них по лагерям лафа, артисты ездили, нашим — смерть. Это, братишка, была война великая, но помогать они стали, притворяться, когда мы переломили Гитлеру хребет. Еще те сволочи, — неизвестно о ком сказал он. — Да вот хоть и американцы. «Встреча на Эльбе, встреча на Эльбе!..» — кукарекают. А что встреча? Вот я тебе про встречу расскажу. Мы пошли мая десятого-одиннадцатого по Берлину — уже везде американские часовые торчат, патрули американские — они большие мастера победу изображать. Зашли, сели в ресторане. Второй этаж. Внизу — лужайка. В углу — американцы гуляют, ржут. И чего-то в нашу сторону дали косяка, чего-то такое пошутили. Ну, мы и выкинули их в окно.

— Как? — спросил я потрясенно. — Выкинули в окно? Американцев?

— Ну! Да там же лужайка, не камни же. Потом туда им столы выкинули и стулья. И велели официанту отнести им чего закусить и выпить.

— А... а дирекция ресторана?

— Эти-то? Еще быстрее забегали. Мы так хорошо посидели. Серьезно посидели, — добавил он, — и пошли. И идем мимо американцев. Те вскакивают, честь отдают. Вот это встреча на Эльбе! С ними только так. А то сейчас развякались: «Хинди-руси, бхай-бхай!» — это с американцами-то? Да эти бы Макартуры и Эйзенхауэры первыми бы пошли давить нас, если бы Гитлер перевесил. Вот немцы могут быть друзьями, это да.

Я был так потрясен этой крамольной мыслью, что зауважал фронтовика окончательно.

Вот такие дела. И еще сорок лет прошло, протекло, как песок в песочных часах. Живы ли вы — мои милые герои? Я вспоминаю вас и низко кланяюсь всем вам, моим отцам, спасшим Россию.

И думаю: вы-то спасли, а мы продали. Продали, и нечего искать другого слова. Продали и предали. И вот я иду по оккупированной России. Через витрины, заваленные западным химическим пойлом и куревом, отравленной пищей и лаковой порнографией, смотрю на лица, искалеченные мыслью о наживе, смотрю, как ползают на брюхе перед американской помощью экономисты, как политики гордятся тем, что им пожал руку саксофонист, и думаю: «Россия ты, Россия, вспомни своих героев. Вспомни Александра, царя, который в ответ на какие-то претензии англичан к нам, высказанные послом Англии за обедом, молча скрутил в руках тяжелую серебряную вилку, отдал послу и сказал: «Передайте королю». Или, когда он ловил рыбу, ему прибежали сказать, что пришло какое-то важное донесение из Европы, а он ответил: «Европа подождет, пока русский царь ловит рыбу». Но ведь и наш, нынешний, тоже ловит рыбу. А вот интересно: он ловит,

а ему бы прибежали сказать охранники, что зовет Буш. Ведь бросил бы, чай, удочку.

Еще могу добавить, уже от себя, что не только те, при встрече на Эльбе, американцы трусливы, но и теперешние. У меня есть знакомый американец, русист. Он с ужасом сказал, что все эти «марсы», «сникерсы», стиральные порошки, средства для кожи и волос — все это жуткая отрава и зараза.

— Тогда спаси моих сограждан, — попросил я, — выступи по телевизору. Тебе больше поверят, чем мне.

И что же? Испугался смертельно мой американец. Разве осмелится он хоть слово вякнуть против тех компаний, которые наживаются у нас? Не посмеет.

А еще почему трусливы американцы? Они жадны. А жадность обязательно обозначает трусость. Давайте проверим: вот придет в России к власти то правительство, которое любит Россию, не шестерит перед разными валютными фондами, верит в народ, в Бога, знает, что нет запасной родины, и что? И все эти «сникерсы» сами убегут.

В годы детства и отрочества, помню, часто печатались в газетах и журналах фотографии и рисунки из разных стран, на которых были написаны слова: «Янки, гоу хоум!» — то есть «Янки, уходите от нас». Все беды мира связывались с американской военной или экономической оккупацией. И наши беды отсюда. Так что на вопрос «Что делать?» отвечаем — писать на заборах и в газетах: «Янки, гоу хоум!» Не уйдете в дверь, выкинем в окно. На лужайку. Перед Белым домом.

Зимние ступени

Вятское село Великорецкое. Именно то село, где шестьсот лет назад явилась чудотворная икона Святителя Николая. В начале лета сюда идет многолюдный Крестный ход из Вятки, и вообще все лето здесь полным-полно приезжих — и молящихся, и просто любопытных.

Места удивительной красоты, взгляд с горы, на которой стояла сосна с иконой, улетает в запредельные пространства. Небольшая, похожая на Иордан река, источник и купальня около нее очень притягательны. В реке купаются, а кто посмелее, тот погружается в ледяную купель. Зимой купель перемерзает, но источник все льется и льется. Только нет возле него, как летом, очереди: пусто на берегу. Но в церковные праздники все-таки вода льется не только в реку, но и в баночки, и в бутылочки: это старухи после службы приходят за святой водой.

Пусто зимой в селе, заснеженно, просторно. Даже и старухи эти, что стоят на службе в церкви и ходят за водой, не местные, а из районного центра, приезжают на автобусе, который ходит два раза в день, а иногда — ни разу. Но в праздники ходит.

Накануне Рождества двое мужчин, Аркаша и Василий, делают ступени к источнику. Оба одного года, обоим за пятьдесят, но Василий выглядит гораздо старше: судьба ему выпала нелегкая. Всю жизнь, лет с четырнадцати, на тракторе, в колхозе. Нажил дом, вырастил детей. Дети поехали в город. Жена умерла. Дети уговорили продать дом, чтобы им купить квартиру. Купили. А недавно сын попал в одну историю, ему угрожала или тюрьма, или смерть от дружков. Надо было откупаться.

Продали квартиру, сын сейчас живет у родителей жены, а Василий здесь, из милости, у дальних родственников в бане.

Аркаша молод и крепок на вид, в бороде — ни одной сединки. Аркаша — городской человек, приехал сюда по настоянию жены, она певчая в церкви. Руки у Аркаши сноровистые, батюшка постоянно о чем-то просит Аркашу. Аркаша, конечно, руководит Василием.

Василий работает ломом, Аркаша подчищает лопаткой.

— Дожди на Никольскую ударили, экие страсти, — говорит Василий, — всегда Никольские были морозы, а тут дожди. Но уж Рождественские свое берут. — У Василия на красных щеках — замерзшие слезы. Телогрейку он давно снял, разогрелся, Аркаша — в тулупчике. — Но уж зато сколько спасиб завтра от старух услышим, — разгибается Василий.

— Похвала нам в погибель, — рад поучить Аркаша, — нам во спасение надо осуждение и напраслину принять, а ты спасибо захотел.

— Не захотел, а знаю, что старухи пойдут, благодарить будут, какая тут погибель?

— Плохо ты знаешь Писание, — укоряет Аркаша. — Вот ты знаешь великое славословие? Нет, не знаешь. А завтра в церкви запоют, и ты будешь стоять и ничего не понимать. Но это-то должен знать: «Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение». А? Ангельское пение в небесах слышали пастухи. Пастухом был небось? Вот, а ангельского пения не слышал, так ведь? По нашему недостоинству. В мир пришел Спаситель, и не узнали! — с пафосом произносит Аркаша. — Места в гостинице не нашлось, в ясли положили Богомладенца. Царя Вселенной!

— Я в хлеву часто ночевал, — простодушно говорит Василий. — Снизу — сенная труха, сверху сеном завалюсь, корова надышит, в хлеву тепло. Она жует всю ночь, я и усну. Утром она мордой толкает, будит... — Василий спохватывается, заметив, как насмешливо глядит на него Аркаша, и начинает усердно откалывать куски льда. Аркаша учит дальше:

— По замыслу Божию, мы равны ангелам.

— Нет, — решительно прерывает Василий, — это уж, может, какая старуха, которая от поста и молитв высохла, светится, — та равна, а мы — нет. Я, по крайней мере. Близко к этому не стою. Ты — конечно. Ты понятие имеешь.

— Я тоже далек, — самокритично говорит Аркаша. — Были б у нас сейчас деньги, мы б не ступени делали, а пошли б и выпили.

— Вначале б доделали, — замечает Василий.

— Можно и потом доделать, — мечтает Аркаша, но спохватывается: — Да, Вася, в Адаме мы погибли, а во Христе воскресли. Так батюшка говорит. Христос — Истина, а учение Его — пища вечной истины. Это я в точности запомнил. У меня память сильно сильная. Вот и на заводе — придут из вузов всякие инженеры, а где какой номер подшипника, какая насадка — все ко мне...

Батюшка уже сходил в церковь, все подготовил для вечерней службы, велел послушнику Володе не жалеть дров, вернулся в дом и сидит, готовит проповедь на завтра. Перебирает записи, открывает семинарские тетради. Так много хочется сказать, но из многого надо выбрать самое необходимое. Батюшка берет ручку и мелко пишет, шепча и повторяя фразы: «Мы не соединимся со Христом, пока не пробудим в себе сознание греховности и не поймем, что нашу греховную немощь

может исцелить только Врач Небесный». Откладывает ручку и вздыхает. Когда батюшка был молод, принимал на себя сан, дерзал спасти весь мир. Потом служил, бывал и на бедных, и на богатых приходах, и уже надеялся спасти только своих прихожан. А потом думал: хотя бы уж семью свою спасти. Теперь батюшка ясно понимает, что даже самому ему — и то спастись очень тяжело.

— Ох-хо-хо, — говорит он, встает, крестится на красный угол, на огонек лампадки и подходит к морозному окну.

Последнее на сегодня солнечное сияние розоватит морозные узоры. Тихо в селе. Из труб выходят сине-серые столбики дыма. «Так и молитвы наши, — думает батюшка, — яко дым кадильный». Он возвращается к столу и записывает: «Благодатная жизнь возникает по мере оскудения греха». «Нет, надо проще, — думает батюшка. Но тут же возражает себе: — Но куда проще говорил Господь Каину, а тот умножал свои грехи. Праведный Ной разве не призывал покаяться? То же и праведный Лот. И не слушали. И на горы приходили воды, и огненная сера падала на Содом и Гоморру. Проходили воды, смывавшие нечестие, но проходил и страх гнева Божия, опять воцарялся порок, плясал золотой телец, опять все сначала. Господи, как же ты терпелив и многомилостив! Строили столп вавилонский, чтобы увековечить себя, свою гордыню. Господь смешением языков посрамил гордыню человеческую, они же стали воздвигать башни в себе. И опять Господь попустил свободу их сердцам, чтобы сердца их сами увидали гибель. Нет, не увидали. Через Моисея дал законы и обличил немощь человеческую, и опять: разве послушали?»

Батюшка снова встает, снова крестится, кладет три поклона и уже не замечает, что говорит вслух:

— Пророки говорили и умолкли, дал время Господь выбрать пути добра и зла, жизни и смерти. Всегда-всегда был готов Господь спасти, но люди сами не хотели спастись. И когда прииде кончина лета, кончина обветшавших дней, послал Господь Сына Своего Единороднаго в палестинские пределы.

Мысли батюшки улетают в Вифлеем. За всю жизнь батюшка так и не смог побывать на Святой Земле, может, оттого так обостренно и трогательно он старается представить себе всю ее: и Назарет, и эти ступени, которые вели к источнику Благовещения, и ступени к пещере, в которой, повитый пеленами, лежал Богомладенец и куда вела звезда, и неграмотных пастухов, и образованных волхвов, и ступени на Голгофу. Батюшка всегда плачет, когда представляет Божию Матерь, стоящую у Креста. Сын умирал на ее глазах. Сын! Господи, только по Его слову сердце Ее не разорвалось — еще много Ей предстояло трудов.

— Дедушка, — влетает в комнату внучка, — а Витька говорит, что игрушки на елке — это слезы, что это ты говорил. Какие же это слезы?

— А, — вспоминает батюшка, — да, говорил. Видишь, Катюша, у нас — елочка, а на юге — пальма. Пальма же ближе к Вифлеему. Все деревья собрались славить Рождество Христа, а елочка опоздала, ей же далеко. Опоздала и заплакала. У нас холодно, слезки замерзли. Господь ей сказал: «Все твои слезы будут тебе как драгоценности». Вот мы и наряжаем с тех пор елочку.

— А еще Витька сказал, — ябедничает дальше внучка, — что Дед Мороз — это не Дед Мороз, а Санта-Клаус американский, говорит. Да, дедушка?

— Нет. Санта-Клаус — это святой Николай, какой же он американский, он христианский, православный.

Внучка улетает. Батюшка облачается к вечерней службе. Он любит вечерние службы. У печки обязательно дремлет приехавший заранее старичок, которому негде ночевать, но который просыпается точно к елеопомазанию. Любит батюшка исповедовать именно вечером, без торопливости, спокойно, читая корявые строчки незамысловатых грехов: «Невестка обозвала меня, а я не стерпела и тоже обозвала, каюсь...»

Рождественское утро. Кто-то приехал еще до автобуса, успел уже побывать на источнике.

— Ой, Аркадий, — благодарят громко женщины, — это ведь такая красота, прямо как в санатории ступеньки, а мы шли, переживали, как попадем.

— Думали, как Суворов через Альпы, да? — довольно шутит Аркаша.

И в автобусе народу — битком, и в церкви — стеной. Василий забивается в самый конец, за печку, видит, что вьюшка на печке хлябает в своем гнезде и около нее поддымлено, закоптилось. Василий вспоминает, что у него в предбаннике есть глина и белила, и решает завтра же починить печку.

Начинается служба. Конечно, Василий не понимает многих слов, не понимает всего пения, но ему так хорошо здесь, так умилительно глядеть на горящие свечи, слушать батюшку, согласный молитвенный хор, видеть, как открываются и закрываются царские врата, как летит оттуда, из алтарного окна, сверкание рождественского солнца, и вдыхать сладкий запах кадильного ладанного дыма. Василию становится жарко, хотя он заранее снял телогрейку и стоит в старом свитере сына. Он чувствует, что нос у него расклеивается, думает: «Где это я простыл?» Достает носовой платок, высмаркивается тихонько и ощущает, что у него мокрые глаза. Он понимает, что это от умиления, оттого, что так хорошо ему давно не было, что вот он, всеми брошенный, никому не нужный, нужен и дорог Господу, что Господь его не оставил, что ноги, слава Богу, носят, руки работают, никому не в тягость, голова соображает, что еще? Может, еще какую работу найдет, чтоб сыну помогать. «Пусть бы все на меня валилось, — думает Василий, — еще же и мать, покойница, говорила: кого Бог любит, того наказывает». И это, материнское, вспомнилось ему именно сейчас, в церкви, значит, жило в нем и ждало минуты для утешения. «Любит меня Бог, — понимает Василий. — Любит. Ведь сколько же раз я мог умереть, погибнуть, замерзнуть, спиться мог запросто, а живу». Василий украдкой вытирает рукавом слезы.

Аркадий стоит впереди всех, размашисто крестится. Но ему не до молитвы — надо готовить емкости для водосвятия. Он выходит на паперть и кричит проходящему соседу:

— А по какому праву службу прогуливаешь?

— Ты ж знаешь, я в церковь не хожу, — отвечает сосед.

— Надо, — сурово назидает Аркаша. — А если в церковь не пошел, ставь бутылку, я за тебя свечку поставлю.

Сосед смеется и бежит дальше.

Аркаша разбивает лед в бочке, начерпывает воды в ведра, несет в церковь. Батюшка заканчивает проповедь:

— ...и каждому, и всем нам дается время на покаяние. Долготерпелив, милостив Господь, не до конца прогневается, говорят святые отцы,

но мы-то, грешные, доколе будем полнить чашу греховную, доколе? Ведь уже через край льется...

Батюшка долго молчит. Слышно, как потрескивают свечи. Звонят колокола. В морозном солнечном воздухе звуки их чисты и слышны далеко окрест.

Бумажные цепи

С годами все обостреннее вспоминается детство, особенно Новый год. Елочных игрушек у нас было мало — терялись куда-то. Вот была картонная курочка, бронзовая, с крохотным красным гребешком, а принесли из чулана коробку с игрушками, разбираем — нет курочки. Клоун тут, самолетик тут, домик тут, где курочка? Начиналось следствие. Старшая сестра вспоминала сама и заставляла всех вспоминать: кто в прошлом году разбирал елку, кто? Никто не помнил. И вообще никто не любил разбирать елку, всем хотелось, чтоб она подольше постояла. Значит, родители. Но чтобы родители могли сделать что-то небрежно, такого и подумать было невозможно. Потерянная курочка становилась еще дороже именно оттого, что была потеряна.

— К соседям ушла, на соседский сарай, — говорила мама, — там несется. Ничего, к Пасхе вернется, без яиц не останемся, не переживайте.

В заботах о новой елке курочка забывалась. Да если бы она и не пропала, все равно надо делать новые игрушки. И фонарики, и цепи, и снег, и флажки. Оказывается, отец уже приготовил старые газеты, пузырек клея, кисточку, краски. Все хотели клеить кисточкой, ссорились. Но мало-помалу налаживалась работа дружной бригады. Мама стригла газеты на длинные узкие полоски, их с одной стороны покрывали разными красками или тушью, они быстро сохли, их резали на равные частички — это для цепей. На фонарики — тетрадочную бумагу. Для «снега» жертвовали разноцветные промокашки. Первое кольцо для цепи склеивалось сразу, второе, в виде полоски, продевалось в первое, потом тоже склеивалось. И так далее. Подбирали цвет, чтоб не было подряд двух красных колечек или двух синих. Клея к этому времени не оставалось, и вместо него пользовались вареной картошкой. Хорошо бы, конечно, сделать клейстер из муки, но если можно картошкой, то зачем тратить муку?

Мама доставала со дна швейной машинки «Зингер» шпульку ниток. Шпульку раскручивали, сматывая с нее столько нитки, чтобы ее хватило на несколько раз от стены до стены. Это для гирлянд с фонариками и флажками. Гирлянды возносились на свои места самыми первыми, еще до появления елки, чтоб потом ее не тревожить.

А цепи, копящиеся около стола шуршащей грудой, все удлинялись и удлинялись. И уже мне казалось, что хватит, нет, старшие продолжали трудиться, значит, и я с ними. Младшие засыпали прямо за столом. И на другой день, в последний день старого года, еще все делали цепи. Но уже без нас со старшим братом — мы шли на лыжах за елкой. Брат по-мужицки затыкал топор за ремень телогрейки, мне доверял только санки.

В лесу, в его тихом, белом сиянии, ожидающем восхождения солнца, елочек были целые заросли.

— Эту возьмем! — кричал я, хватая ту, которая ближе. Снег осыпался с ветвей, елка радостно зеленела. Любая елка казалась мне красавицей, мало того, я любую жалел и желал всем елочкам счастливого Нового года.

— Маленькой елочке холодно зимой, — говорил я, — из лесу елочку надо взять домой... Давай побольше наберем, — предлагал я брату. — Все нарядим, им же обидно: вот одну возьмут, а они — так под снегом и жить?

Брат взглядывал на меня с непонятным мне интересом и все искал и искал единственную из десятков самых разных. Уже и солнце всходило, уже я замерзал и хныкал, а брат все продолжал поиски. Наконец решался. Но уж зато и елочка у нас была! Ровно под потолок, шатериком, веточка к веточке, а запах! Будто брат и запах выбирал — запах слышался уже в сенях. В чулане находили прошлогоднюю крестовину или делали новую, устанавливали елку и начинали наряжать. Младшие улепляли игрушками подол елочки, мне доставались ветки повыше, маме — еще повыше, брат залезал на табуретку и украшал самый верх. Сестра подавала ему игрушки и командовала. Отец осуществлял общее руководство.

Начинали окружать елку цепями. Осторожно, чтоб не порвать, подавали брату, он закреплял первое колечко на лапку у звезды, потом переставлял табуретку, принимал от нас волны бумажной цепи, которая серпантинной спиралью опоясывала разноцветное зеленое чудо.

Особая доблесть была в том, чтобы цепь нигде не разорвалась. Если кто попадал между елкой и цепью, работа останавливалась. Попавший вылезал на свободу.

— Ой, не хватит, — переживала сестра, — ой, давайте реже окружать.

Но реже не хотелось, потому что когда много таких цепей, то вся елка становилась кружевной. И всегда все сходилось в самый раз. Последнее колечко укрепляли на ветке у самого пола.

— Это как пельмени стряпаешь-стряпаешь, — говорила мама, — и боишься, вот теста или фарша мало будет, вот лишнее, а всегда выходит точно.

Мы любовались елкой. Отец начинал рассказывать, какие елки были в его детстве. Мы это, конечно, слышали. Еще бы ему не помнить — делали фактически для него одного, он был один сын, а кроме него десять сестер, наши тетки.

— Один раз тятя поехал на Тихорецкую ярмарку, — начинал отец. Мы уже знали, о чем будет рассказ — о французской булке, но с радостью слушали, потому что таких булок мы не едали. — Поехал и привез всем калачей, сушек, а мне еще отдельно — французскую булку. Бабушка говорит: «Съешь, Колюшка, половинку сейчас, а вторую половинку завтра». И разрезала булку. А мне это так обидно показалось, говорю: «Зашивай, и все!» И она, что вы думаете, она...

— Зашила! — кричали мы.

— Барином рос, — говорила мама, — нечего говорить, барином.

— Да, — довольно хмыкал отец, — мне ногами до пяти лет не давали ходить, все на руках таскали.

— Так уж до пяти? — сомневалась мама.

— Ну, до трех, — сбавлял отец и вспоминал дальше. — А у нас в деревне были «микаденки», прозвали их так по отцу; у них отец при-

шел с японской войны и все время говорил: «Микадо, микадо», — это японское слово такое.

— Это — император, — говорила сестра.

— Семья большая, звали детей «микаденки». У них был японский фонарь, ох, они им хвалились. Их тоже выслали. Их раньше, успели собраться, может, фонарь сохранили, а нас высылали — ни минуты на сборы, все бросили. Игрушки пропали. А в Сибири игрушки делали из шишек. Навешаем кедровых, потом орешки щелкаем.

— Ой, а корова, — вскрикивала мама. — Отец, пойло приготовил?

— Так точно! На моей фабрике ни одной забастовки. Вот как нас елка увлекла, даже про корову забыли. А у нее скоро будет теленок, к ней надо чаще ходить.

Но как же не хотелось уходить от елки! Раньше мы наперебой, напередир, как выражалась мама, старались завоевать право нести фонарь, идти с мамой или с отцом давать корм корове, поросенку, курам, а сегодня маме пришлось назначать себе спутника.

— Нет добровольцев? — спросила она и поглядела на елочку. — Ну конечно, где ж корове против елки.

Да, но оставалось в деле украшения еще одно — «снег». И оставшуюся цветную бумагу, и промокашки резали мелко-премелко, потом в большом блюде этот «снег» — название «конфетти» мы узнали позже — этот «снег» перемешивался, брат опять залезал на табуретку, я на вытянутых над собой руках держал блюдо, брат пригоршнями черпал из него и обдавал нашу елочку, будто дождем. А последние заскребышки взлетали над нами и падали нам на головы, на плечи.

— Ой, — пищала младшая сестренка, — ой, на реснице сидит, ой, тихо! Ой, упала!

И она начинала реветь.

Младший брат пытался водворить «снежинку» на ресницы сестренки, но тут возвращалась мама. Мы ужинали и начинали ждать Новый год.

Не только «конфетти» — все будет позже: будут папиным-маминым внукам, нашим детям дорогие заграничные елочные украшения, мигающие электрические гирлянды, шагающий игрушечный Дед Мороз, луноход на батарейках, трещащие, похожие на взаправдашние, автоматы и настоящий Дед Мороз, приносящий в оплаченное время оплаченный подарок, — все будет. И уж конечно, съедобные подарки будут другими: фрукты, шоколад, конфеты всех мастей. «Нам бы в детство такие конфеты, — недавно сказала сестра, — мы бы из этой серебряной фольги резали “снег”». Да уж, вспомнили мы свои тогдашние подарки в пакетах из газет: печенишко, конфеты-подушечки, булочка. Пакеты вышли из моды, началась новогодняя упаковка из полихлорвинила, в виде матрешки, сундучка, царь-пушки, золотого ключика, а то и вовсе в виде Кремлевской башни...

Но все-то мне кажется, что у нас было больше радости от Нового года. Больше. Мы сами созидали его. Сидя у керосиновой лампы, тычась от усталости носом в стол и все равно ни за что не уходя, пока не будет полночь, пока не наступит этот щемящий, так томительно ожидаемый и тут же исчезающий миг, — разве можно уйти спать, провалиться в сон? Да ни за что! Мы сидели, глядели на елку, кое-что еще подправляли на ней, каждый раз обсуждая, как будет смотреться перецепленная игрушка на новом месте.

— Ты от порога посмотри, ты близко смотришь, — говорила сестра.

Старший брат брал в руки лампу, и мы торжественно обходили елку вокруг.

— Хороводы завтра, — строго говорила сестра. — Сейчас в «морской бой» или в «города».

— В «пуговки», — хныкал младший брат. Он уже совсем-совсем засыпал. Младшая давно спала.

Первое свое стихотворение я написал именно в новогоднем ожидании:

Растет история, и вот
Мы вместе с ней растем.
И пусть войдем мы в Новый год,
Как в новый дом войдем.

А наутро так ликовало солнце, будто тоже понимало, что надо жить в новом году по-новому, оставив в старом все плохое. И хотя мы по-старому ломали лыжи, бросаясь на них с Красной или Малаховой горы, по-старому обмораживались, но все равно счастье продолжалось: дома нас ожидала елка, и ее запах соревновался с запахом свежей стряпни. О, эти мамины плюшки, ватрушки, это зимнее мороженое молоко, эти пестрые пузырчатые блины...

Самое загадочное, что на следующий год бронзовая картонная курочка находилась, и мы спорили, где ей лучше жить на елке. Ей на смену терялся домик, потом он тоже находился... И всегда-всегда делали мы бесконечные бумажные цепи, оковывали ими елочку.

И вот я, понимающий, что в моей жизни все прошло, кроме заботы о жизни души, думаю теперь, что именно этими бумажными цепями я не елочку украшал — я себя приковывал к родине, к детству. И приковал. Приковал так крепко, что уже не откуюсь. Многие другие цепи рвал, а эти — не порвать. И не пытаюсь, и счастлив, что они крепче железных. Правда, крепче. Детство сильнее всей остальной жизни.

«Тихий воз на горе будет»

Пилить дрова — это наказание. Но колоть дрова — это радость. Колоть дрова — награда судьбы, продление жизни и полезное ликование плоти. Да, устаешь, хнычет наутро спина, но какое же древнее, мужское дело — колка дров! Сколько удали в этом взметывании топора над головою, сколько силы в ударе! А расчет, а глазомер? Точность удара? Опытному работнику много чего говорит еле заметная трещинка на поверхности тюльки. Ставишь ее как на плаху, осматриваешь со всех сторон. Где сучок, где извилина — все надо учесть, чтобы, ахнув, развалить ее с одного, много — с двух ударов надвое, а затем покрошить на поленья.

Вот привезли мне дров, свалили. И среди всех — сосновых, еловых, березовых, уже напиленных на чурбаки, — выкатили и скинули такой чурбанище. Такой пнище, что земля вздрогнула, когда это чудовище поселилось у меня на дворе.

С утра по морозцу звонко разлетаются березовые поленья; кряхтя, раздираются еловые; сосновые всяко сопротивляются, но все равно рассаживаются и поддаются. И вот я колол дрова, колол, а сам понимал, что все это у меня — репетиция, все это у меня — учения перед боем,

перед сражением с этим чудовищем, с этим смоляным, перевитым окаменевшими сухожилиями неохватным комлем. Доставало это дерево, наверное, до облаков, облетали его стороной самолеты, отдыхали на нем стаи перелетных птиц. Как его свалили, какой артелью, не знаю. Но мне предстояло порубить его на дрова и превратить скрытую в нем энергию в тепло для жизни.

И вот наступил день, когда я вышел к этому единственному оставшемуся пню в одной рубахе, вооруженный до зубов колуном, клиньями, топорами, и сказал:

— Ты понимаешь, что нам двоим не жить. Или ты — или я. Или ты умрешь — или я умру.

Потом я подумал, что надо с ним по-хорошему, и сказал:

— У меня на дрова больше денег нет.

Пень молчал. Так как все эти дни я на него поглядывал и мысленно примерялся, то стал колуном легонько потюкивать от трещины к трещине. Но это пню было легче щекотки. Я будто по наковальне стучал. Ударил с размаху. Колун отскочил. Хорошо — не в лоб!

У меня были клинья — и дубовые, и два стальных. Я принес из сарая кувалду и вогнал ею клинья по намеченной линии. Но я как будто гвозди вбил, а не клинья. Стальные вошли целиком, дубовые расщепились и погибли.

Так прошло полдня. Обедая, я все время помнил о пне, о его булыжниковом спокойствии. Я полежал. В глазах стоял пень. Надо идти. Пень показался мне еще огромнее. Уже и компромиссы стали мне воображаться: ведь какой хороший — можно устроить из него журнальный столик. Или на нем дрова колоть. Такой монолит, он меня переживет. Но нет, отогнал я капитулянтские настроения, этот монолит должен сдаться, иначе я перестану себя уважать.

— А тебя не перестану, — сказал я пню. — Ты должен погибнуть как боец. Но погибнуть. Иначе как мне жить? Ты чувствуешь, что делаешь меня первобытным охотником, я с тобой говорю, как с медведем, которого надо убить для продления жизни племени?

Пень молчал. У меня были топоры, которые я вогнал по новой намеченной линии. Пень и не крякнул. Я два раза ходил менять мокрые рубахи, пил чай и угрюмо что-то жевал — восстанавливал силы. Солнце пошло на закат.

Спал я плохо. Утром все повторилось. И был момент, когда бы я мог отступить, но вспомнил уроки детства. Я всегда был торопыгой, и мама всегда меня осаживала, говоря пословицу: «Тихий воз на горе будет», — то есть надо все делать помаленьку-полегоньку. Вот я нацелился на выступ сбоку пня и отколол его. Потом другой, третий. Напряжение стиснутости пня ослабевало. Обошел один круг, другой. Уже гора скорченных, перекрученных смоляных поленьев лежала вокруг, а пень все еще был громаден. Но, уже вогнав рядом с прежними еще клин, помассивнее, я достал первые клинья и с их помощью пробил новую линию по нетронутому месту. Стал бить кувалдой, с наворотом, как мы выражались. И пень треснул. Вначале тихо, потом с утробными звуками раздирания телесной плоти. Я загонял в щель все новые клинья и топоры, все бил и бил, и не заметил, когда и как порвал рубаху, но пень, наконец, раздвоился. И потом еще почти весь день я трудился над гигантскими половинами. Потом сложил разделанные в поленья останки пня и поразился величине поленницы.

Великая эта мудрость — помаленьку-полегоньку. Сбоку, с краешку, по щепочке, по лучиночке. Топлю печь, смолой пахнет, и с какой же благодарностью я вспоминаю те дни, когда шла битва с пнем.

Так бы нам во всем — помаленьку-потихоньку. Куда торопиться, ведь не под гору катимся — в гору идем. «Тихий воз на горе будет».

Утя

Когда ему было четыре года, пришла похоронка на отца. Мать закричала так страшно, что от испуга он онемел и с тех пор говорил только одно слово: «Утя».

Его так и звали: Утя.

Мы играли с ним по вечерам в большом пустом учреждении среди столов, стульев, шкафов. В этом учреждении его мать служила уборщицей и ночным сторожем.

Утя не мог говорить, но слышал удивительно. Ни разу не удалось мне спрятаться от него за шкафом или под столом: Утя находил меня по дыханию.

Было у нас и еще одно занятие — старый патефон. Иголки отсутствовали, и мы приловчились слушать пластинку, водя по бороздкам ногтем большого пальца. Ставили ноготь в звуковую дорожку, приникали ухом и терпели, так как ноготь сильно разогревался. Одну пластинку мы крутили чаще других.

Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко круглое, круглое,
Вот колечко с пальчика, пальчика,
Погадай на мальчика, мальчика.

Потом патефон у нас отобрали. Два раза Утя напомнил мне о нем. Один — когда мы шли по улице и увидели женщину с маникюром. Он показал и замычал. «Удобно», — сказал я. Он захохотал. Другой раз он читал книжку о Средневековье, и ему попалось место о пытках, как загоняли иглы под ногти. Он прибежал ко мне, и мы вспоминали, как медленно уходила боль из-под разогретого ногтя.

Утя учился с нами в нормальной школе. На одни пятерки, потому что на вопросы отвечал письменно и имел время списать. Тем более при его слухе, когда он слышал шепот с последней парты.

Учителя жалели Утю. В общем, его все жалели, кроме нас, сверстников. Мы обходились с ним как с ровней, и это отношение было справедливым, потому что для нас Утя был вполне нормальным человеком. Кстати сказать, мы не допускали в игре с Утей ничего обидного. Не оттого, что были такие уж чуткие, а оттого, что Утя легко мог наябедничать.

Мать возила Утю по больницам, таскала по знахаркам. Когда приходили цыгане, просила цыганок погадать, и много денег и вещей ушло от нее.

Ей посоветовали пойти в церковь. Она пошла, купила свечку, но не знала, что с ней делать. Воск размягчился в пальцах. Она стояла и шептала: «Чтоб у меня язык отвалился, только чтоб сын говорил...»

Когда хор пропел «Господи помилуй» и молящиеся встали на колени, она испугалась и ушла. И только дома зажгла свечку и сидела перед ней, пока свеча не догорела. И чем чаще мать ходила в церковь, тем

больше верила, что Утя исцелится. Мы купались, и я его нечаянно столкнул с высокого обрыва в реку. Он упал в воду во всей одежде, быстро всплыл и заорал:

— Ты что, зараза, толкаешься?!

После этого ошалело выпучил глаза, растопырил руки и стал тонуть. Мы вытащили его, он выскочил на берег, плясал, кувыркался, ходил на руках и кричал:

— Цыганочка смуглая, смуглая,
Вот колечко с пальчика, пальчика!
Вот колечко круглое, круглое!
Погадай на мальчика, мальчика!

Говорил он непрерывно, боялся закрыть рот: думал, что если замолчит, то насовсем.

Помню, мы особо не удивились, что Утя заговорил. Мы даже оборвали его болтовню, что было несправедливо по отношению к человеку, молчавшему десять лет.

Утя побежал домой, по дороге называл вслух все, что видел: деревья, траву, заборы, дома, машины, столбы, ворвался в дом и крикнул:

— Есть хочу!

Мать упала без чувств, а очнувшись, зажгла свечку перед недавно купленной иконой.

Утя говорил без умолку. Когда кончился запас слов, схватил журнал «Крокодил» и прокричал его весь от названия до тиража.

Он уснул после полуночи. Мать сидела у кровати до утра, вздрагивала и крестилась, когда сын ворочался во сне.

Утром Утя увидел одетую мать, сидящую у него в ногах, и вспомнил, что он может говорить. Но испугался, что снова замычит или скажет только: «Утя». Он выбежал из комнаты и залез на крышу. Сильно вдыхал в себя воздух, раскрывал рот и снова закрывал, не решаясь сказать хотя бы слово.

Он глядел на дорогу, отдохнувшую за ночь, на тяжелый неподвижный тополь, на заречный песчаный берег, на котором росли холодные лопухи мать-и-мачехи, сверху затянутые тусклой скользкой зеленью, а снизу бело-бархатистые; он видел рядом с крышей черемуху, ее узкие листья с красными сосульками болячек, воробьев, клюющих созревшие ягоды; печную трубу, над которой струился прозрачный жар, — он мог все это назвать, но боялся.

Наконец он вдохнул и, не успев решить, какое скажет слово, выдохнул, и выдох получился со стоном, но этот стон был не мычанием, а голосом, и Утя засмеялся, присел и стал хлопать по отпотевшей от росы железной крыше.

Его мать расспросила нас о том, что произошло на реке, и испекла много-много ватрушек. Мы ели их на берегу, и когда съели, я снова спихнул Утю в воду, тем самым окончательно равняя его со всеми. Он, однако, обиделся всерьез.

В сентябре учителя подходили к Уте, гладили по голове и вызывали к доске с удовольствием, чтобы слышать его голос. Но здесь голоса от Ути было трудно дождаться: он почти ничего не знал, подсказок слушать не хотел и быстро нахватал двоек.

В конце концов учителя стали его упрекать. В ответ он всегда произносил услышанную от кого-то фразу: «Я детство потерял!»

Он и матери так кричал, когда чего-то добивался. Например, появились радиолы, и он потребовал, чтобы мать ему купила.

Радиола стояла у них на тумбочке в углу под иконами.

Мать слушала только одну пластинку, заигранную нами, — о цыганке. А Утя накупил тяжелых черных пластинок и ставил их каждый вечер.

Особенно любил военные песни, которые мать не выносила. Она просила не заводить их при ней, но Утя отмахивался. Когда он садился к радиоле, мать уходила на улицу.

Утя включал звук на полную мощность, и радиола гремела на всю округу...

Упрямый старик

На севере вятской земли был случай, о котором, может быть, и поздно, но хочется рассказать.

Когда началась так называемая кампания по сносу деревень, в одной деревне жил хозяин. Он жил бобылем. Похоронив жену, больше не женился, тайком от всех ходил на кладбище, сидел подолгу у могилки жены, клал на холмик полевые и лесные цветы. Дети у них были хорошие, работящие, жили своими домами, жили крепко (сейчас, конечно, все разорены), старика навещали. Однажды объявили ему, что его деревня попала в число неперспективных, что ему дают квартиру на центральной усадьбе, а деревню эту снесут, расширят пахотные земли. Что такой процесс идет по всей России. «Подумай, — говорили сыновья, — нельзя же к каждой деревне вести дорогу, тянуть свет, подумай по-государственному».

Сыновья были молоды, их легко было обмануть. Старик же сердцем понимал: идет нашествие на Россию. Теперь мы знаем, что так и было. Это было сознательное убийство русской нации, опустошение, а вслед за тем и одичание земель. Какое там расширение пахотной площади! Болтовня! Гнать трактора с центральной усадьбы за десять-пятнадцать километров — это разумно? А выпасы? Ведь около центральной усадьбы все будет вытоптано за одно лето. И главное — личные хозяйства. Ведь они уже будут — и стали! — не при домах, а поодаль. Придешь с работы измученный, и надо еще тащиться на участок, полоть и поливать. А покосы? А живность?

Ничего не сказал старик. Оставшись один, вышел во двор. Почти все, что было во дворе, хлевах, сарае, — все должно было погибнуть. Старик глядел на инструменты и чувствовал, что предает их. Он затопил баню, старая треснутая печь дымила, ело глаза, и старик думал, что плачет от дыма. Заплаканный и перемазанный сажей, он пошел на кладбище.

Назавтра он объявил сыновьям, что никуда не поедет. Они говорили: «Ты хоть съезди, посмотри квартиру. Ведь отопление, ведь электричество, ведь водопровод!» Старик отказался наотрез.

Так он и зимовал. Соседи все перебрались. Старые дома разобрали на дрова, новые раскатали и увезли. Проблемы с дровами у старика не было, керосина ему сыновья достали, а что касается электричества и телевизора, то старик легко обходился без них. Из всей скотины у него остались три курочки и петух, да еще кот да песик, который жил в сенях. Даже в морозы старик был непреклонен и не пускал его в избу.

Весной вышел окончательный приказ. Сверху давили: облегчить жизнь жителям неперспективных деревень, расширить пахотные угодья.

Коснулось и старика. Уже не только сыновья, но и начальство приезжало его уговаривать. Кой-какие остатки сараев, бань, изгородь сожгли. Старик жил как на пепелище, как среди выжженной фронтовой земли.

И еще раз приехал начальник: «Ты сознательный человек, подумай. Ты тормозишь прогресс. Твоей деревни уже нет ни на каких картах. Политика такая, чтоб Нечерноземье поднять. Скажу тебе больше: даже приказано распахивать кладбища, если со дня последнего захоронения прошло пятнадцать лет».

Вот это — о кладбищах — поразило старика больше всего. Он представил, как по его Анастасии идет трактор, как хрустит и вжимается в землю крест, — нет, это было невыносимо.

Но сыновьям, видно, крепко приказали что-то решать с отцом. Они приехали на тракторе с прицепом, стали молча выносить и грузить вещи старика: постель, посуду, настенное зеркало. Старик молчал. Они подошли к нему и объявили, что, если он не поедет, его увезут насильно. Он не поверил, стал вырываться. Про себя он решил, что будет жить в лесу, выкопает землянку. Сыновья связали отца: «Прости, отец», — посадили в тракторную тележку и повезли. Старик мотал головой и скрипел зубами. Песик бежал за трактором, а кот на полдороге вырвался из рук одного из сыновей и убежал обратно в деревню.

Больше старик не сказал никому ни слова.

Объявления на столбах

Кажется, в Тюмени, услышал я об одном подростке. И он никак не уходил из памяти. Хотя случай самый, к несчастью нашему, обычный — его родители жили немирно друг с другом, ссорились, дело шло к разводу.

Мальчик любил родителей и очень, до слез, страдал от их ссор. Но и это их не вразумляло. Наедине с каждым из них мальчик просил их помириться, но и отец, и мать говорили друг о друге плохо, а мальчика старались привлечь на свою сторону. «Ты еще не знаешь, какой он подлец», — говорила мать, а отец попросту называл ее дурой. И вскоре уже и при нем они всячески обзывали друг друга, не стесняясь в выражениях.

О размене квартиры они говорили как о деле решенном. Оба уверяли, что мальчик ни в чем не пострадает: как была у него тут отдельная комната, так и будет. С кем бы он ни жил. И что он всегда сможет ходить к любому из них. Они найдут варианты размена в своем районе, не станут обращаться в газету, а расклеят объявления сами, на близлежащих улицах.

Однажды вечером мать пришла с работы и принесла стопку желтых листочков с напечатанными на них объявлениями о размене квартиры. Она велела отцу немедленно идти их расклеивать. И клей вручила, и кисточку.

Отец тут же натянул плащ, схватил берет и вышел.

— А ты — спать! — закричала мать на сына.

Они жили на первом этаже. Мальчик ушел в свою комнату, открыл окно и тихонько вылез. И как был, в одной рубашке, побежал за отцом, но не стал уговаривать его не расклеивать объявления — он понимал, что отец его не послушает, — а крался, прячась, позади него и следил. Замечал, на каком столбе или заборе, или на остановке отец прилеплял желтые бумажки, выжидал время, подбегал к ним и срывал. С нена-

вистью комкал объявления, рвал, швырял в урны, топтал ногами, как какого-то гада, или бросал в лужи книзу текстом. Чтоб никто не смог прочесть объявления.

Так же незаметно вернулся он в дом. Наутро затемпературил, закашлял. С ним родители сидели по очереди. Он заметил, что они перестали ругаться. Когда звонил телефон, снимали трубку, ожидая, что будут спрашивать о размене квартиры, но их никто ни о чем не спрашивал.

Мальчик специально не принимал лекарства, прятал их, а потом выбрасывал. Но все равно через неделю температура спала, и врачиха сказала, что завтра можно идти в школу.

Он подождал вечером, когда родители уснут, разделся до майки и трусов и открыл окно. И стоял на сквозняке. Так долго, что сквозняк и они почувствовали. Первой что-то заподозрила мама и пришла в комнату сына. Позвала отца. Мальчику стало плохо. Он рвался и кричал, что все равно будет болеть, что пусть он лучше умрет, но не даст им разменивать квартиру, не даст им разойтись. Он бился в приступе рыданий.

— Вам никто не позвонит! — кричал он. — Я все равно сорву все объявления! Зачем вы так? Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда вы все врали, да? Врали, что будет сестричка, что в деревню все вместе поедем, врали? Эх вы!

И вот тогда только его родители что-то поняли.

Лист кувшинки

Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую или там грузинскую, японскую, арабскую пищу, или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг с годами стал замечать, что мне очень небезразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелетов, но успокаиваю себя тем, что это, по крайней мере, гигиенично.

Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский? Не все ли равно, из чего насыщаться, лишь бы насытиться. И уж тебе ли, это я себе, видевшему крайние степени голода, думать о форме, в которой подано питье или пища?

Не знаю, зачем зациклился вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но завали меня всем этим с головой, все равно победит то лето, когда я любил библиотекаршу Валю, близорукую умную детдомовку, и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники — вот они, под ногами. Я-то что, я хлопнулся на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал ее ладошкой и предлагал возлюбленной.

— Нет, — сказала Валя, — я так не могу. Мне надо из чего-то.

И это «из чего-то» явилось. Я оглянулся — заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул под обрыв, прямо в ботинках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнес любимой.

Она напилась. И мы поцеловались.



ВЛАДИМИР СКИФ

И с неба рухнула весна

Хриплое дерево

Видел я хриплое дерево:
В нем раздавался не скрип,
Но и не шелест размеренный,
А человеческий хрип.

Дерево темное, бурое,
Будто в засохшей крови,
Гнулось под ветром, понурое,
Гнило вдали от любви.

В небо смотрело воронами,
Смертную тайну храня.
Тяжкими хрипами, стонами
Часто пугало меня.

Что в нем таилось и кашляло,
Билось, как сотня оков?
Тайна ли спряталась страшная,
Или сомненье веков?

Я к нему душу примеривал —
Выспросить, что в нем и как?
И прохрипело мне дерево:
— Я твоя совесть, дурак!

* * *

Двери не заперты. Выйду из дома.
Брошусь, как в воду, в траву.
Свет из земли полыхнет незнакомый.
— Кто там? — страшась, позову.

Кто там? Быть может, далекие предки
Светят величьем своим.
Райская птица воспрянет на ветке,
В небо — и пламя, и дым.

Кто там? И выйдет из недр
Радонежский,
Явится Дмитрий Донской,
Князь Александр появится — Невский, —
Скажет с душевной тоской:

— Что же ты пал, богатырь, среди поля,
Где твой норовистый конь?
Где твоя доля? И в поле доколе
Меч не поднимет ладонь?

Сердится Сергий: — Отчизну забыли,
Продали вечную Русь?
Пели, речами трезвонили, пили:
Вот вам и нерусь, и гнусь

Встала над вами и треплет Россию,
Мера запретов пуста.
Душу России, как плоть, износили,
Нет ей Пути и Креста.

Дмитрий Донской, низко долу склоненный,
Старцу в ответ произнес:
— Как же виниться земле полоненной,
Коли ей путь — на погост!

Встанем за правое русское дело,
Мы ли не бились за Русь?
Отче, направь мое бренное тело,
Я до Москвы доберусь.

Невский воздел в небеса свои руки:
— Благослови нас, Господь!
Все на своя возвращается круги:
Битвы и дух наш, и плоть.

И осенил их крестом Радонежский,
Затрепетала земля,
И оказались Донской вместе с Невским
В Красных воротах Кремля.

Палица

Время зыбкое в небе провалится,
И оттуда, из темных высот,
Древнерусская вылетит палица
И гулять по России пойдет

Уж она-то пойдет, позабавится,
Потревожит Великий Устюг,

И в Москву воровскую направится,
Приголубит воров и бандюг.

Пусть побитые Богу пожалятся,
Если кто-то из них оживет...
Бог простит,
может быть,
ну, а палица
Самых подлых искать поплывет.

Всех приветит, и всем им отвалится
По заслугам.
И дай-то Господь,
Чтоб железная русская палица
Прилетала народ прополоть.

Снегири

Плеснула вьюга по соседству
С моим окошком, и в окно
Я вдруг свое увидел детство,
Как в неожиданном кино.

Вот дом родной, тайга густая,
Неосвещенная внутри,
Но там на ветках расцветают,
Как будто маки, снегири.

Они летят в морозном утре
В заиндевелый белый двор,
Где до земли развесил кудри
Густого инея забор.

А солнце падает на крыши,
И еле виден бокогрей.
Я на крыльцо из дома вышел,
Чтоб встретить алых снегирей.

А снегири в снегу искрились
И, развеселые с утра,
Как будто пламя, завихрились
Среди морозного двора.

Клубилась пламенная стая
Костром, аж вспыхнула сосна.
И снег от пламени растаял,
И с неба рухнула весна.



ПЛАТОН БЕСЕДИН

День Победы

Рассказ

В такую жару лучше всего ехать троллейбусом. Иначе — не выжить. Душно, жарко. А в старом троллейбусе — почти благодать, столько щелей, что дует, кажется, отовсюду. Можно высунуть голову в окно и так спастись от майских плюс тридцать.

Сколько же будет в июле? Раскочегарится солнце, приедут туристы, и станет вовсе невмоготу. Туристы почему-то всегда приезжают в Севастополь в июле. Умирать от зноя, купаться в подогретом молоке Черного моря, покупать втридорога фрукты. Если и отдыхать в Севастополе, то в мае или в сентябре. Лучше, наверное, в сентябре. Потому что в мае вода еще не прогрелась. Это мне вчера после водки казалось, что она прогрелась, а сегодня — заложенный нос и опухшее горло.

Но ехать все равно хорошо. Дребезжа стеклами, скрипя рессорами, троллейбус ползет в горку. Справа — кирпичное двухэтажное здание, увитое плющом. Слева — мой родной университет. К нему ведет кипарисовая аллея, названная студентами «Дорогой жизни»; то ли из-за сессий, то ли из-за ветров. Раньше здесь был ларек с книгами, а сейчас — гастрономы, бары и палатки с шаурмой.

Выхожу на улице Меньшикова. Федор Меньшиков сражался против фашистов и погиб в последние дни второй обороны Севастополя. Его нет в «Википедии» — там только актер Олег, князь Александр, писатель Михаил и рэпер Андрей, известный как «Лигалайз», — но он есть на кубическом обелиске среди так называемых зеленых насаждений. Возле них сворачиваю на улицу Репина. Иду через дворы, мимо хрущевки, на первом этаже покосившиеся буквы складываются в надпись «ГАСТРОНОМ». Тут, и правда, был гастроном. Школьниками мы покупали в нем жареные пирожки с рисом и яйцом. Теперь здесь магазин живого пива и разливных вин.

У входа лузгают семечки мужики. Прикидывают, чем опохмелиться. Один — тот, что с деньгами, — рвется домой. Его держит мужик с Иисусом Христом на брюхе. Брюхо студенистое, изображение нечеткое. Да и сам мужик весь какой-то расхристанный.

Срочно опохмелиться, но не здесь. Пройти триста метров в кафе «Черноморочка». На двери висит поздравление с Днем Победы, написано от руки красным маркером. За дверью — пустота с запахом рыбы. Барменша атакует сразу, не дав прицениться:

— Вам чего?

— Пива.

— «Рогань» или «Сармат»?

— «Рогань».

— А «Сармата» все равно нет, — пенная жижа медленно лезет в стакан. — К пиву бычков не желаете?

— Давайте.

Удивительная женщина: предложила бы кредит — взял бы.

Из-за рыбной вони пью на улице. Сворачиваю голову бычку, расслабляюсь. Ненадолго. Чужая рука — бледно-красная, взопревшая, точно креветка в супермаркете, — на моей руке.

— Брат, дай на опохмел, а...

Рука-креветка принадлежит мужику в синей панаме. Лезу в карман, протягиваю мятые купюры, не успевая рассмотреть номинал. Судя по тому, что мужик спокоен, номинал не велик.

— Спасибо, брат! С праздником! С Днем Победы!

— И вас.

После львовского пива и черноморских бычков отыскать нужный подъезд — не проблема.

Валерий Абрамович живет на третьем этаже, квартира номер 24. Поднимаюсь быстро, чтобы не пропитаться миазмами сырости и мочи. На лестничной площадке, между вторым и третьим этажом, валяются шприцы. В пластиковых колбочках — остатки крови. Кровь и на стене, изрисованной свастикой.

Дверь, обитую старым кожзамом, открывает старик, высохший, сгорбленный, с коленями в разные стороны. На нем праздничный мундир, увешанный орденами, похожими на медяшки леденцов. Из квартиры прет затхлостью.

— Алексей? — голос у старика тихий, усталый.

— Здравствуйте, Валерий Абрамович, с праздником вас!

— Спасибо, проходите...

Валерий Абрамович семенит вглубь квартиры. Обои на стенах бледно-желтые, чахоточные, точно у Раскольникова в комнате-шкафу; углы отвоевала черная плесень. Одна из стен занята полками с книгами: классика, философия, коммунизм, но больше всего книг о войне, вроде «Они сражались за небо» Покрышкина или «В походах и боях» Батова. Среди книг — небольшой бюст Сталина.

Рассаживаемся.

— Ну, — Валерий Абрамович старается устроиться в кресле поудобнее, — с чем пожаловали?

Повторяю то, что сказал ему в телефонной беседе. Задание главреда — подготовить материал о том, как ветераны встречают День Победы.

— Как встречаю? Сами видите... вот школьники приходили, — показывает на пять красных гвоздик в банке.

Надо было купить цветы. Почему не купил?

Валерий Абрамович говорит, будто извиняется. Теребит руками край застиранной скатерти. Руки у него в набухших венах, словно пластиковые трубки капельниц.

— Недавно жену схоронил. Прожили пятьдесят восемь лет, и схоронил. Умерла два месяца назад. Дочка приехала, говорит, давай, папа, к нам, — они с мужем и внуками в Саратове, — но я не хочу. Тридцать шесть лет прожил здесь, здесь и умирать. Скорее бы...

— Ну что вы, Валерий Абрамович, вам еще жить и жить...

— Это вам, молодым, жить. Вы, Алексей, женаты?

— Был...

Вспоминаю развод после года брака: упреки, обвинения, суд и жуткую бородавку — спелая черная шелковица, вся из крошечных гранул — на переносице судьи. Когда спрашивают — отвечаю стандартно: не сошлись характерами.

Но Валерий Абрамович не спрашивает. Он предлагает чаю, хочет встать. Руки и голова его трясутся. Успокаиваю, прошу сесть.

Надо было купить что-то к чаю. Почему не купил?

— Валерий Абрамович, расскажите, как воевали, пожалуйста.

— Да, да, конечно, — он мнется, — мне только надо принять лекарство...

— Вам подать?

— Я сам, — он, скорчившись, поднимается, — пока сам.

Берет с полки таблетку, глотает, запивает мутной водой из грязного стакана. Говорит:

— Пока вспомнил, потом забуду. Раньше Люсенька контролировала, а теперь некому. Учет вела, — протягивает мне тетрадку, в ней записи мелким убористым почерком, — когда и что я принял. Вы о боевом пути спрашивали...

Валерий Абрамович медленно опускается в кресло. Бледнеет, вытягивает ноги толщиной с мою руку. Растирает колени, начинает рассказ.

— Родился в селе Заплавное, под Сталинградом. Отца как «врага народа» арестовали в тридцать девятом. Отправили в поселок Ягодное под Магаданом. Больше отца не видел. Двадцать второго июня стук в избу. Началась война.

Мать пошла санитаркой в госпиталь. Под него оборудовали школу. Стало негде учиться, решили собираться в амбаре. Читали, считали под керосинкой. Потом учителя, Абрама Яковлевича, арестовали.

Позже в Заплавном командировался полк. Прибился к солдатам. Пошел добровольцем на фронт, в Сталинград. Голод, холод, руины, трупы. Все время было светло, даже ночью. Непрерывно обстрелы и бомбежка. Когда наши стали давить, потерял бдительность — контузило минометным осколком.

Госпиталь. Смрад, крики. Негде хоронить трупы. Выздоровел, на фронт. Пленен под Данцигом. Четыре месяца в немецком концлагере. Пытки, голод. Из полицаев особенно зверствуют мадьяры.

Когда фашисты поняли, что проиграли, стали расстреливать заключенных. Спас немец Пауль: вывел за ворота, думал, что ему зачтется. Может, и зачлось.

После фашистского плена — проверки на благонадежность. Молодой лейтенантик с усиками щеткой решил, что неблагонадежен. Вновь — концлагерь. Теперь уже родной. Восемь лет лагерей. Амнистировали при Хрущеве.

Женился, служил на флоте. Все время переезды. Благовещенск, Куйбышев, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск. Родились мальчик и девочка. Спать негде. Спят в чемодане. Много клопов. Коммуналки, коммуналки.

Потом, наконец, дали двухкомнатную в Севастополе. Эту. Демобилизовался из-за сталинградской контузии. Устроился работать в институт. Дочь вышла замуж, удачно, живет в Саратове. Сын женился, неудачно, где-то на Севере.

Жили вместе с Люсенькой. Доживали. А теперь одному доживать. Без нее...

Для статьи вполне хватит. Выйдет на одной полосе с рекламой средства от геморроя или анонсом очередного целителя. Но лучше написать рассказ. Или повесть. Для себя. Для него. Хочется, требуется писать вновь. Спустя два года после клятвы не прикасаться к литературе.

Нет, я не забыл усмешек знакомых, издевок жены, отказов журналов. Бессонницу, форточку, сигареты. Не забыл ощущения затравленности. Когда те, кто не смог выучить таблицу умножения и прочесть букварь, становились хозяевами жизни. И мне было пора, но я все не решался, идеализировал, а потом уже и не мог.

Неужели опять? Ведь обещал себе. Убеждал, доказывал, клялся.

Надо уйти, бежать от старика, избавиться от его прошлого, которое так настойчиво, как агент сетевого маркетинга, лезет в мое настоящее. А он, избавленный от одиночества, все говорит. Наверное, принимает мое смятение за сочувствие.

— Днем, Алеша, тяжесть собственного тела, а ночью — тяжесть мыслей. И почему-то одна мерзость в голову лезет. Не спишь, ворочаешься. И все как на ладони: что сделал плохого и чего хорошего сделать не смог...

Замолкает. Выражение лица становится еще более извиняющимся.

— Простите старика — разоткровенничался, — все понимает. — Вам, наверное, пора?

— Да, пожалуй, пора.

Поднимаюсь. Валерий Абрамович встать не может. Придерживая за локти, помогаю подняться. Он пахнет, как застоявшаяся в раковине вода. Начинает подташнивать. Хочется быстрее домой, сидеть за бутылкой вина, расслабляться.

Холодильник «Минск» в прихожей шумит и мешает прощаться. Впрочем, тем легче — избавляет от необходимости быть многословным.

— Спасибо, Валерий Абрамович, — топчусь в дверях. — Выйдет заметка — пришлю. Или зайду...

— Лучше зайдите, — он смущается, — почта что-то плохо работает.

— Хорошо, зайду, а вы, — подбираю слова, — не болейте, держитесь. Здоровья, долголетия вам.

— Упаси Бог, Алеша, — отмахивается, — нет сил жить. Скорей бы. Понимаете?

Он сжимает мне руку. Вздрагиваю от неожиданности. Руки у него сухие, холодные, безжизненные. Взгляд, наоборот, цепкий, пристальный, испытующий. В нем читается ясная мысль, которой он живет последние месяцы. Он давно все решил для себя. Потому и отверг предложение дочери переехать.

— Понимаю, зайду...

Мои слова звучат как обещание. Чего-то более весомого, нежели просто зайти.

Улица, раскатывающая духотой и зноем. Будто ползешь в свежесваренном киселе. Ничего, кроме горечи во рту, мыслях, ощущениях.

Отчего живу так бессмысленно? Отчего изо дня в день малодушничаю? Вечером уверяю себя, что надо быть сильным. Утром просыпаюсь, молюсь, ем — держусь. Но одна лишь мелодия, взгляд — и сломано все прежнее, решительное. Чужое это все, не мое, не со мной, не отсюда. И оцепенение, парализующее, убийственное. Подари, Господь, утешение. Или хотя бы Суд Твой. Чтобы быстрее все это закончилось.

А ведь ему, старику, еще хуже. И надо помочь. Он только того и ждет. Потому и не спит. Вернуться — исполнить безмолвную просьбу. Не потом — сейчас.

Открывая дверь, он суетится с цепочкой. Наконец справляется.

— Вы что-то забыли, Алексей?

Смотрит настороженно, будто вот-вот решится на нечто действительно важное. Пытаюсь улыбнуться.

— С праздником, Валерий Абрамович, — протягиваю букет полевых цветов, — давайте, может, чаю попьем, я печенья купил...

Из глубины квартиры приглушенно доносится: «Этот День Победы порохом пропах, это праздник со слезами на глазах...»

И правда, сегодня день победы. Теперь уже и моей.



МАРИНА ВОЛКОВА

Под светлой Полярной звездой

Слово

Наши души нельзя умертвить ни металлом, ни током,
Не распять на кресте, не купить посуленною мздой.
Между Западом грубым и алчным, зломудрым Востоком
Русский Север сияет под светлой Полярной звездой.

И покуда над Русью рождаются новые зори,
Божье Слово в стихах произносится громко и вслух;
Ни горящий Кавказ, ни китайское Желтое море
Не сумеют сломить этот вольный, светящийся дух!

Каждый слышащий рано иль поздно срывает оковы,
Голос крови услышав, что в венах кипит, горяча;
И кидается в бой, повторяя заветное Слово,
Что разит всех врагов лучше пули и пуще меча!

Русь моя снежная

Русь моя снежная, край мой березовый!
Зоренька нежная дымкою розовой
Небо окутала, лес опоясала,
Красная девица, зоренька ясная!
Как по морозу пройду я, румяная,
Будут березы да сосны багряные
Все мне навстречу тянуться да кланяться...
Бел тихий вечер. Лишь зорька румянится.
Ветви хрустальные спят, не колышутся,
Песня печальная тянется, слышится...
Долго ль до ночи? А песня старается,
Звездные очи в ночи загораются,
Падают звезды на тропочку узкую...
Песню послушать душевную, русскую
Тянутся люди, выходят на улицу,
Свет-белый Месяц на счастье нам щурится.
Ладно на сердце. Душа успокоится,
Скрипнет ли дверца, калитка откроется —

В белой тиши, непроглядно завьюженной,
Выйдет ко мне ненаглядный мой суженый.
Я обниму его, жаркая, нежная...
Край мой березовый, Русь моя снежная!..

* * *

Желтое поле. Тихий пейзаж осенний
В старенькой раме маленького окна.
Солнце заходит, и на краю деревни
Красные сосны дремлют под властью сна.

Небо все ниже. Медленно кони-тучи
Ходят по краю, щиплют траву с полей.
Алый шиповник, что на Купальской круче,
Тонет в закате. Ближе к земле — теплей.

Черную землю дождика прочно нити
К небу пришили. И, говоря со мной,
Горечь не бывших, память былых событий
Волхов смывает вольной своей волной.

Рано темнеет, вновь улетают птицы,
Каждый взмах крыльев приумножает грусть.
В огненном злате, словно сама царица,
Их провожает в поле осеннем Русь.

А над рекою белых березок свечи
Тщетно сгорают в ярком зари огне.
В Ладоге осень. Теплый дождливый вечер,
Словно целитель, душу врачует мне...

Хочешь, спою колыбельную?

Хочешь, спою колыбельную?
Тяжек твой сон,
Болью терзается тело, тоскою — душа.
Слышишь ли льдинок в колодце серебряный звон?
Чуешь ли ветры, что мчатся, ярясь и спеша?
Белой волчицей под окнами кружит метель,
Воет, сердечная, горько глядит на луну.
Дай я поправлю измятую за ночь постель,
Тихо спою, не нарушив в ночи тишину.
Долгие зимы унылы, а весны — красны,
Сколько их было у нас — не вернуть уж назад.
Сколько проспал ты кругов от весны до весны,
Сколько желаний осыпалось звездами в сад...
Летом в дубравах могучие кроны шумят,
Рожь на полях колосится, цветут васильки.

Мечешься, бедный мой, сонной отравой объят,
Не выпуская во сне моей тонкой руки...
Знаешь, у Солнца — божественно огненный взор!
Птицы в лесу — словно нежного Леля свирель!..
Солнце тебе заменяет теперь монитор?
Пение птиц — телефона протяжная трель?..
Как же давно не бывал ты в привольном лесу!
В душной коробке живешь, а ведь были — дворцы!
Воли бы сердцу! Увидеть бы мира красу
Под гору в тройке! Звенят под дугой бубенцы,
Ветер свистит за спиною, мой призрачный брат,
Косы мне треплет, целует, шутя, да и пусть!
Хочешь, поедем сейчас же с тобой в Китеж-град,
Там до сих пор изначальная, светлая Русь
В прежнем величье!
Не то, что у вас на Москве, —
Звонницы все задохнулись, их сдавленный стон
В смрадном дыму не пробьется к святой синеве.
Наша-то Явь будет краше, чем твой вечный сон.
Бедный! Я вижу, как душит тебя лютый страх,
Как ты боишься моих непонятных затей.
Нет, мы с тобой не живем в параллельных мирах,
Просто во сне ты не видишь заветных путей.
Просто во сне убиваем мы душу свою,
Капля за каплей и жизнь выпиваем до дна.
Спи, коли спится, а я тебе песню спою,
Долю спряду — будет доля щедра да ладна.
Ниточка тонкая, ладушка, только тянись!
Слышишь меня?
За окном белых вьюг круговерть...
Больше не слышишь?
Проснись же скорее, проснись!
Сон твой недужный — при жизни досрочная смерть.





НАТАЛЬЯ РОМАНОВА

Бегущая через жизнь

Рассказы

Свадебный костюм

Костюм был хорош. Как произведение искусства. Словно его сотворил не портной, а изваял скульптор. Взял ткань, отсек все лишнее, и получилось швейное чудо.

Лукерья Петровна, увидев костюм, расплакалась. Мозолистой рукой она вытирала нечаянные слезы. Сила крепкой материной руки была ой как знакома Лешке. Если она шлепала его по мягкому месту, то словно припечатывала разделочной доской.

Видя материны слезы, Лешка не знал, как себя вести. Он переминался с ноги на ногу и неуклюже улыбался.

— Ну, чего лыбишься? — Афанасий Петрович беззлобно и небольно ткнул кулаком в плечо племянника, и Лешка слегка покачнулся. — Еле на ногах стоит! Худина ты этакая!

— Хорошо, что не скотина! — Лешка рассмеялся от своей находчивости. — Дядя Афанасий, ты который год живешь в городе, а все наши словечки употребляешь.

— Ты прав, Лешка, деревню из меня не вытравить. Нравится костюм-то? А то матушка твоя рыдает, как по покойнику.

— Афонька, ну тебя! — Лукерья отвернулась и вытерла слезы. — Скажешь тоже. Лешка, а ты чего дядечке своему не благодарствуешь? Кланяйся, кланяйся!

— Лукерья, да полно тебе! Поклоны это раньше барам отвешивали, а мы советские люди, и нам замашки крепостнического *устроя* ни к чему.

— Как не нравится, дядя Афанасий? Как не нравится? Очень нравится! Аж дух захватывает!

Лешка провел рукой по пиджаку:

— Гладкий!

— А где ты занозистый костюм видел? — прыснул Афанасий Петрович.

Лешка снова погладил рукой пиджак.

— Чего ты его наглаживаешь? — заругалась Лукерья Петровна. — Пятно поставишь!

— Руки чистые, — Лешка на всякий случай еще раз обтер их о штаны.

— Чистые! А земля под ногтями!

Лешка хотел что-то возразить, но зная, что матери перечить нельзя, передумал.

— Сходить руки помыть?

— А чё их мыть? Хоть мой, хоть не мой, а костюм больше не лапь.

— Здрассьте! — Афанасий Петрович удивленно посмотрел на сестру. — А мерить как?

— А чего костюму примерки устраивать? И так видно, что ладно будет.

— Нет, примерить надо. Вдруг он Лешке мал?

— Похудеет! — отрезала Лукерья Петровна.

— А вдруг большой?

— Отожрется.

— Лукерья, но ведь...

Лукерья Петровна не дала брату договорить:

— Костюм не дам надевать. Уберу в сундук — пусть там лежит до свадьбы. Начнет надевать на себя — порвет или пятно поставит. Чё ли я сына родного не знаю? Давеча надел новую рубаху, со ступеней стал спускаться и навернулся. И чё ты думаешь, Афанасий? Порвал! Порвал, стервец! У меня сердце слезою изошлось. А ему хоть бы хны!

Лешка долго не забудет тот подзатыльник за порванную рубаху — уж слишком от души он был подарен матерью! Сейчас он и не пытался просить надеть костюм — все равно не даст! Рассвирепеет еще больше и не только порванную рубаху припомнит...

Целую неделю шли смотрины костюма. Приходили соседки с дочками, и каждый раз Лукерья Петровна с важностью, неторопливо открывала сундук, доставала из него небольшой тюк, развязывала его и демонстрировала всем костюм.

— Хорош! — охали бабы.

— А ткань-то! Как называется?

— Хишимир, — со знанием дела отвечала Лукерья.

— Щедрый у тебя братец! Город не испортил мужика нашего, деревенского.

— А Лешка-то, наверное, совсем красавец в такой одежке!

— Придет время — наденет! До женихов еще не дорос.

— Не скажи, Лукерья! Скоро осьмнадцать годков.

— Жениться — дело нехитрое. По душе жену выбирать-то надо.

— Ему Мария нравится, — сказала Дашка, дочь Аграфены Кузовлевой, — только, тетка Лукерья, я не выдавала вам Лешку!

— Мария? — вскинула бровь Лукерья. — Что за Мария?

— Тимохи дочь.

— Тимохи? Пьяницы тово?

— Так Мария не пьет. Тихая. Скромная.

— Не дам я ему на свадьбу с дочкой Тимохи костюм! Другую найдет! И вообще, чё разговор про свадьбу завели? Поговорить не о чем? Разглядели наряд? Убираю его.

Бабы провожали костюм печальным взглядом. У их-то сыновей не будет таких костюмов на свадьбу, и у дочерей навряд ли женихи будут щеголять в таком виде.

Время от времени Лукерья открывала сундук и смотрела на костюм. Представляла, как женит сына, какой Лешка будет справный жених, как на нем будет сидеть этот костюм.

Лешка и сам тайком от матери разглядывал костюм. Он думал о Марии, что непременно женится на ней. Ему очень хотелось примерить костюм, но было как-то боязно. Он даже, чтобы не искушать себя, придумал, что если наденет костюм, то не женится на Марии, потому крепился и глушил свое любопытство.

Война стала бить по всем и сразу. Алексея Волобуева призвали на фронт одним из первых в деревне: в мае ему исполнилось восемнад-

«Сябрына»: Беларусь — Россия

цать лет. Друзья, которым было чуть меньше, и по возрасту их не брали в армию, завидовали Лешке и по-белому, и по-черному.

Каждое письмо, приходившее с фронта, читали хором на бабий лад — с причитаниями и присказками.

— Чтоб ни дна ни покрышки супостату этому, Гитлюре проклятой!..

— Робятки наши гибнут, поля засеваем — кто исть будет?..

— Немец к Москве рвется. Боюсь я, бабоньки: ну как возьмут ее?

— Типун тебе на язык, дура! — Лукерья Петровна замахнулась полотенцем на Аграфену. — Не взять им Москвы! Руки не той длины.

Первая похоронка в деревне пришла в дом Тимохи: погиб смертью храбрых. Так было написано на маленьком листочке, который крутила в руках его дочка Мария. Жизнь ее теперь разделилась на две половины — с отцом и без отца.

— Прости нас, Тимофей. Мы все «пьянь» да «пьянь» на него, — говорили бабы, — а он погиб геройски!

— Ты заходи, Машенька, заходи ко мне, — Лукерья Петровна неловко приобняла Марию, — даст Бог, невесткой станешь. У нас и костюм на свадьбу есть. Война кончится, придет Алексей с фронта — поженю вас. Знаешь, какую свадьбу устроим!

— Пришел бы только, — тяжело, по-бабьи вздохнула семнадцатилетняя Дашка, подружка Марии, но Лукерья посмотрела на нее так грозно, что та быстрехонько спряталась за широкую спину Аграфены.

Мария почти каждый вечер стала заходить к Лукерье. Долгими часами они вспоминали Лешку. А в мечтах о свадьбе иногда разворачивали скатерть, в которую был завернут костюм, и подолгу смотрели на него.

Последнее письмо от сына Лукерье пришло в ноябре...

Погиб рядовой Алексей Волобуев, защищая Москву, чтобы ни одна бабонька в деревне больше не боялась, что возьмут немцы столицу России.

Когда пришла похоронка, первые слова, какие сказала Лукерья, были о костюме:

— Так ни разу и не надел.

Мать не знала, что это были последние слова ее сына. Больше она не открывала сундук, чтобы полюбоваться на костюм.

И вот пришла долгожданная победа, выкованная подвигами сыновей и молитвами матерей. В деревню стали возвращаться мужики, кому было суждено остаться в живых. Зарождалась новая мирная жизнь.

— Тетка Лукерья, приходи к нам в субботу, — сказал Ванька Свиридов, проходя мимо колодца, где она набирала воду. — Свадьба у меня.

Лукерья Петровна молча кивнула, хотя знала, что не пойдет. Слово «свадьба» обожгло ее сердце. Никогда ей не женить своего Лешку.

— Тетка Лукерья, — постучался вечером к ней в дверь Ванька, — я чего пришел...

— Раз пришел, так говори.

— У Лешки костюм был. Помните?

Как ей было не помнить?

— Тетка Лукерья. Лукерья Петровна. Я понимаю, что... Но свадьба у меня.

У самой суровой в деревне женщины вдруг хлынули слезы. Она склонилась на стол и зарыдала так, что у Ваньки подкосились ноги.

— Тетя Луша... — Он подошел к ней и робко положил руку на плечо. — Простите меня. Сдуру я так. Я ведь и в гимнастерке могу. Простите.

На следующий день Лукерья Петровна пришла в дом Свиридовых. В руках она держала сверток. Костюм жениху пришелся впору.

Потом играли свадьбу у Кривобородовых. Костюм жениху был большеват, но на это не обращали никакого внимания.

А потом у Разуновых, а потом у Ногаевых. И даже из соседних сел и деревень приходили за этим костюмом на свадьбу. Слух прошел по всей округе, что тот, кто женился в Лешкином костюме, живет счастливо, весело, с женой в ладах и детишки хорошие рождаются.

— Не жалко костюма-то? — спросили как-то у Лукерьи бабы. — Память о Лешке все-таки.

— Так они все — мои Лешки. Вон у меня их сколько! — кивая на пробегающую ребятню, ответила Лукерья Петровна.

Говорят, в тех местах до сих пор женятся в Лешкином костюме и живут долго-долго и счастливо-счастливо.

Приходите послезавтра

— Как, вы не знаете, чем знаменита Ельцовка? — Алла чуть не выронила бутерброд с колбасой.

— Представьте себе, нет! — нисколько не смутился Анатолий Михайлович, ее попутчик.

— Смотрели фильм «Приходите завтра»? Про Фросю Бурлакову.

— Разумеется! И что?

— Эта самая Фрося приехала поступать в институт Гнесиных из Ельцовки. Мало того, сама Екатерина Савинова родом из нашего села!

— Это ведь она играла Фросю Бурлакову?

— Так и я об этом. Они обе из Ельцовки. — Алла принялась доедать бутерброд.

Поезд остановился посреди леса и, постояв пару минут, вновь отправился в путь.

— Незавидная судьба у этой актрисы. — Анатолий Михайлович грустно посмотрел на Аллу. — Вот и вам хочется стать актрисой, а что хорошего в этой профессии, что?

Алла отмахнулась. Ей уже было лень объяснять всем и каждому, что если не быть артисткой, то уж лучше вообще никем не быть.

— Нет, вы ответьте, — настаивал Анатолий Михайлович, — что хорошего-то? Смоется глянец сразу же после получения диплома. Ходят, мыкаются, роли выпрашивают. Каждую секунду звонка ждут. А когда-то, наверное, как и вы, об «Оскаре» мечтали, звездами себя мнили.

«Вот разнылся!» — с тоской подумала Алла.

— Хочу быть актрисой — и точка! — Она отвернулась к окну, давая понять, что разговор окончен.

Из Ельцовки семья Трояновских переехала в Тобольск, когда Алле едва исполнился год, но она гордилась тем, что родилась в одном селе с известной актрисой.

Тобольск — старинный красивый город. В Петербурге Петр Первый в начале восемнадцатого века только собирался восстанавливать театр, а в Тобольске уже вовсю шли первые спектакли. Это и многое

другое Алла знала из лекций по истории театра: она занималась в театральной студии. Своим руководителем — Сергеем Витальевичем Бондарем — ребята очень гордились. Он учился когда-то в Щукинском училище и знал многих известных людей. Да и сам Бондарь — весьма колоритная фигура. Густая до пояса борода, зычный голос и балахон самого последнего размера, потому что Сергей Витальевич имел непотопляемый вес.

А еще в Тобольске родился самый любимый актер Аллы — Александр Абдулов, с участием которого она просмотрела все фильмы. Жаль, не удалось увидеть его вживую в театральной постановке.

Когда Трояновская нашла в газете объявление, что набирают в театральную студию, было уже поздно: газета оказалось безнадежно устаревшей. «А вдруг?» — подумала Алла и ринулась по означенному адресу.

Студия располагалась во Дворце культуры. Алла поднялась на третий этаж по мраморным лестницам, прошла по узкому длинному коридору, нашла комнату номер тридцать. За дверью было шумно. Ругаются они, что ли? Она подождала немного, потом все же решилась постучать. На стук никто не отреагировал, вероятно, его просто не услышали. Тогда Алла вошла без приглашения и чуть не захлебнулась в неистовом сигаретном дыму.

— Ну и дымоган тут у вас! — закашлялась Алла.

— Почему посторонние? — закричал грузный бородатый дядька из кресла.

— Простите, мне бы режиссера, — заплетающимся от страха языком сказала девушка.

— Какого хрена! Выйдите!

— А вы не подскажете...

— Выйди, выйди, — зашипели на нее люди, переодетые разбойниками, — репетиция идет.

Алла, пятясь, вышла в коридор. За дверью вновь раздались дикий ор и песни. Она сидела на рыжей банкетке в длинном и темном коридоре, внимая этому безобразию. Уже ломило уши от воплей, но вот все стихло. Из комнаты стали выходить актеры, красные и взъерошенные. Кто-то из них подмигнул Алле.

Алла еще немного посидела на банкетке и снова решилась постучать в дверь. То ли она так робко выстукивала, то ли там за дверью оглохли после несуразного воя, но приглашения войти не последовало. Тогда Алла толкнула дверь и вновь очутилась в беспросветном табачном дыму. Здоровый дядька все так же сидел в кресле, а рядом с ним, склонившись над бумагами, стояла до невозможности костлявая женщина, а рядом — мужчина с важным видом иностранного посла.

— Простите, мне бы хотелось увидеть режиссера, — вымолвила Алла, и тут все трое уставились на нее так, словно она была инопланетным существом и была одета, допустим, в скафандр. Алла даже мельком оглядела себя: что же такого странного в ее виде?

— Вон отсюда! Творческий процесс!

— Чего так орать-то? — насупилась Алла.

— Вон! — снова рявкнули из кресла.

Трояновская зло зыркнула глазами и убийственно произнесла:

— Идиот.

«Сябрына»: Беларусь — Россия

Человек в кресле побагровел и поднял кулак, видимо, чтобы изо всей силы дать им по столу, но неожиданно опустил его на стол мягко и рассмеялся.

«Точно — идиот», — подумала Алла, закрывая за собой дверь. Не успела она сделать по коридору несколько шагов, как ее окликнула женщина:

— Постойте! Чего вы хотели?

— Я?.. Вообще-то спросить насчет собеседования. В театральную студию.

— В студию? Вы опоздали. Набор уже закончен.

— А может, все-таки...

— К нам сто шестьдесят человек приходило, а мы отобрали только пятнадцать. Очень серьезный был отбор.

— Лариса, ну где ты ходишь? — донеслось из комнаты с деревянной дверью. — Идите сюда!

— Пойдем! — вдруг сказала женщина Алле. — Зовет.

Алла отправилась за ней.

— Что там? Зачем я ей понадобился? — спросил грузный человек.

— Про студию спрашивала, а мы уже отобрали ребят.

— Я объявление поздно увидела, — пояснила Алла.

— Ну, брат, кто не успел, тот опоздал, — резонно заметил важный мужчина, выпуская дым через нос.

— Знаешь, Вячеслав, а она мне нравится, — неожиданно сказал бородач, — красивая и наглая.

«Наглая?! — удивилась Алла. — Ничего себе! Наглая. Да я трясусь вся от страха».

— Готовы нам что-нибудь прочесть?

— Прямо сейчас? — Такого поворота событий она не ожидала.

— Так готовы или нет?

— Да, да, — заторопилась Алла, лихорадочно соображая, что бы им прочитать. — Басня. Крылов.

— Себя-то хоть назовите для начала, — зевнул бородач.

— Алла. Трояновская.

— Красиво звучит, — похвалил ее имя человек в кресле. — Представляете, афиша, а на ней крупно выведено: «Впервые в нашем городе гастроли знаменитой Аллы Трояновской».

«Он издевается, что ли»? — не поняла Алла.

— Ну-с, ждем-с, начинайте.

— Алла Трояновская.

— Вы уже говорили это. Читайте басню.

— «Лягушка и Вол».

Лягушка, на лугу увидевши Вола,
Затеяла сама в дородстве с ним сравняться;
Она завистлива была.
И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться.
«Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?» —
Подруге говорит. «Нет, кумушка, далеко!» —
«Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.
Ну, каково?
Пополнилась ли я?» —
«Почти что ничего». —
«Ну, как теперь?» —

«Все то ж».
Пыхтела да пыхтела
И кончила моя затейница на том,
Что, не сравнявшися с Волом,
С натуги лопнула — и околела.

Алла запиналась и краснела.

— Басня быстро кончилась, — сказал бородач.

— Я ее не сокращала! — Алле показалось, что она плохо прочитала басню и ею остались недовольны. Надо спасать ситуацию! — Хотите, расскажу анекдот? — нашлась девушка. — Сидит ворона на дереве, в клюве сыр держит. Тут к ней лиса с бейсбольной битой. Ни слова не говоря, ка-а-а-к шарахнет битой вороне по лбу! Ворона сыр уронила, крылья — враскорячку, глаза — по пять копеек, и говорит: «Ни фига себе басню сократили!»

Бородач засмеялся. Важный и Лариса тоже похихикали.

— Приходите послезавтра, — просмеявшись, сказал бородатый. — Лариса Станиславовна, на сколько назначены занятия? На шесть?

Станиславовна кивнула. Трояновская хотела еще что-то уточнить, но они все трое уже склонились над бумагами.

В старшей группе театральной студии уже неделю шли занятия. Ребята Алле понравились: веселые и творческие. Не понравилась только одна девочка — Ольга, — некрасивая и задиристая, но потом и она оказалась ничего. Преподавали в студии актеры городского театра. Студийцы изучали хореографию, сценическую речь и многое другое, но самым важным и любимым предметом было, конечно же, актерское мастерство.

К концу года полагалось сдать итоговый спектакль. Выбор пал на «Игру в фанты» модного в те годы Николая Коляды. Пьеса была о том, как в квартире молодоженов под Новый год собралась компания, решили поиграть в «фанты». «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме...» Называли цветок (герои пьесы заранее выбирали себе названия цветов), ведущий-садовник определял, что нужно сделать тому или иному фанту. И участникам игры доставались не самые безобидные задания...

Репетировали на каждом занятии. Спорили, выдумывали, искали новые ходы. Премьеру назначили на восьмое мая. По сценарию герои должны были выпивать. Анфиса — актриса, ведущая актерское мастерство, — предупредила, что в зеленые пивные бутылки нальют газировки. Мишка Сердюков, отчаянный придумщик, и на сей раз выкинул номер.

Алла-Ева удобно расположилась на диванчике на сцене. Герой Мишки предложил ей бокальчик пива.

— Не откажусь! — Алла-Ева взяла в руки бокал, наполненный до краев.

Патлатый Мишка чокнулся с ней своим бокалом. Алла предвкушала пузырьки «Буратино». Она сделала глоток и обмерла:

— Это что, пиво?

— А ты думала, газировка? — ехидно засмеялся Сердюков.

Только бы не опьянеть! Мишке, может, и невдомек, что несмотря на то, что ей вот-вот должно было исполниться шестнадцать, Алла никогда до этого не пробовала спиртного, не считая того, как они в раннем дет-

стве с братом во время вечеринки родителей тайком пробовали на язык остатки жидкостей в рюмках: горько и невкусно. Маленькая Алла никак не могла понять, почему люди на свадьбах пьют эту невкусную ерунду, а потом кричат «Горько!».

Спектакль прошел на ура. Зал ликовал. Бондарь светился. Актеры сияли. Мишка Сердюков получил подзатыльник.

Еще год Алла ходила в студию. О ее намерении поступать в театральный институт было известно всем. Никто не сомневался в том, что Трояновская поступит и в будущем станет блестящей актрисой.

Здание, в котором находился театральный институт, снаружи казалось настоящей развалюхой, да и внутри в глаза бросались ветхость и неприглядность обстановки. Где лоск? Где яркость? Беднота кругом! Алла была в недоумении. Она разочарованно бродила по институту.

— Здравствуйте, барышня! — поздоровался с ней мужчина преклонного возраста.

— Здравствуйте!

— Вы, наверное, кого-то ищете?

— Нет, я просто так здесь хожу.

— А зачем просто ходить по театральному институту? — мужчина внимательно посмотрел на Аллу.

— Смотрю, где мне предстоит учиться. Если поступлю, — быстро добавила она.

— Так вы абитуриентка! — вмиг повеселел незнакомец.

«Что это его так торкнуло?» — подумала Алла.

— А я, милочка, как раз курс набираю.

— Вы? — Трояновская посмотрела на него недоверчиво.

— Я, — подтвердил мужчина, — руководитель будущего курса.

— Мастер?

— Мастер.

«Ну, надо же! Такой плюгавенький — и мастер», — не поверила Алла. Этот человек ей не понравился: у него был слишком масляный взгляд. Она почувствовала, что знакомство с ним не принесет ей ничего хорошего.

— Ой, простите, — вдруг заторопилась девушка, — меня ждут. Приятно было познакомиться!

Удаляясь по коридору, она всей спиной чувствовала, как этот человек смотрит ей вслед.

Прежде чем допустят до конкурса, нужно пройти три творческих тура. Предстоял первый тур. Как одеться — вопрос вопросов. Говорили, что не стоит одеваться ярко, минимум макияжа, тогда своей неброской внешностью больше притянешь взгляды. Как бы не так! Алла не собиралась превращаться в серую мышь. Накрасилась она как обычно, и даже чуть ярче, но вполне приемлемо для дневного макияжа. Волосы забрала наверх, выпустив пару кудряшек. Надела черное длинное, но легкое платье, приколола жемчужную брошь, в уши вдела длинные нити жемчуга.

«Женщина-вамп!» Нет, не пойдет! На прослушивании она будет смотреться комично. Сняла серьги и брошь — слишком по-монашески. Прицепила брошь обратно — театрально. Сняла брошь, надела серьги. Кажется, ничего. Так, пожалуй, пойдет! На фоне других девушек Алла заметно выделялась: высокая, стройная, яркая. Остальные — словно из инкубатора: «Найди хотя бы пять отличий!» Юноши, все без исклю-

«Сябрына»: Беларусь — Россия

чения, посматривали на девушку в черном. Кто-то робко, кто-то нагло. Но честно сказать, было не до романов. Волновались все. И Алла тоже.

Вышел старшекурсник и зачитал имена первой десятки. Трояновская оказалась в списке. Они зашли в большую комнату. Сели на стулья вдоль стен. Напротив входа за длинным столом сидели люди. Не звери. И у Аллы вдруг восстановилось сбившееся дыхание.

Прослушивание велось по порядку справа налево. Подряд сидели три девушки, потом пять юношей, Алла и еще один молодой человек. Вызвали одну, другую. Нервно трясущиеся руки, писклявые голосочки и трагедии, трагедии, трагедии. Алла еле сдерживала смех. Она заметила, что члены комиссии тоже готовы вот-вот расхохотаться.

Алла увидела за столом того самого мастера, которого она встретила в коридоре института. Звали его — поди ж ты! — Лев Андреевич Голицын. «Тоже мне — Лев!» — думала Алла и старалась не встречаться с ним взглядом. «Ну и мастер!» Ей представлялся могучий, статный седовласый красавец, похожий на профессора из «Приходите завтра», а здесь... Обмылок какой-то.

Комиссию рассмешила скромная девушка, читавшая «Влюбленную в дьявола» Гумилева, особенно когда читала последний катрен:

Я не знаю, ничего не знаю,
Я еще так молода,
Но я все же плачу и рыдаю,
И мечтаю всегда.

Она считала, что трагический отрывок, эмоционально исполненный, поможет демонстрации ее таланта. Потом вызывали юношей. Аллу пригласили девятой.

— Представьтесь.

— Алла Трояновская. Восемнадцать лет. Приехала из Тобольска.

— Скажите, Алла, у вас кто-то умер?

— Почему?

— Вы в черном.

— Я люблю черный цвет, — спокойно ответила девушка.

— Вам нравится образ роковой женщины?

— Мне нравится мое платье, — чуть с вызовом произнесла Алла.

— Что вы будете читать?

— Рассказ Чехова «После театра».

— Пожалуйста.

Алла взяла у стены стул, поставила его посреди зала, села и начала рассказывать. Да, рассказывать, а не читать: «Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали «Евгения Онегина», и придя к себе в комнату, быстро сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и в белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна.

«Я люблю вас, — написала она, — но вы меня не любите, не любите!»

Написала и засмеялась.

Ей было только шестнадцать лет, и она еще никого не любила. Она знала, что ее любят офицер Горный и студент Груздев, но теперь, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой и несчастной — как это интересно! В том, когда один любит больше, а другой равнодушен, есть что-то красивое, трогательное и поэтическое. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна,

потому что очень любит, и если бы они одинаково любили друг друга и были счастливы, то, пожалуй, показались бы скучными...»

Алла говорила просто. Без страстей, криков, воплей, но так, словно об этом нельзя молчать! В зале застыла тишина, и Трояновская чувствовала себя все увереннее. К ее удивлению, члены комиссии не прервали рассказ и выслушали его до конца.

Она встала со стула и поклонилась.

— Я могу еще что-нибудь прочесть.

— Достаточно. Приподнимите подол платья.

Алла растерялась.

— Простите, что?

— Приподнимите подол до колен. Это не сексуальное домогательство. Продемонстрируйте ноги.

— Я думала, вам нужно демонстрировать талант, а не ноги.

После прослушивания к Алле подошли ребята и выразили ей свое восхищение:

— Так просто, без надрыва, а получилось гораздо лучше, чем у нас. Ты с кем занималась?

— С зеркалом, — ответила Трояновская.

Она уже собиралась уходить, как к ней подошел Голицын.

— Мои поздравления вам. Вы очень хорошо подготовились.

— Спасибо, — сухо ответила девушка.

— Прекрасно выстроили интонационный и ритмический рисунок. Я в восхищении! Буду настаивать на том, чтобы вас пропустили на второй тур.

— Да? — обрадовалась Алла.

— Я мог бы поработать с вами и подготовить к следующим испытаниям, — вкрадчиво начал Лев Андреевич, — в индивидуальном порядке.

Алла понимала, к чему клонит «обмылок»: она ему явно нравилась — красивая, молодая, строптивая.

— Тебе ведь хочется поступить в институт? — Голицын посмотрел на Аллу долгим взглядом.

Еще бы! Конечно, ей хотелось.

— Какие у вас глаза! — Лев Андреевич смотрел пристально. — Цвета гречишного меда... Не из-за вас ли все началось в Трое? — прищурился он.

— Нет, там Елена была всему виной.

— Подумайте над моим предложением. Хорошенько подумайте.

Алла брела по пустынной аллее. Несмотря на жару, ее знобило. Она еле доволоклась до общаги, а потом проспала десять часов кряду. Ее соседка по комнате Вероничка ходила взад-вперед, репетируя монолог Катерины из «Грозы»: «А какие сны мне снились! Варенька, какие сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые голоса, и кипарисом пахнет, и горы и деревья будто не такие, как обыкновенно, а как на образах пишутся. А то будто я летаю, так и летаю по воздуху. И теперь иногда снится, да редко, да и не то».

Алла открыла глаза.

— А тебе, Алка, что снится?

— Крейсер «Аврора», — буркнула Трояновская и перевернулась на другой бок.

На следующий день после полудня Алла пришла в институт узнать результаты. Ура! Ее фамилия значилась в списке: она была допущена ко второму туру. Какая разница, хлопотал Голицын за нее или нет! Она и сама хорошо показала себя — Алла это чувствовала. По крайней мере, в ее десятке она была сильнейшей. И как оказалось, из этой десятки на второй тур прошла только Трояновская.

Неожиданно Алла услышала голос Льва Андреевича. Он, разговаривая с кем-то, выходил из кабинета. Алла поспешила уйти, чтобы не встретиться с ним.

В общежитии Вероничка не унималась со своей Катериной.

— Послушай, Алла, ну, послушай.

— Вероничка, у тебя интонационная точка ставится чуть ли не после каждого предложения, — не выдержала Алла, — а она должна ставиться в конце отрывка! Ты же вообще не чувствуешь того, что читаешь!

Вероничка обиженно уставилась на Аллу. Ей нравилось, как она страдает! Она вжилась в Катерину!

— Вероничка, вот скажи, ты любишь в церковь ходить?

— Что я там забыла?

— А Катерина любила. Она же сама говорила, что «до смерти любила в церковь ходить»! Как там? «...словно в рай войду, и не вижу никого...».

— Ну, а ты, ты как бы прочитала ее монолог?

— А я бы не стала читать. Это не близко мне. И тебе, кажется, тоже.

— Но это же непрофессионально! — закричала Вероничка. — Мы обязаны уметь читать все!

— Я берусь за то, что понимаю и чувствую, — серьезно ответила Алла.

Назавтра был новый тур. Алла специально надела короткую юбку, чтобы видели, что ноги у нее не кривые! «На этот раз не буду краситься, может, «обмылку» разонравлюсь». Трояновская шла на второй тур творческого конкурса и рассуждала, правильно ли она поняла преподавателя. Может, она выдумала, что он неравнодушен к ней как к девушке? Может, он разглядел в ней дарование и хочет помочь огранить бриллиант? Наверное, она не так поняла его.

Но по взгляду Голицына, когда она вошла в зал, девушка увидела, что поняла его правильно.

Аудитория была та же. Комиссия немного разрослась. На сей раз Алла сидела первой, поэтому и показывала себя первой. Она прочитала басню «Стрекоза и муравей», но не в обычном ее понимании, а ломая стереотипы. Стрекозу она показала не как легкомысленную особу, а как талантливую певицу, работающую все лето. Муравья же — как скрягу и бесчеловечного, не способного помочь *куме* в трудной жизненной ситуации. Алла видела, что такая трактовка басни заинтересовала комиссию.

— Стрекоза у вас получилась совсем не такой, как у Крылова! Похвально. Их сходство лишь в том, что обе они — поющие. А как у вас с пением?

Алла пела хорошо. У нее был хороший слух и приятный голос. К тому же, она играла на фортепьяно. В зале стоял инструмент, поэтому девушка, спросив разрешения, подошла к инструменту и спела под собственный аккомпанемент.

«Наверное, пройду», — думала Трояновская, так как своим выступлением в целом она осталась довольна. Были, конечно, и огрехи, не без этого. Но на ступенях у выхода ее догнал Голицын и огорошил:

— Не думай, что ты такая талантливая. — Он схватил ее за руку выше локтя. — Таких, как ты, — пруд пруди! Ты подумала над моим предложением?

— Нет, — просто сказала Алла.

— Почему?

— А что тут думать? Нет, и все.

Голицын гневно сверкнул глазами.

— Ты не забыла, что я руководитель курса?

— Отчего же мне забыть?

— Я тебе дам еще время на раздумья. На третий тур ты, считай, уже прошла.

— А почему вы мне тыкаете? — зло спросила Алла.

— А дальше не знаю, — не слушая ее, продолжал Голицын, — дальше уже от тебя зависит. Надеюсь, мозги у тебя имеются.

Алла презрительно усмехнулась. Неужели, если она хорошо себя покажет в третьем туре, ее не допустят до конкурса? Как бы не так!

Вероничка второй тур завалила. Заливаясь горючими слезами, она твердила, что в ней не разглядели великую актрису. Алле одновременно было и жаль ее, и нет. На великую актрису Вероничка не тянула. Хотя — кто знает...

На третий тур Трояновская действительно прошла — ее фамилия была в списке допущенных к дальнейшим испытаниям.

Перед третьим туром она встретилась с Голицыным. «Обмылок» смотрел на нее ласково и уверенно. Алла поздоровалась с ним сдержанно, но художественный руководитель курса подмигнул ей и даже коснулся плеча. На шее Аллы был повязан прозрачный шарфик из фатина — он хорошо сочетался с глубоким бордовым цветом ее блузы. Лев Андреевич, взяв свободно спадающий конец шарфа и посмотрев через него на Аллу, мягко шепнул:

— Какая ты красивая...

На третьем туре Трояновская, безусловно, блистала. Она смешила комиссию, читала, пела и даже показала несколько танцевальных движений. Она была уверена, что последний творческий тур ею пройден и впереди уже маячат экзамены.

После своего выступления Алла беспечно болтала с теми, кому еще предстояло пройти испытание. К ней подошла незнакомая девушка и передала записку. В записке беглым почерком значилось: «Площадь Ленина, семь вечера».

Алла, разумеется, поняла, от кого записка. «Ишь ты, какие тезисы! Размечтался!»

На следующее утро в одиннадцать должны были вывесить списки тех, кто прошел все три тура. Алла пришла в назначенное время в институт. Она несколько раз перечитала вывешенные бумаги, но в них фамилия «Трояновская» не значилась.

Алла подошла к окну и посмотрела в институтский двор — там ребята играли в баскетбол. Мячик лихо залетал то в одну, то в другую корзину.

— Не смогла вчера прийти, да? — услышала она за спиной мягкий полушепот.

Алла вздрогнула. Голицын стоял рядом и выжидающе смотрел на нее. Алла молчала.

— Не нашла себя в списках? — грубо спросил он.

Она покачала головой.

— Ну, это поправимо. При одном малюсеньком условии, — Голицын прищурился, — ты знаешь — каком... Ну, что тебе это стоит? Всего каких-нибудь десять минут...

Аллу так и обожгло, но ее рассмешили эти десять минут — она прыснула.

— Всего лишь десять? Десять минуточек! — Девушку колотило от смеха. — Знаете что, — наконец вымолвила она, — если бы вы хоть симпатичный были, а то...

— А то? — спросил Голицын.

— Клоп клопом.

— Что-о-о?

— А что слышали. Моральный клоп! Лысый, маленький и вонючий.

Театрального института Алле было теперь не видать как своих ушей.

А может, оно и к лучшему?

Бегущая через жизнь

Ульяна очень любила живопись. Поэтому приглашение знакомого сходить на выставку картин обрадовало ее. Павел Васильевич Росляков, сосед Ульяны, — мастер на все руки. По весне он делал рамки для картин того художника, на выставку которого теперь и пригласил Ульяну.

Из беседы с Павлом Васильевичем по дороге к музею она узнала, что Дмитрий Дмитриевич Вода — так звали художника — самоучка.

— И что это будут за картины? — недовольно хмыкнула Ульяна.

Ей представилась нелепая мазня непрофессионала.

— Подожди хмыкать. Не видела ведь, — укорил ее Петр Васильевич.

«Сказал бы раньше — не пошла бы! — сердилась девушка. — Малевать-то я и сама умею не хуже любого самоучки. Может, вернуться? Павел Васильевич обидится. Ладно! Схожу, раз уже иду. Покуражусь».

— Ну и фамильичка — Вода! — продолжала фыркать Ульяна. — Еще был бы Пиво.

— Не смейся. У него дед — француз. И фамилия Вода — французская. Хоть и звучит по-русски.

Здание, в котором располагался музей художественной культуры, относилось к монастырскому комплексу. Вернее, здесь раньше был монастырь, а теперь... А что теперь — Ульяна даже и не знала. Конторы какие-то. И лишь одно здание выделили под культуру.

Этот музей Ульяна посещала не однажды. Как правило, по залам она часто бродила в одиночестве — ценителей искусства в городе было немного. Но сегодня здесь оказалось людно — выставка только что открылась. На торжественную часть они с Павлом Васильевичем опоздали, и все уже важно разгуливали по довольно большому залу, рассматривая картины.

Павла Васильевича радостно поприветствовала смотрительница, недвусмысленно посмотрев на Ульяну.

— Она вас знает? — шепнула Ульяна.

— Да, — тоже шепотом ответил Росляков, — я на днях картины помогал вешать.

Недалеко от входа стоял столик с бокалами, наполненными шампанским. Павел Васильевич отошел от Ульяны и через минуту вернулся, держа в руках два бокала.

— За выставку! — стукнул он по бокалу девушки.

Она уже краем глаза посматривала на картины. И ей приглянулась одна — с васильками.

Публика вокруг ходила самая разнообразная, но объединяло всех то, что они одинаково умно всматривались в картины. «Спецы!» — усмехнулась Ульяна.

— Давай подойдем к Дмитрию Дмитриевичу, поздороваемся, — прервал Росляков ее наблюдения.

Ульяна не возражала. Только она никак не могла пока понять, кто здесь художник. Может, вон тот, в красном шарфике? Или тот — бестолково одетый? Или нет! Бородатый, в свитере. Хотя он больше на геолога смахивает. Каково же было удивление Ульяны, когда она увидела, что Павел Васильевич подошел к скромно сидевшему на стульчике в углу зала старичку. Рядом с ним — высокое окно, подоконник которого утопал в срезанных садовых цветах. Старик поверх них смотрел в небо.

— Приветствую вас, Дмитрий Дмитриевич! — Росляков сделал небольшой поклон.

— Здравствуй, здравствуй, голубчик. — Дмитрий Дмитриевич попытался встать, опираясь на трость.

— Сидите, сидите! — остановил его Росляков.

Павел Васильевич заговорил о чем-то с художником, а Ульяна, постояв немного в стороне, отправилась бродить по выставке. Картин было штук шестьдесят, в основном — христианство и природа. Некоторые даже понравились Ульяне. Ярко так написаны и самобытно. От них веяло радостью и теплом. Без всякой дури, ясные и простые. Немного наивные, но старательные. Наверное, нельзя было бы назвать Дмитрия Дмитриевича художником в полном смысле этого слова — не хватало техники, и это было очевидно.

Ульяне захотелось подробнее узнать о Воде. Точнее, если он француз по происхождению, то «о Вода», ведь у них фамилии не склоняются. И она подошла к той стене, где висел листок с биографией художника. Родился он задолго до войны. Еще в первом классе участвовал в акварельной выставке, даже получил премию. Посещал художественную школу. Учебу прервала война. Воевал, был ранен. После войны работал художником-оформителем на предприятиях города.

Читая информацию о художнике, Ульяна услышала разговор двух женщин.

— Говорят, он потомок известного писателя. Этот писатель был знаменит, как Достоевский, но сейчас о нем ничего не известно, так как он сжег все свои рукописи, — сказала одна.

— Да ну, — не поверила другая, — если бы был знаменит, то издавался бы, какие-то книги остались бы...

Чем больше Ульяна смотрела на картины, тем больше они ей нравились — своим неброским очарованием они напоминали полевые цветы.

«А это что за странная картина?» — удивилась Ульяна, остановившись перед необычным полотном. Оно выбивалось из общего ряда своей сюжетностью. Вагон. Верхняя полка. На ней — силуэт

мужчины. Проход. В проходе — идущая вперед девушка, лицом к зрителю, но спиной к лежащему мужчине. Походка ее стремительна. Девушка стройна и красива. Яркое синее платье — единственный радостный элемент картины, а все остальное — в полумраке. Хотя глаза у девушки тоже прорисованы достаточно ярко — они большие, черные, даже слишком большие. Пожалуй, таких глаз не бывает на самом деле. Зачем художник изобразил их такими? Все очень реально, а глаза — нереальны. Даже не объяснить, что это были за глаза. Неземные, вот! — подобрала, наконец, Ульяна слово для определения этих глаз. Кого он рисовал? Инопланетянку? Нет, в остальном это была абсолютно земная девушка. На вид ей лет двадцать пять. Куда она так стремится? Почему человек лежит на полке? Хотя это логично — ведь дело происходит в поезде. Почему он смотрит ей вслед? Узнал ее? Кто же она? Кто она ему?..

Загадка какая-то — Ульяна даже разозлилась. Какое время изображено на картине? Вероятно, пятидесятые годы, судя по фасону платья.

И вдруг Ульяна оцепенела. Цвет платья на картине точно такой же, как у ее блузки! Васильковый! Ульяна внимательно посмотрела на картину. Не может быть! Не может быть! Нет, не может быть!

На картине была нарисована она. Да, несомненно, она. Где, когда видел ее этот Вода? Какого года картина? Неважно, какого! Это она, она стремительно идет по вагону, а вслед ей смотрит какой-то человек. Ульяна читала, что люди порой испытывают мистический ужас, но что это такое, доселе оставалось ей непонятным.

— А, вот ты где! — услышала Ульяна голос за спиной. — А я тебя ищу.

Ульяна обернулась.

— А что это ты такая бледная?

Росляков за локоть поддерживал старичка-художника.

— Ульяна, познакомься! Дмитрий Дмитриевич Вода.

Девушка не могла выговорить ни слова, поэтому только кивнула. Вода не сказал ничего. Он смотрел на нее, дрожа и не мигая.

Молчание прервал Павел Васильевич:

— Вам нехорошо, Дмитрий Дмитриевич?

— Все в порядке, — еле слышно ответил Вода, по-прежнему дрожа.

— Душно, может быть?

— Посмотрите, она будто сошла с картины! — взволнованно ответил художник.

Росляков посмотрел на девушку на картине, затем — на Ульяну: сходство было поразительным.

— Вот так да! — почесал он затылок.

— Я тоже поражена, — наконец заговорила Ульяна. — Дмитрий Дмитриевич, кто это?

Художник молчал.

— Не меня ведь вы рисовали?

Вода покачал головой.

— А кого?

— Не знаю, — все так же тихо ответил он.

— Как не знаете? Вы рисовали и не знаете кого? Кто она? Кто это — на картине?

Художник тяжело вздохнул и ничего не ответил. В этот момент к ним подошли журналисты — брать интервью у Дмитрия Дмитриеви-

«Сябрына»: Беларусь — Россия

ча. Художник отошел с ними в сторону, ему принесли стул, он сел и стал отвечать на вопросы.

Ульяна смотрела на картину, пытаясь найти ответ: что же это за картина? Ее злило, что Вода не стал отвечать ей, а ведь наверняка знал, кого рисовал.

Павел Васильевич куда-то запропастился. Ульяна еще немножко походила по залу, равнодушно взирая на остальные картины, и еще раз взглянув на ту самую, направилась к выходу. Ее ненадолго задержали, попросив написать отзыв о выставке. Она отделалась сухим комплиментом и, не дожидаясь Павла Васильевича, пошла домой.

Несколько дней та картина стояла у нее перед глазами, но потом навалились другие заботы, и Ульяна забыла о выставке.

Прошло полгода. Случайно, совсем случайно она наткнулась в интернете на статью о художнике Вода. Каково же было ее удивление, когда она увидела фотографию, сопровождавшую репортаж с выставки. На ней была запечатлена беседа художника с Ульяной. Она долго разглядывала снимок. Вода смотрел на нее с не меньшим удивлением, чем она на него.

— Какой он трогательный! — вырвалось у Ульяны.

И действительно, он походил на гладко причесанного воробушка. Пиджак был ему большеват. Наверное, похудел незадолго до выставки. На груди — медали, а в глазах — тоска. У Ульяны защемило сердце.

Вечером позвонил Росляков.

— Я сейчас зайду, — сообщил он.

Вид у него был расстроенный. В руках он держал конверт.

— Что случилось? — с тревогой произнесла Ульяна.

— Дмитрий Дмитриевич умер. Помнишь художника? Вода.

— Помню, конечно.

— Родственники мне передали вот этот конверт.

Он протянул конверт Ульяне. На нем значилось: «Рослякову П. В. и той девушке, что была с ним на выставке».

— Тебе, значит.

Ульяна взяла конверт. Повертела его.

— Жаль, что он умер...

— Давай помянем, — предложил Росляков.

— Не могу, мне на работу.

Как только Ульяна закрыла за соседом дверь, она сразу же вскрыла конверт. Письмо начиналось так: «Доброе время суток! Мы с вами встречались на моей выставке. Вас тогда поразило ваше сходство с героиней моей картины. Не скрою, я тоже был поражен, но в тот момент я не мог ответить на ваши вопросы, и вы, наверное, подумали обо мне как о вредном и противном существе, за что прошу прощения».

Зазвонил телефон, но Ульяна продолжала читать:

«Однажды я ехал из Москвы к родителям в Красноярск. Бездельничал, лежал на верхней полке и смотрел на ускользающие деревья, как вдруг услышал голос:

— Скажите, какой это вагон?

Я оторвался от окна и повернул голову. В проходе стояла девушка в васильковом платье. Она была такой красоты, что у меня захватило дух. Мы встретились глазами. Я понял, что влюбился. Да, да, я понял это в одну секунду. Я будто бы знал ее всю жизнь, хотя никогда прежде

не видел. Я понял, что это моя судьба. Это может показаться сумасбродством, но уверяю: все было именно так.

— Седьмой, — ответил кто-то из пассажиров.

— Спасибо, — сказала она, вновь посмотрела на меня и пошла по проходу дальше. Я словно окаменел и онемел одновременно. Девушка, пройдя несколько метров, обернулась. Посмотрела на меня недолгим взглядом и исчезла.

Я заметался. Что делать? Бежать за ней? А вдруг это будет глупо? Может, там ее ждет муж? А вдруг я ее испугаю? Я и вправду не знал, что делать. Пустился в долгие рассуждения. Потом себе объяснял это тем, что, возможно, меня сдерживало сознание того, что я был женат...

Не знаю, не знаю, почему я не ринулся ей вслед. Всю жизнь я прокручивал в памяти эту встречу и ругал себя за свою робость и боязнь. Лежать на своей полке я больше не мог, встал и пошел искать ее. Прошел все вагоны, но ее не нашел. Заглядывать в каждое купе я постеснялся — только в те, где двери были открыты, пусть даже чуточку. Я прошел все вагоны несколько раз, на меня даже косо стали смотреть проводники.

Утром поезд прибывал в Красноярск. Она, когда спрашивала, какой вагон, шла в конец поезда. По перрону я во весь опор помчался к головному вагону, рассматривая всех приехавших. Ее среди них не было. Не было! Я ждал, что вот-вот она появится. Не увидеть ее я не мог! Я запомнил ее навсегда. К тому же, она была в таком ярком платье! Но — увы и ах! — толпа рассеялась, лишь тянулись последние нагруженные пассажиры, а этой девушки не было. Я не понимал, куда она могла исчезнуть.

Всю жизнь я думал о ней, поначалу не проходило и дня, чтобы я не вспоминал ее. Когда жена спрашивала, почему я так задумчив, — бессовестно врал, что перед глазами стоит война. Каждый день молил Бога, чтобы он дал мне шанс еще раз увидеть ее. Но все было напрасно. Жизнь моя разделилась на две половины: до нее и после. Васильковое платье стало границей.

Я ждал эту девушку, звал, искал в каждой женщине. А когда расплывчато видел ее в своем воображении, то боялся, что позабуду ее черты. И тогда я стал учиться рисовать. Десять лет самостоятельно постигал азы живописи только лишь для того, чтобы нарисовать ее портрет. Задатки у меня были, да и художественная школа за плечами, но это все были цветочки: теперь я учился настоящей живописи. Сколько раз я пробовал написать ее! Не удавалось. Рисовал природу, но лелеял мечту написать эту девушку, которую когда-то потерял в поезде.

И все же мне удалось воплотить свою мечту.

Я часто выставлял это полотно. Я жаждал, чтобы однажды она пришла и увидела мою картину. Узнала бы себя. Вспомнила тот поезд и меня. И захотела узнать: кто художник?..

Вы видели картину. Моя девушка действительно похожа на вас. Как две капли воды. Она не пришла на мою последнюю выставку. Зато пришли вы. И как тогда, в поезде, вы тоже исчезли бесследно.

Я завещаю эту картину вам.

И помните! Никогда не проходите мимо своей судьбы.

Прощайте.

Художник Вода».

Щука

В последнее время дед почему-то пожелтел. Фельдшер сказал, что у деда проблемы с печенью, то есть ничего умного не сказал. Лукич поехал в город на обследование. Врачи сказали то же, что и местный фельдшер.

— Неважно обстоят ваши дела, Афанасий Лукич. — Молоденькая врачиха с сочувствием посмотрела на престарелого пациента.

— Совсем? — храбрясь, спросил Емельянов.

Врачиха отвела глаза. В своем медицинском халате она смотрелась, как белое солнце на фоне желтой пустыни. Пустыней, разумеется, был Афанасий Лукич.

— Значится, помру я скоро, потому и гоните меня?

— Почему же гоним? Вам будет назначено поддерживающее лечение. Укольчики, таблеточки — можно и дома принимать.

— Дочка, а жить-то мне сколько осталось?

— Я не бог, — ответила врачиха, — не могу знать. Но вы не слишком драматизируйте ситуацию, — вдруг спохватилась она.

— А почто у меня печень никогда не болела?

— В ней нет нервных окончаний. Поэтому симптомы заболевания появляются, к сожалению, когда уже слишком поздно. У вас печень в стадии разложения. Цирроз.

— Как все поменялось, — сказал дед, — раньше — убей врача, не скажет, чем ты болен. Теперь, наоборот, сами врачи пытаются убить пациента диагнозом.

Видно было, что молоденькой врачихе не по душе пришлись слова Емельянова, но она, поджав губы, промолчала.

Автобус, словно на коньках, по крепко схваченной льдом дороге быстро домчал пассажиров из Лабытнанги до поселка Октябрьский, где жил Емельянов.

— Сказала мне одна молоденькая козочка, что помру скоро, — докладывался по приезде дед своей бабке, — цирроз.

— Какой цирроз, — всплеснула руками Петровна, — ты же не пьяница!

— Вот уж не знаю, откуда навязался этот цирроз.

— Горе-то какое! — Петровна не могла сдержать слез. — Говорила тебе, не ешь рыбу сырую, а ты словно глухой! Вот и заразился. Все по-своему делаешь!

Афанасий Лукич уже не слушал ее. Он взобрался на печь и лежал, думая о том, что вдруг и впрямь скоро помереть доведется.

«Пожил и хватит, — рассуждал он, — чем заживо гнить, так уж лучше в земле. Но это после, а пока еще чуточку надо не помирать».

Он исправно пил лекарства, выписанные ему в Лабытнанги. Приходил в обляпанном халате толстый фельдшер Ерохин и ставил уколы в его сухонькие ягодицы.

— Ты меня наскрозь проткнешь, Ерошка, — кривился от боли дед.

— А нечего болеть! — отвечал фельдшер.

Деду день ото дня становилось все хуже и хуже. Он слабел и терял аппетит.

«Неужто все-таки помру скоро? — думал он. — Еще бы полгодика протянуть. А там и помирать можно».

А полгода Афанасий Лукич выпрашивал вот почему. Он никогда не видел внука. Его поздний сын женился студентом и почти сразу же разо-

шелся. Даже неделю не прожили молодые. Почему? Да пес их разберет. Сколько Емельяновы ни пытали сына, он отказывался говорить на эту тему. А совсем недавно выяснилось, что у них есть внук.

— Что ж ты молчал-то про это? — накинулись они на сына.

— Так я сам недавно узнал, — оправдывался тот.

Артем — так звали емельяновского внука — учился за границей. Лукич разговаривал с ним дважды по телефону. Голос у внука был очень доброжелательный. Артем тоже совсем недавно узнал о том, что у него есть отец, дед и бабушка, и это стало для него не меньшим потрясением, чем для деда с бабкой. Обещал приехать навестить родню, но только когда будет в России на каникулах, а это через полгода.

— Дожить бы, — вздыхал Афанасий Лукич.

А теперь внезапная страшная болезнь сбивала все планы.

— Может, какими народными средствами полечиться? — спрашивал он у фельдшера. — Отвар мухомора, говорят, помогает.

— Не дури, дед! — запрещал Ерохин. — Хуже будет.

Лукич уже еле вставал. Слабость и усталость, навалившиеся на него, пригвождали к кровати. Он и на печку-то забраться уже не мог. В один из дней карабкался, карабкался, да так навернулся, что больше и не полез.

Петровна ходила с мокрыми глазами.

— Чего ты меня хоронишь? — ругал он ее. — Я ведь еще теплый.

Однако ему самому с трудом верилось, что доживет до лета. А дожить хотелось. Ой, как хотелось!

Лукич похудел, осунулся и цветом стал походить на насыщенно желтый опавший лист. И если раньше к нему было применимо слово «дед», то сейчас больше подходило «старик».

«Какой он — мой внук? Похож на кого? А вдруг — на меня? Или на моего отца Луку Григорьевича? Я умру, но буду жить в нем, в моем внуке, в его детях и внуках. А то ведь было думал, что на сыне так и закончусь. Ан нет! Продолжение есть. И так хочется увидеть это продолжение, хотя бы один разок, перед смертью».

Думы Лукича прервал пришедший навестить его Митька Захватошин.

— Афанасий Лукич, здорово! Говорят, ты хвораешь шибко.

— Митька, так мне восемьдесят годочков справляли еще три года назад, — усмехнулся Емельянов, — а ты меня внимательно разглядываешь и думаешь, до чего же я желтый, так, небось?

Захватошин мял в руке шапку.

— Так, вижу, что так. Сказывай, зачем пришел.

Митька почесал затылок, помялся, а потом выпалил:

— Продай мне медали.

— Чего-о-о? — Емельянов аж привстал с постели.

— Медали, говорю, продай. Не ровен час — помрешь. Все судачат, что жить тебе два понедельника. Вон желтый какой стал, как азиат.

— Ты зеленый больно! — с гневом выдохнул старик. — Сорок лет, а ничего не разумеешь!

— Ты сам подумай, зачем тебе медали? Петровне твоей они без надобности. Сыну? Так он оглоед у тебя, все по тюрьмам да по ссылкам. Обжился уж там. А я хорошо заплачу.

— Вот ты с виду воробей, а душа у тебя стервятника! Проваливай отседова. Видеть тебя не желаю!

— Продай, говорят. Очутятся ведь на помойке твои медали. Забесплатно! А я тебе денег дам. Перед смертью чем-нибудь побалуешься. Может, этих, — Митька показал большую грудь и подмигнул старику, — позовешь.

— Пшел вон, щенок! — закричал Емельянов, да так сильно ударил ладонью по прикроватной тумбочке, что взвизгнула кружка, подпрыгнув и ударившись о ночник. — У меня внук есть!

— Да слышал я, слышал. — Захватошин презрительно кольнул глазами больного. — Только, говорят, он американец. И советские награды ему до лампочки. Да и не увидишь ты его никогда.

— Убирайся, — устало промолвил Емельянов, не глядя на Захватошина.

В ту ночь Емельянов видел страшные сны. То он копал картошку в сырой земле, то ему подбирали новый дом. Он проснулся с неприятными ощущениями. За окном уже вовсю светило солнце — никогда так поздно он не просыпался. Нежиться в постели Емельянов не привык, но болезнь предоставила ему эту возможность.

И вдруг дико захотелось есть. Он ощутил то здоровое и естественное чувство голода, которое побуждало первобытных людей идти на охоту. Лукич проворно встал с кровати, удивляясь своей прыти. Поднял руки вверх и усиленно потянулся. Вошла жена и посмотрела на него так, словно он сделал сальто-мортале или какой-то еще диковинный трюк, а не просто вытянул руки.

— Ты почто распрыгался? — спросила она, вытирая руки о передник, собираясь помочь мужу лечь обратно.

— Есть хочу! — заявил он, отстраняясь от ее рук.

— Батюшки святы! — заохала Петровна. — А я и думаю, чегось так пирогов с утра поманило стряпать.

— Пироги опосля. Хочу рыбы. Изнемогаю, как хочу.

— Какую рыбу? Рыбу какую-то выдумал. Все болезни у тебя от рыбы!

— Ты не любишь ее исть, так и не ешь. А я в Сибири всю жизнь живу, рыбой питаюсь, а не лягушками!

Петровна и впрямь не любила рыбу. Их с Афанасием Лукичом первенец подавился косточкой от рыбы, не спасли ребенка, он и помер четырех лет от роду. А потом она слышала, что разную заразу можно подцепить от рыбы, особенно если есть ее сырой. Пистрахоз там какой-то, что ли... Этот вот всю жизнь ел, заразы нахватался и пожелтел.

— Зачем тебе рыба? Хочешь, котлетки пареные сделаю. Пироги на подходе.

— Рыбы хочу. И не перечь мне!

Ну, рыбы так рыбы. Петровна с недавних пор боялась отказать в чем-либо мужу. Откажешь, а вдруг это его последняя просьба?

Она пошла по соседям. Они перекупали у хантов рыбу и возили ее перепродавать в Лабытнанги. Когда Петровна пришла к Захватошиным, как раз прибыл новый улов. Митька при встрече с соседкой сжался, но, поняв, что Лукич ничего не рассказал ей о недавнем разговоре про медали, вновь выпрямился.

— Рыбы деду захотелось, — сказала Петровна.

— Вот так да! Поправляется дед-то? Бери любую, вся свежая. Максимка всегда хорошую рыбу доставляет.

Юркий хант по имени Максим радостно закивал головой.

— Да какое там поправляется, — махнула рукой Петровна. — Правда, сегодня малость получше... Не спросила, какой ему хочется рыбы-то.

Хант внимательно посмотрел на Петровну.

— Чем болеет?

— Желтый весь. Из больницы выписали, видать, помирать. Уколы делают, лекарства пьет, а все желтее становится.

— Печень у него, — Хант был краток.

— Так знамо дело, что у него.

— Помрет.

— Так все мы помрем, — горестно произнесла Петровна, — а пожить еще бы ему хотя бы полгодика. Внук обещался в гости приехать. А его-то мы ни разу не видали, вот и хочет дед хоть немного еще пожить.

Максим подошел к возу с рыбой. Взял одну, другую, положил их на место, достал третью. Это была щука. Живая. Хант оглядел ее внимательно со всех сторон и отдал Петровне.

— Возьми. Положи в воду. Дождись меня.

Петровна пожала плечами, но рыбу взяла.

— Готовить будешь?

— Делай как сказал.

Через полчаса в избу Емельяновых без стука вошел хант. Он, не сняв свои кисы — теплые сапоги из оленьей шкуры, — прошел к постели больного. Петровна семенила следом.

— Где щука?

— В тазу.

— Неси!

Афанасий Лукич удивленно смотрел на ханта.

— Вставай! Лечить буду.

Емельянов ничего не ответил, но принялся приподыматься в кровати. Тем временем хант снял шубу, украшенную мозаикой из меха двух цветов и полосками цветного сукна. Поставил посреди комнаты стул и велел Лукичу сесть на него. Емельянов не возражал. Выдвинул на середину комнаты круглый деревянный стол с изогнутыми ножками и поставил на него таз, в котором лежала рыба. Все еще живая. Нет, она не могла, плескаясь в воде, биться о стенки тазика, а находилась в каком-то полуобморочном состоянии.

— И как лечить будешь, лекарь?

— Знаю как. Дед шаманом был. Ты смотри на щуку. Не мигай. Смотри прямо в глаза ей. Не бойся. Только смотри.

— Долго?

— Сколько скажу.

Емельянов и до этого смотрел на щуку, а по заданию его взгляд стал еще более внимательным. Но разве поможет?

Хант стал что-то бормотать на своем языке. Какие-то заклинания. На губах Лукича мелькнула чуть заметная усмешка. Давай, мол, давай, придуривайся, а сам, между тем, как было велено, не отрываясь смотрел на рыбу. Взгляд его с каждой минутой делался напряженнее. Вдруг... рыба стала повздрагивать. Померещилось? Емельянов смотрел, не мигая, в глаза щуке. Бормотание ханта становилась яростнее. И чем громче говорил хант, тем живее становилась рыба. Она ерзала по дну таза, открывала рот, показывая свои крепкие зубы, и тоже смотрела на Емельянова. Тот хотел было отвернуться — так уж неприятен был этот щучий взгляд, но вдруг услышал голос ханта:

— Смотри!

Афанасий Лукич сдержался и не отвел глаза, но в следующий миг ему стало еще страшнее. Щука бесновалась. Ее плотное тело ударялось о стенки таза с бешеной силой. Щука поедала его глазами, словно кто-то заставлял ее смотреть на Емельянова. И взгляд этот был полон ненависти. Она стала похожа на торпеду, готовую броситься на врага. Емельянов покрылся испариной, его фланелевая рубашка прилипла к телу. Его так жгло изнутри, словно в нем раскочегарили печь. Щука становилась все неистовей. Ее мелкие чешуйки оттопырились, а плавники раскрылись и стали похожи на петушиный гребень. Она щелкала челюстью и бурила Емельянова взглядом. «Ненавижу тебя, желтый старик, ненавижу!» — эти слова с яростью, казалось, выплескивали ее глаза.

Дикая боль пронзила Лукича с ног до головы. Он даже губу прикусил до крови. Казалось, вот-вот потеряет сознание.

— Не отрывайся! — закричал хант.

Емельянов из последних сил заставил себя смотреть на страшную рыбу, а она не унималась и ненавидела его все сильнее и сильнее. Все было словно в тумане, кроме бешеных глаз дикой рыбы. Емельянов даже не слышал камлания ханта.

Неожиданно на его глазах щука стала сильно темнеть. Из светло-зеленой она становилась желто-копченой. Вдруг она щелкнула зубами и, в последний раз взглянув на старика, резко повернулась на бок и затихла.

— Кончено, — сказал хант.

Емельянов закрыл глаза. Ломило тело. Когда он снова посмотрел на щуку, рыба была желто-коричневая. И в тот же миг Афанасий Лукич испытал неподдельный ужас:

— Она живая!

— Живая, — подтвердил хант. — Болезнь твою взяла. Обратно в речку снесу.

— Так как же...

— Не бойся. Никто ее не поймает. Сколько она проживет, столько и ты жить будешь.

Афанасий Лукич встал со стула и, пошатываясь, подошел к кровати. Он рухнул на свое ложе и проспал до следующего утра крепким молодецким сном, похрапывая на всю избу. Когда дед проснулся, Петровна орудовала на кухне. Что это было? Сон? Он легко встал с постели, прошел в кухню. Над рукомойником висело зеркало. Глянув в него, Емельянов отшатнулся. Он был обычного цвета, человеческого. Петровна только руками развела.

Прошло несколько месяцев. Наступило лето. Как-то Афанасий Лукич копошился в огороде.

— Дед, здравствуй! — вдруг услышал он за спиной.

Лукич медленно-медленно, боясь, что это ему послышалось, обернулся. Перед ним стоял его внук. Сомнений не было: одно лицо с той фотографией, где молодой Емельянов изображен перед уходом на фронт.

Артем оказался хорошим парнем. Помогал по хозяйству, даже научился стряпать пироги. Внимательно слушал рассказы, расспрашивал. Он привез много заграничных подарков бабушке и деду. Петровна связала к его приезду свитер. Дед купил удочку. Внук благодарил их от всей души. Перед тем как ему уезжать, дед достал свои награды.

— Держи, внук, береги их. На них кровь наших солдат. На них наша победа. Живите мирно, не воюйте. И приезжай-ка ты из своей Америки после учебы обратно в Россию.

Дед и внук крепко обнялись на прощание.

— Я еще приеду, — пообещал Артем Емельянов.

Проводив внука, дед выпил здоровую чарку вина, еще раз посмотрел на фотографии с внуком и лег спать. Больше он не проснулся.

Рецепт хорошего настроения

Кто не пробовал орешки со сгущенкой? Вкуснотища! Но, увы, не для всех. Кого-то, например, от них тошнит...

Солнечным морозным деньком две подружки, Жанна и Майя, гуляли вдоль Ангары по бульвару Гагарина. Майя весело щебетала:

— До чего я наш Иркутск иногда ненавижу, а сегодня просто обожаю. Глянь, какая красота кругом.

Жанна тоже любовалась заснеженными, сверкающими на солнце деревьями, но без особой радости.

— Может, заглянем в кафе? — предложила Майя. — Первый день зимы. Отметим.

Жанна помрачнела:

— Майка, у меня с деньгами засада. Кредит платить нечем. Работы никакой. Бьюсь, куда угодно готова пойти...

По бульвару прогуливалось много женщин с колясками, и в этот миг Майя поздоровалась с одной из них:

— Здравствуйте, Светлана Анатольевна! О, какие мы уже большие! — Она наклонилась к коляске из которой выглядывал голубоглазый малыш.

— Растем, Маечка, растем... — сказала ее знакомая.

Они перемолвились еще парой фраз, и Светлана Анатольевна покатила коляску дальше.

— В соседнем отделе у нас работала. Детей у них с мужем долго не было. По каким только врачам... И в Москву ездили, и бог весть еще куда. А в прошлом году, прикинь, вдруг раз — и забеременела. Говорят, какой-то святой помолилась... Я, правда, в это не верю...

Жанну рассказ подруги явно не волновал.

— Так вот... — хотела было продолжить она про свое, но Майю распирало желание дорассказать:

— Погоди, погоди! На Новый год она была на третьем месяце. Все шампанское пьют, и ей вдруг так захотелось, аж до скрежета зубов. А тетка при этом совсем не пьющая. Сидит и говорит себе: «Нельзя, нельзя! Эгоистка!» Прикинь? Боялась ребенку навредить. Еще бы, они его столько ждали! А сама сидит и мучается, так бы схватила бокал и — залпом! И потом после Нового года долгое время ей хотелось шампанского, но она так и не позволила его себе. И вот... Слушай, слушай сюда! Рождается ребенок, вот этот самый голубоглазик, которого мы сейчас видели. Скажи, хорошенький?

— Хорошенький, — кивнула Жанна.

— Так вот, рождается он, а у него на руках кистей нет.

— Да ты что! — тут только Жанну задел этот рассказ. Она даже повернулась и посмотрела вслед женщине с коляской.

— А самое-то главное: врач ее потом спрашивает, профессор: «А не хотелось ли вам, голубушка, чего-нибудь этакого во время беременности?» Она ему: «Хотелось. Бокал шампанского на Новый год». Он тут как заорет на нее: «Так и выпила бы!» Мол, если бы выпила, все было бы нормально.

В кафе они все-таки заглянули — Майя взяла расходы на себя. Заодно предложила подруге работенку.

— Не бог весть какая, — сказала она, — но на первых порах сгодится. Выпекание кондитерских изделий на дому. Оплата сдельная. Оборудование предоставляют. Пиши телефон.

Жанна позвонила сразу же, как пришла домой. Не такой уж она была великой стряпухой, просто деваться некуда. Долги, да и есть нужно. Хотя бы раз в сутки.

Приятный мужской голос принадлежал Владу — хозяину кондитерских ларьков. Он любезно ответил на все вопросы девушки. Нужно стряпать орешки. Продукты он будет поставлять. Работа сдельная — десять рублей с килограмма.

— Еще мне сказали про оборудование.

— Да, да, орешницу я предоставлю.

На следующий день Жанна пошла знакомиться, а заодно и взять оборудование — так важно называлась миниатюрная закрытая сковородочка для выпекания орешков. Сам Влад не очень-то был похож на торгаша, скорее — на доцента института. Доброжелательная улыбка, но при этом слегка надменный взгляд. Вежливое обращение Влада еще больше укрепило Жанну в намерении стряпать орешки. «В конце концов, это ведь временно, — утешала она себя, — попутно буду искать хорошую работу».

— Вот рецепт, — Влад протянул Жанне листок.

— У меня свой есть.

— Мне ваш не надо, мне нужно мой. Это проверенный рецепт. Не один уже килограмм продан.

— А как с продуктами?

— Я выдам для начала на пару килограммов, чтобы оценить ваши орешки.

— Еще, наверное, вам нужно прийти ко мне домой. Ну, посмотреть, что у меня чисто, что я в хороших условиях буду стряпать.

— Необязательно, — отмахнулся Влад, — не мне же их есть.

Жанна посмотрела на киоск, за стеклом которого полки ломились от кондитерских изделий. Вот грибочки, шишечки, а вдруг их тоже кто-то поставляет Владу? В каких условиях они стряпаются? Это вот у нее, Жанны, чисто, а как у других? Она представила себе чью-то неряшливую кухню — плита в жире, грязная посуда засохшая, кругом бегают тараканы. Жанну аж передернуло.

— Вот продукты. Завтра в шесть вечера жду вас возле моего ларька.

Жанна взяла пакет и посмотрела, что ей положили.

— А сгущенку лучше покупать из цельного молока. Она вкуснее!

— Она дороже, — сухо возразил Влад, — у этой оптовая цена значительно ниже, чем у той, что из цельного.

— Скажите, — осмелилась Жанна задать вопрос Владу, — вы ведь все берете на базах, печенье, конфеты, — она кивнула на полки, — а что, орешков разве там нет?

— Есть. Только их закупочная цена высока. Невыгодно. В разы дешевле купить продукты на тех же базах и стряпать самим.

Придя домой, Жанна сразу же взялась за приготовление. Для начала нужно сварить сгущенку. Пока та варилась, восходящая звезда кулинарии по рецепту Влада приготовила тесто и выпекла из него целую гору орешковых половинок, весело приговаривая:

— А орешки не простые, все скорлупки золотые.

Оставалось ждать, пока остынут банки со сгущенкой, а потом, уложив коричневую массу в половинки, их склеить.

Жанна сняла пробу с первого орешка. Безвкусно. Она съела еще один. Орешки получились сухие, как недельное печенье. Жанна расстроилась. Кто такие покупать будет? В ее семье тоже иногда стряпали орешки, в основном по праздникам. И Жанна тоже стряпала. Но те орешки были куда вкуснее, чем только что испеченные.

— Сделаю-ка я по нашему рецепту, — решила девушка.

Пришлось идти в магазин за продуктами, однако, когда орешки были выпечены, стряпуха осталась довольна:

— Вот это по-нашему!

Орешки таяли во рту, и руки сами тянулись за новым печеньем.

На следующий день девушке было сказано однозначно — берем на работу, и выдано продуктов уже на десять килограммов. Она с нагруженными сумками еле-еле дотащилась до дома.

Ну, за работу! Рецепт Влада она выкинула еще вчера. Свой же знала наизусть. Поставив вариться банки со сгущенкой, Жанна в большой кастрюле замесила тесто для пяти килограммов. Для начала она растерла маргарин (эх, лучше бы масло!) с яичными желтками, добавила сметану и сахар. Взбила в пену белки и вылила их в кастрюлю. Туда же проследовала сода, гашеная в уксусе. Постепенно насыпала муку. Теперь эту всю массу предстояло промять, чтобы из нее получилось тесто. С непривычки руки почти сразу же устали. Но Жанна мяла до тех пор, пока в кастрюле не образовался увесистый ком. И как только тесто перестало липнуть к рукам, девушка на некоторое время поместила его в холодильник. А когда вытащила, то смазала маслом и прогрела орешницу и, лепя из теста маленькие комочки, стала укладывать их на сковороду. Немного подержав на огне с одной стороны, потом с другой, Жанна вынула из нее готовые половинки орешков. Сливочные комочки превратились в золотые полуорешки. За один раз орешница выдавала их по девять штук. То есть на четыре с половиной ореха.

Жанна снова наполнила сковороду комочками, и так много-много раз. Через какое-то время получилась гора испеченных половинок. Следующим шагом было заполнение пустых половинок сгущенкой и склеивание их в единый орех. Края у орешков были неровные, и чтобы красивее смотрелось, Жанна обрезала неровности по кругу ножницами. Запах кулинарного блаженства не мог оставить девушку равнодушной. Она попробовала свое творение. Получилось восхитительно!

— Сам бы ел, да деньги нужны, — вспомнилась Жанне присказка одного торговца на рынке.

Предстояло сделать еще пять килограммов. На все десять у нее ушло почти девять часов. На килограмм орешков требуется около часа, — подсчитала она. Очень болела спина. Клонило ко сну. Часы на стене показывали пять утра. Жанна нашла в себе силы убраться на кухне и только потом рухнула в постель.

К шести вечера она принесла орешки Владу. Он в это время что-то выговаривал своей продавщице. Его лоб деловито блестел при тусклом освещении. С Жанной он даже не поздоровался.

— Принесла?

— Да.

— Клади на весы.

Жанна поочередно положила три пакета. В общей сумме получилось десять килограммов сто двадцать граммов. Влад достал один орешек, попробовал. Только после этого отсчитал Жанне сто рублей и, покопавшись в кармане, добавил еще рубль двадцать.

— Не надо! — Жанна не хотела брать мелочь.

— Как не надо? — удивился Влад. — У меня как в банке.

На этот раз Жанна пришла с саночками, чтобы не тащить продукты на себе. По пути домой она прикупила настоящих орехов, и когда стряпала кондитерские, то в наполненные сгущенкой половинки для изюминки добавляла по арахису. Сократить время стряпания ей не удалось. И вновь она легла под утро. Оставлять на день стряпню ей не хотелось. Боялась, что вдруг не успеет.

Целую неделю Жанна исправно приходила к шести часам и сдавала свои десять килограммов.

— Как так? — удивлялся Влад. — У меня несколько человек стряпают эти орешки. У всех выходит около десяти килограммов, а у тебя за десять переваливает каждый раз.

«Так продукты по полной нужно класть», — усмехнулась девушка, но вслух ничего не сказала.

Орешки Влад выставлял по восемьдесят рублей. Выгода очевидная.

— А твои орешки, — поделилась с Жанной продавщица в ларьке Влада, — вот уже четвертый день он не дает мне на продажу. В соседние ларьки перепродает, жучара.

— И за сколько?

— А мне почем знать? За деньги. Но выгоду свою не упустит.

На следующий день Влад вдруг стал особо расхваливать орешки Жанны.

— Твои влет уходят. Даже мой сын постоянно просит, чтобы я ему приносил.

Разумеется, Жанне стало приятно.

— Жаль, что ты мало их стряпаешь. Всего по десять килограммов.

— Так у меня и так по девять часов на них уходит. Хотя вчера уже чуть меньше.

— А чего бы тебе пятнадцать не стряпать? Ведь нигде не работаешь. Деньги-то не помешают.

«Вообще-то, ты копейки платишь за то, что я спину не разгибаю часами. Что такое десять рублей?» — вспыхнула Жанна, но вслух ничего не сказала — работы другой у нее и впрямь пока не было.

— Давай-ка, бери сегодня продуктов на пятнадцать.

— Ладно.

Жанна не разгибала спину почти тринадцать часов. Уснула она, когда было уже позднее утро. И так повторялось изо дня в день. В шесть часов вечера она сдавала орешки, выслушивала похвалы в адрес своих маленьких шедевров, а потом снова по тринадцать часов вкалывала, не разгибая спины.

«Свирица»: Беларусь — Россия

Однажды Жанна услышала, как одна из покупательниц спросила продавщицу:

— Вы случайно не знаете рецепт приготовления этих орешков?

— Не знаю, — буркнула продавщица.

— Жаль. Ведь это не просто рецепт, а рецепт хорошего настроения.

В тот день и у Жанны было очень хорошее настроение.

Через какое-то время Влад упросил ее стряпать по двадцать килограммов, и Жанна согласилась. Она стала работать быстрее, и если на пятнадцать килограммов когда-то уходило почти тринадцать часов, то сейчас на двадцать — около пятнадцати. Плюс еще нужно было доставить орешки к месту назначения, а это тоже драгоценные минуты.

Жанна похудела, осунулась, но продолжала стряпать. Она зарабатывала теперь двести рублей в день. Но каким трудом! Ее высшее образование было никому не нужно. Но она особо и не плакала, ведь людям нравились ее орешки, и это грело ей душу.

Так прошла зима. Выходных у нее не было, только первого и второго января, да и то потому, что киоск Влада в эти дни не работал. Наступила весна, но и она не принесла никаких изменений. А в апреле у Жанны с Владом произошла крупная ссора. На двадцать килограммов требовалось значительное количество продуктов, и если зимой девушка возила их на санках, то теперь асфальт оголился, и возить по нему санки было глупо.

— Что будем делать? — спросила она Влада.

Влад пожал плечами:

— Ты здесь недалеко живешь. Дважды сходи. Сначала на десять килограммов отнеси, потом еще на десять.

— Вообще-то это нелегко.

— Не мои проблемы.

— Когда же я стряпать буду, если по сто раз буду ходить взад-вперед? Я и так, не разгибаясь, по пятнадцать часов батрачу.

Слово «батрачу» сильно рассердило работодателя.

— Батрачит она! Не за бесплатно же.

— Но и не за великие деньги! Вы мои орешки перепродаете за сто двадцать, их ставят по сто тридцать, и все равно они продаются. А это цена самых дорогих конфет. Притом, во всем городе орешки по семьдесят пять-восемьдесят рублей. А мои орешки покупают...

Влад не дал ей договорить:

— Не твои орешки, а мои. Ты только производитель, работница моя.

— Ах так! — психанула Жанна и, ничего не сказав больше, зашагала домой.

По дороге она приняла решение — больше не работать на Влада. И ей вдруг сделалось так легко, что она принялась кружиться. Прохожие недоуменно глядели на нее. А Жанна ликовала: долой орешки! Долой пятнадцатичасовой рабочий день! Долой рабство! «Мы не рабы, рабы не мы!»

Она даже воскликнула:

— Долой буржуев!

А проходивший мимо парень вскинул в ответ кулак:

— Долой!

По дороге Жанна зашла в магазин и встретила там соседку Любу.

— Жанка, ты чего-то похудела.

— Слушай, послезавтра День космонавтики, давай отметим его сегодня, — предложила Жанна.

«Сябрына»; Беларусь — Россия

Любку упрашивать не пришлось. Они накупили еды, взяли две бутылки шампанского и отправились к Жанне домой.

Шампанское с первого же бокала ударило Жанне в голову. Она сидела на диване с закинутыми на стол ногами и ощущала такое чувство свободы, какого никогда не испытывала прежде.

— «Решись, и ты свободен!» — выкрикнула она фразу Марка Аврелия.

— Хорошо сказано! — поддержала Любка.

При втором бокале Жанне вспомнилась та женщина на бульваре Гагарина. Она хотела было рассказать о ней Любке, но передумала — не надо портить праздник.

В дверь позвонили. На пороге стоял Влад. Увидев его, Жанна похолодела. По его виноватому лицу она поняла, что свобода куда-то ускользает от нее. Действительно, Влад приехал с продуктами и извинениями.

— Не буду! — заупрямилась Жанна.

— Я сам тебе стану возить продукты. У меня же машина под рукой, — уговаривал Влад.

— Да не хочу я! Устала!

— Но ведь у тебя нет работы.

Это был действенный аргумент.

— А когда я найду ее, если целыми днями за орешницей?

— Стряпай хотя бы десятку. Пожалуйста! — Влад был жалок в своем буржуйском желании не упустить свою выгоду. Казалось, он сейчас упадет перед ней на колени.

Ей не было его жаль, но после настойчивых уговоров она все же согласилась.

— Ладно, буду стряпать по десять кило. Это семь с половиной часов. В общем-то, рабочий день на любом предприятии. А в оставшееся время начну себе работу искать.

На том и порешили.

— Симпатичный, — сказала Любка про Влада, когда тот ушел. Глаза ее блестели — то ли от шампанского, то ли еще от чего.

— Так себе, — хмыкнула Жанна. — Жлоб, каких мало.

— Уговаривал? — Люба знала про ссору.

— Угу.

— Уговорил?

— Угу.

— А сама-то: «Ни за какие коврижки, с орехами покончено! Решись, и ты свободен!..»

— Немного еще постряпаю.

— Все-таки он тебе нравится, раз согласилась. — Любка неприятно засмеялась.

— Вот еще, — устало ответила Жанна.

Несколько дней она стряпала орешки и искала работу. Денег катастрофически не хватало. Сто рублей — это не двести. Но на двадцать килограммов она ни за что не соглашалась. Опять эта кабала... Жанна как-то раз заикнулась о прибавке, но Влад и ухом не повел.

Знал бы он, сколько раз к ней подходили его перекупщики и предлагали стряпать за гораздо большие деньги. И чего не согласилась? Дура! Неудобно ей! Дура и еще раз дура. Думала: ну, чего бегать? С Владом вроде бы сработалась. Может, и он чуть повысит тариф, видя ее стара-

ния. Где там! А теперь Жанна чувствовала, что ей оставалось работать у Влада недолго, поэтому и менять закупщика глупо: нервы себе только трепать напоследок.

В конце апреля Жанне предложили работу — администратором в спортивном комплексе. Она не раздумывая согласилась. Орешки больше не стряпала. И даже запаха их не выносила. Жанна сосчитала — за пять месяцев она состряпала их почти три тонны!

Теперь ей часто снился один и тот же сон. Огромная комната, заваленная орешками, и стоит только открыть дверь, как они лавиной польются на нее, и она потонет в этом бескрайнем орешковом море.

Однажды на работе кто-то к чаю принес орешки со сгущенкой. Жанне, увидевшей их на столе, сделалось дурно. Ни есть, ни видеть их она не могла. Чувство рабства хотелось искоренить навсегда.

Прошло месяца три. Влад звонил несколько раз, спрашивая, не желает ли она подработать. Жанна, естественно, не желала. А как-то под вечер в дверь ее квартиры позвонили. На пороге стоял незнакомый мужчина средних лет.

— Простите, Жанна здесь живет?

— Да, здесь. Что вы хотели?

— Это вы?

Жанна сдержанно кивнула. Видно было, что мужчина сильно обрадовался.

— У меня к вам просьба. Не откажите.

— Мы разве с вами знакомы?

— Дело в том, что мы покупали ваши орешки...

Лицо Жанны вытянулось и замерло. Она даже успела испугаться. А вдруг отравился кто?

— Мне сказали, что вы сейчас не стряпаете.

— Кто вам это сказал?

— Влад, хозяин кондитерского киоска. Он мне и адрес ваш дал. Не бесплатно, разумеется.

— Вот дрянь! — вырвалось у Жанны.

— Постряпайте орешки! — незнакомец умоляюще посмотрел на девушку.

— Нет, нет. И не просите. — Жанна попыталась закрыть дверь. — Извините, мне некогда.

— Мне действительно очень нужно, — спешно заговорил мужчина. — Мы с женой часто покупали орешки. Ваши. Жена у меня их очень любит. Детские воспоминания. Долго рассказывать. А потом вы куда-то подевались. Моя жена беременна. Она хочет орешков, и именно ваших. Сколько бы мы ни покупали — все не то, не тот вкус, понимаете?

— Я же вам сказала — нет! Я их три тонны наваляла! Меня тошнит от них!

— Один раз. Только один раз. Я заплачу столько, сколько вы скажете.

— Да при чем тут деньги...

— Я очень прошу вас. Очень. У нас долго не было детей. Жене сорок. Мне скоро пятьдесят. Мы уже отчаялись, и вдруг такая радость! Уже третий месяц. Пожалуйста, состряпайте орешки. Прошу вас.

— Третий месяц?..

Жанне вспомнилась история про мальчика без кистей рук.

— Хорошо, я состряпаю. Завтра приходите.

— Деньги, — мужчина радостно принялся расстегивать куртку.

— Потом разберемся.

Стряпая эти орешки, Жанна поначалу задавливала в себе отвращение, но мысль о том, что в организме беременной женщины чего-то не хватает, смиряла ее. Она мяла тесто и думала о том, каким сластеной будет малыш у этой пары, если задолго до рождения он требует выпечки. Надо будет дать им ее семейный рецепт — пусть едят в свое удовольствие. Ведь это же не просто рецепт, а рецепт хорошего настроения!

А может быть, этот сластена будет поступать так же, как Жанна с братом в детстве. Они брали из вазы орешки, вылизывали из них начинку и снова склеивали! Вот уж доставалась им на орехи, если кому-нибудь из гостей попадался такой сюрприз!

Жанна проработала часа четыре, выпекла пять килограммов орешков. Они получились дивные, румяные, с характерными продольными полосками и с арахисом внутри. Жанна съела парочку. Как всегда — отменные. Даже лучше, чем раньше.

Мужчина пришел во второй половине дня.

— Как я вам благодарен, — сказал он, увидев блюдо, наполненное доверху орешками.

Он достал из кошелька крупную купюру и протянул Жанне.

— Нет, — возразила она, — только за продукты. Вот чек.

Заказчик усмехнулся:

— Да это копейки! А за работу?

— Ничего не надо. Ничего. Идите, кормите свою жену орешками.

Через два часа в дверь постучали. На пороге стоял все тот же мужчина. В руках он держал корзину с цветами. Жанне никто никогда не дарил так много цветов сразу.

— Хорошо, что вы вернулись! — смутилась девушка. — Я забыла вам дать рецепт.

— Премного благодарен! — засиял мужчина. — Это ведь не просто рецепт!

— А что? — удивилась Жанна.

— Как сказала моя жена, ваш рецепт — это рецепт хорошего настроения!





ВЛАДИМИР ШУГЛЯ

Через прицел души

* * *

Я вижу мир через прицел души
В небесно-кратном разрешеньи,
В уменьи вездесущего левши
Узреть невидимое зренью.

...Проснувшись в три — в мерцанье серебра, —
В кругу небесных, звездных чисел
Стою... И таинство свое творя,
Душа в ночной блуждает выси.

Со мною мир, притихший до утра,
Свет звезд... А в сердце — раны ножевые...
Стекает мысль с души пера,
И я — среди бесчисленных утрат...
И с неба: «Верьте...
Мы живые...»

Не сдавайте страны

Отцы приходили с войны —
Спускались, кто выжил, с победных вершин,
И честь, и свободу страны
Спасли от безумия страшных годин...

Отцы приходили с войны,
А в душах разрывы снарядов и мин,
И с ними рождались и мы...
Мое поколенье — из тысяч ХАТЫНЬ!

Отцы приходили с войны —
За ними Варшава... Им сдался Берлин...
Но те же — в боях — у них сны,
И души, как птицы, сбиваются в клин...

И шепчут нам с болью они:
«Сынки! Не сдавайте страны...»

* * *

Разрывы — волной,
Сестренки в слезах...
Бедой и войной
Кустарник пропах.

У страхов в плену
Все крестится мать...
Забыть ли войну!!!
...Ей долго не спать.

Припомнить, скорбя,
Военный мотив,
По-русски себя
Крестом осенив...

* * *

На слово скор и на работу,
Я думал — в том моя звезда...
Но быстро понял — пусть не с лету, —
Где пустословье — жизнь пуста.

С теченьем лет понятна стала
Бесцельность слов, коль дела нет,
А в сердце взрывчатость осталась
На блуд из слов, на фальши след.

И до сих пор, как вспомню, стыдно
За боль, что другу причинил...
Пусть в детстве... До сих пор обидно —
За словесами правду скрыл.

О, как бы снова мне хотелось
С ним встретиться и снять вину!
...Но для меня какая зрелость
Была б без этих трех минут?!

* * *

Дочь растет, а с ней — тревога:
Что таит ее дорога?!
Знать бы все и быть с ней рядом,
От тревог и горя спрятав.

Пусть у дней меня все меньше —
Быть бы только рядом — с ней же!
Жизни я кричу: «Постой же,
Мне бы с ней пожить подольше...»

...Пусть же наши с дочкой встречи
Будут жить в рассветах вечных.
В светлых днях, где синь с отливом,
Стану я душой счастливым...

Писатель и время: письма к Ивану Шамякину

Читатели журнала «Нёман» в 2014 году имели возможность познакомиться с перепиской Ивана Шамякина с русскими переводчиками П. Кобзаревским и А. Островским. Сейчас уважаемой публике предлагается подборка писем к Ивану Шамякину от русских, украинских, латышских, литовских и монгольских писателей, переводчиков и редакторов.

Надеемся, что этот материал заинтересует как читателей, так и специалистов в области литературы, поскольку до последнего времени эпистолярное наследие, как правило, не публиковалось. А в нем, несмотря на определенную субъективность, содержатся важные и интересные сведения не только бытового характера, но и литературной и общественной жизни, что, безусловно, поможет расширить представления о жизни и творчестве того или иного писателя.

Предлагаемые читателю письма охватывают период с 1950 по 1984 гг.

1

А. Сурков — И. Шамякину

21 сентября 1950 г.

Тов. И. П. Шамякину

Дорогой Иван Петрович!

За последние годы тираж «Огонька» утроился, а число читателей увеличилось в десятки раз. Короткий рассказ стал основополагающим жанром в журнале. Редакция делала все, чтобы рассказы в «Огоньке» соответствовали возросшим требованиям читателя. Однако, как показывают многочисленные читательские письма, значительная часть рассказов, печатаемых в журнале, не удовлетворяет читателей и по содержанию, и по художественному качеству.

Стремление добиться решительного перелома в борьбе за высокое идейно-художественное качество рассказов побудило редакцию объявить закрытый конкурс на лучший рассказ, привлекая к участию в конкурсе мастеров советской прозы, и в первую очередь тех, чьи рассказы пользуются популярностью у широких слоев наших читателей.

Редакция обращается к Вам с просьбой принять участие в конкурсе и надеется, что присланные Вами рассказы станут по праву украшением страниц «Огонька».

Редакция предоставляет Вам неограниченное право выбора сюжета, стилевых особенностей, ситуаций, — в пределах современной советской темы.

Не откажите в любезности сообщить нам, может ли редакция рассчитывать на Ваше участие в конкурсе.

С приветом
искренне уважающий Вас
Главный редактор журнала
«Огонёк» Ал. Сурков

Письмо написано Алексеем Александровичем Сурковым (1899—1983), русским советским поэтом, журналистом, общественным деятелем, Героем Социалистического Труда (1969), лауреатом двух Сталинских премий (1946, 1951), ответственным редактором журнала «Огонёк» (в 1945—1953 гг.).

«Огонёк» — советский и российский общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал. Был основан и издавался в 1899—1918 годах в Санкт-Петербурге (Петрограде). С 1923 года выходит в Москве.

«...присланные Вами рассказы станут по праву украшением страниц “Огонька”». — На сегодняшний день публикация рассказов И. Шамякина в журнале «Огонёк» в начале 1950-х гг. не выявлена.

2

П. С. Кобзаревский — И. Шамякину

20.XI.51 г., Ленинград

Мой дорогой Иван Петрович!

От всей души поздравляю тебя с новосельем. Желаю тебе в новом жилище создать много-много замечательных романов и рассказов. В том, что они будут, я уверен — любя твое большое и настоящее дарование!

Поздравляю тебя и с «Победой»! Хочу, чтобы ты на этой «Победе» приходил от победы к новой победе в творчестве, общественной и личной жизни. Да будет так, дорогой Иван Петрович!

Еще одно пожелание: хочу, чтобы ты и Мария Филатовна были нашими гостями весною 52 года. Я знаю, что Ваш приезд в наш замечательный город принесет Вам много радости, а тебе творческой пользы.

На наших издателей не обижайся. Они еще, к сожалению, многого не понимают. Скажу тебе прямо: ленинградские писатели тебя знают и любят. Знаю, что высокую оценку твоему роману дал профессор Павел Наумович Берков, читающий курс литературы народов СССР в Ленинградском университете.

Арсений Георгиевич с большим увлечением работает над переводом твоего романа. В том, что перевод будет хорошим, я уверен.

Сборник «Белорусские рассказы» выйдет в Ленинграде в первой трети 52 г. Сборник для «Советского писателя» я тоже подготовил и отправил в Москву.

Работаю я по-прежнему. Обидно, что иногда охаивают работу ни за что ни про что. Я «проглатываю пилюлю» и стараюсь работать еще лучше. На днях вышла в свет книга Нехая—Ливенцева в моем переводе. Буду очень рад услышать твое мнение об этой книге.

Вероятно, в декабре буду в Минске. Приеду по вопросу издания собр<ания> сочинений Я. Купалы и по ряду других вопросов.

Что нового, хорошего у тебя? Буду от всего сердца рад твоему письму.

Сердечно приветствую тебя, милейшую Марию Филатовну, твоих ребяток и всех общих друзей.

От Анастасии Михайловны и четы Островских тебе и Марии Филатовне сердечный привет.

Твой Павел Кобзаревский

Письмо написано Павлом Семеновичем Кобзаревским (наст. Гордон Фавий Залманович; 1909—1970), русским советским писателем и переводчиком.

«От всей души поздравляю тебя с новосельем». — В 1951 г. И. Шамякин получил квартиру на проспекте Независимости, 19 (до 1961 г. — проспект Сталина), где находится Центральный книжный магазин.

«Победа» — советский легковой автомобиль, который выпускался Горьковским автомобильным заводом в 1946—1958 годах.

Мария Филатовна — Шамякина Мария Филатовна (1921—1998), жена И. П. Шамякина.

«...твоему роману...» — роману «Близкое время» («У добры час»).

Берков Павел Наумович (1896—1969) — советский литературовед, библиограф, книговед, источниковед, историк литературы. Член-корреспондент АН СССР (1960). В 1944—1969 гг. — преподаватель Ленинградского государственного университета.

Арсений Георгиевич — Островский Арсений Георгиевич (1897—1989), русский советский литературовед и переводчик. Заслуженный работник культуры БССР (1973).

«...над переводом твоего романа». — Перевод романа «У добры час» («Близкое время») на русский язык.

«Сборник “Белорусские рассказы”...» — Сборник «Белорусские рассказы», в который вошли рассказы И. Шамякина «Крестьянка», «Спи, мой сыночек», «Две силы», вышел в 1952 году.

«Сборник для “Советского писателя”...» — Возможно, имеется в виду сб. «Возрожденная земля», который вышел в Москве в 1954 г. Включены рассказы И. Шамякина «Наташа» и «В Москву». «Советский писатель» — советское и российское издательство, основанное в Москве в 1934 году. С 1938 года — издательство Союза советских писателей. С 1992 года работало на коммерческой основе. С 2009 года книг практически не издавало.

«...вышла в свет книга Нехая — Ливенцева в моем переводе». — Имеется в виду книга В. Ливенцева «Партызанскі край» (1950; литературная запись Г. Нехая). На русском языке книга вышла в 1951 г. Нехай Григорий Осипович (1914—1991) — белорусский поэт, переводчик. Ливенцев Виктор Ильич (1918—2009) — советский партизан, Герой Советского Союза (1944).

«...по вопросу издания собр<ания> сочинений Я. Купалы...» — Собрание сочинений народного поэта Беларуси Янки Купалы (наст. Луцевич Иван Доминикович; 1882—1942) выходило в 1951—1954 гг. на белорусском языке. На русском языке в начале 1950-х гг. Собрание сочинений Янки Купалы выходило в «Библиотеке поэта. Большая серия» (Ленинград, 1950).

Анастасия Михайловна — на сегодняшний день никаких сведений выявить не удалось.

3

С. Кирьянов — И. Шамякину

12.VI.1952 г.

Уважаемый Иван Петрович!

Я получил первую часть Вашего романа «Близкое время». Ее уже кое-кто у нас почитал, ждем представления окончания. Конечно, ваш роман все время будет находиться в поле нашего зрения. Уверен, что это будет достойное произведение. Итак, ждем законченный вариант романа.

Тираж «Глубокого течения» будет в ближайшие дни, если уже не сдан. Я рекомендую Вам выслать доверенность Последовичу на получение авторских экземпляров, он их получит и привезет.

Горячий привет, желаю успехов.
Ваш С. Кирьянов

Письмо написано Сергеем Леонидовичем Кирьяновым (1907—1982), заведующим отделом редакции прозы народов СССР издательства «Советский писатель».

«Тираж “Глубокого течения”...» — Роман вышел в 1952 году (4-е и 5-е изд.).

Последович Макар Трофимович (1906—1984) — белорусский писатель и переводчик.

4

М. В. Горбачев — И. Шамякину

1.III 55 г., Москва

Дорогой Иван Петрович!

От всей души поздравляю Вас с высокой правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени и желаю новых творческих успехов на белорусской литературной ниве!

Несколько слов о сценарии. В день отъезда Смоляра из Москвы я встретился с ним, и он вдруг неожиданно сообщил, что «партизанская тема» пока не утверждена. Редакционные работники, дескать, ведут переговоры с ЦК и т. д. Я просил его ускорить решение этого вопроса. Одновременно позвонил в киноглавк т. Бондаревой. Она тоже сказала, что «военная тема» пока под вопросом. На вопрос же, когда будет снят этот вопрос, она пока ничего не сказала. Я и ее попросил ускорить договоренность с кем это нужно на месте и дать мне ответ, чтобы продолжить работу над сценарием.

Я не хотел Вас беспокоить, Иван Петрович, но коль так сложились обстоятельства, то я попросил бы Вас позвонить Буслову или Горбунову (или хотя бы Киселеву), чтобы они положительно и без задержки решили этот вопрос. Фрицы из З/Германии все выше подымают голову, наглеют, а мы такую патриотическую тему хороним, вернее, хоронят ее студия «Беларусьфильм» и Минский киноглавк.

Может быть, общими усилиями выведем «Глубокое течение» из застойного вира и дадим ему нужное направление.

С искренним уважением
Мих. Горбачев

Письмо написано Михаилом Васильевичем Горбачевым (1921—1981), русским советским писателем и переводчиком, консультантом по белорусской литературе Союза писателей СССР.

В письме речь идет о съемках фильма по роману И. Шамякина «Глубокое течение». В 1950-е годы фильм не был снят. Съемки по роману «Глубокое течение» начались в 2004 году. Премьера состоялась 9 мая 2005 года.

«...орденом Трудового Красного Знамени...» — первоначально писался также в именительном падеже: орден «Трудовое Красное Знамя». Учрежден Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 сентября 1928 г.

Смоляр — какой Смоляр имеется в виду, на сегодняшний день не выявлено.

Бондарева — иных сведений, кроме тех, что есть в письме, выявить не удалось.

Буслов Казимир Павлович (1914—1983) — белорусский философ. Академик АН БССР (1972). Заслуженный деятель науки БССР (1974). В 1951—1956 гг. — заведующий отделом литературы и искусства, науки и культуры ЦК КПБ.

Горбунов Тимох (Тимофей) Сазонович (1904—1969) — белорусский партийный и государственный деятель, историк. Академик АН БССР (1959). В 1955—1963 гг. — Председатель Верховного Совета БССР.

Киселев Григорий Яковлевич (1913—1970) — министр культуры БССР в 1953—1964 гг.

«Беларусьфильм» — белорусская киностудия, основана в 1924 году.

5

С. Караганова — И. Шамякину

8 декабря 1957 г.

Дорогой Иван Петрович!

С удовольствием прочли Вашу пьесу и подробно обсудили ее с Александром Васильевичем. Это хорошее начало, по-моему. От души желаю Вам успехов в новом для Вас жанре. Но не буду повторяться — наше общее мнение о пьесе изложено в письме Ал. Васильевича. Разошлись мы только в одном: мне кажется, что линию кражи документов не надо особенно менять, во всяком случае, не следует вводить мотив мести мачехи пасынку. Это слишком шаблонно. И второе — Кондрат в первом акте несколько излишне назидателен, излишне основателен в своих суждениях. Мне кажется, ему следует быть более «молодым», что ли. Тогда его образ будет еще симпатичнее.

Очень жаль, что нельзя с Вами свидеться и поговорить, — наверное, и Ал. Вас., и я о некоторых мелочах забыли написать. А может быть, Вы подъедете к нам на несколько дней хотя бы? Будем рады.

Во всяком случае, давайте условимся так: я начну переводить пьесу, ее первый акт сейчас не потребует больших переделок, даже если Вы примете большинство наших замечаний. А тем временем Вы подумаете об остальном и решите, что можно и нужно еще сделать в пьесе.

После всего этого вышлю Вам перевод, а в Москве попробуем пьесу продвинуть и по линии издания, и по линии театральной.

Напишите нам, что Вы думаете обо всем этом, или позвоните.

Как здоровье жены? Вышла ли она из больницы? У нас тоже не все ладно со здоровьем в семье: у Сережки коклюш.

Желаю вам всем здоровья.

С сердечным приветом
С. Караганова

Письмо написано Софьей Карагановой (по литературе С. Григорьева, девичья С. Мазо), русской советской переводчицей и критиком. Перевела на русский язык роман И. Шамякина «Глубокое течение» и пьесу «Не верьте тишине».

«...прочли Вашу пьесу...» — «Не верьте тишине» (1958). В письмах № 6—8 продолжение разговора о пьесе «Не верьте тишине».

Александр Васильевич — Караганов Александр Васильевич (1915—2007), советский и российский киновед, кинокритик, литературовед. Доктор искусствоведения. Муж Софьи Карагановой.

Кондрат — герой пьесы И. Шамякина «Не верьте тишине».

«...я начну переводить пьесу...» — пьеса «Не верьте тишине» на русском языке отдельным изданием вышла в 1959 г.

«...у Сережки...» — у сына Карагановых.

6

С. Караганова — И. Шамякину

13 января 1959 г., Москва

Дорогой Иван Петрович!

Пользуюсь старой традицией и поздравляю Вас с Новым годом сегодня, тринадцатого. Пусть будет он для Вас и Вашей семьи годом удач и радостей. От всего сердца желаю Вам этого.

Посылаю Вам Информационный Список. Из него Вы узнаете, что Ваша пьеса «Не верьте тишине» пошла в распространение. Содержание ее, увы, авторы «Списка» изложили не слишком удачно, но думаю, что это не помешает ее продвижению на сцену.

Какие у Вас новости? Над чем работаете? Пользуется ли успехом постановка Бел. ТЮЗа? Буду очень рада, если Вы напишете нам обо всем этом.

Александр Васильевич сердечно поздравляет Вас и шлет свои наилучшие пожелания.

С искренним уважением
С. Караганова

Письмо написано С. Карагановой. См. комментарий к письму № 5.

«Пользуется ли успехом постановка Бел. ТЮЗа?» — Пьеса «Не верьте тишине» была поставлена Театром юного зрителя (Минск) в 1958 г.

Александр Васильевич — А. В. Караганов, см. комментарий к письму № 5.

7

С. Караганова — И. Шамякину

22 августа 1959 г.

Дорогой Иван Петрович!

Недели две тому назад я послала Вам письмо и экземпляр пьесы, просила Вас для упрощения связи позвонить в редакцию, но от Вас — ни письма, ни звонка.

На случай, если письмо затерялось в летней пустоте минской квартиры, еще раз коротко информирую Вас о состоянии дел. Пьесой пока заинтересовался один московский театр — им. Гоголя, но труппа еще пьесу не читала. Вопрос этот будет решаться в середине сентября, когда театр начнет работу после гастролей. В альманахе «Современная драматургия» рецензент отнесся к пьесе прохладно, но я попросила Балашову, чтобы вопрос этот решала редколлегия. Сейчас в редакции пьесу прочли и решили передать ее главному редактору — он в конце августа должен вернуться из отпуска, — так что в сентябре решится и этот вопрос.

Отдел распространения держал, держал пьесу и переслал ее мне — оказывается, так как пьеса на русском языке не была еще опубликована, нужно, чтобы пьесу в отдел распространения представил **любой** ставящий ее русский театр.

Нужно, чтобы на экземпляре, который я Вам послала, на титульном листе была: 1) круглая печать театра, 2) № листа, 3) подписи директора театра и главного режиссера. Хорошо бы я получила пьесу обратно до 5 сентября (между пятым и пятнадцатым сентября меня, возможно, не будет в Москве).

Жду от Вас вестей.

Еще раз поздравляю Вас и супругу. Желаю вам всем здоровья и счастья.

Привет от Александра Васильевича.

Сердечно
С. Караганова

Письмо написано С. Карагановой. См. комментарий к письму № 5.

Датируется примерно 1959 годом на основании содержания письма и предыдущих писем.

«...экземпляр пьесы...» — пьесы «Не верьте тишине».

«...один московский театр — им. Гоголя...» — государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы. Основан в 1925 году.

«Современная драматургия» — книжная серия «Современная драматургия» (альманах). Издается в Москве.

Балашова — иных сведений, кроме тех, что есть в письме, выявить не удалось.

Александр Васильевич — см. комментарий к письму № 5.

8

С. Караганова — И. Шамякину

22.X.61 г.

Уважаемый Иван Петрович!

У меня сдвинулись сроки отпуска, и я уехала во Францию только 23 октября. Вернувшись, застала дома Ваше письмо. Что произошло с экземпляром пьесы, я пока так и не выяснила — экспедитор «Нового мира», отправлявший Вам пьесу, сейчас в отпуску. Я перепечатала ее и выслала Вам два экземпляра: один для Вас, другой для отдела распространения. На отдел распространения Вы рассердились, по-моему, зря. Они ведь просят № листа для убыстрения дела, чтобы не проводить **русский текст заново** через Главлит. Когда мы печатали «Не верьте тишине», помнится, Вы тоже прислали залитованный **русский** перевод. В альманахе пьесу принципиально одобрили и взяли в запас. Пока они не могут еще сказать, в каком именно номере они ее будут печатать, — у них есть несколько ранее принятых пьес на очереди. Тем более нужно потрудиться с отделом распространения.

В театре им. Гоголя (Москва) вопрос долго не решался. Завлиту Куинджи пьеса очень понравилась, он просил меня до выяснения у них возможности постановки ни в какой другой театр Москвы пьесу не давать. А накануне моего отъезда в Крым он позвонил мне и сказал, что Васильев (главреж) к пьесе отнесся прохладно в связи с тем, что в репертуаре театра на 1962 год есть уже две пьесы, связанные с деревней. Очень жаль, театр этот довольно хороший. Но ничего, думаю, что все же пьеса выйдет на московскую сцену — не в одном, так в другом театре. (Хотя московские режиссеры ведут себя, как разборчивые невесты, — отклоняют пьесы одну за другой, а когда их начинают бить за бедность современного репертуара — хватают первую попавшуюся.)

Изменили ли Вы название пьесы? Куинджи тоже усомнился в правомерности этого названия.

В Крыму мы будем не особенно долго — до 13 ноября. Приеду в Москву — сразу позвоню Вам.

Александр Васильевич шлет Вам сердечный привет.

Будьте здоровы.

С. Караганова

Если будут у Вас какие-нибудь новости — напишите мне.

Письмо написано С. Карагановой. См. комментарий к письму № 5.

«...с экземпляром пьесы...» — пьесы «Не верьте тишине».

«Новый мир» — один из старейших в современной России ежемесячных литературно-художественных журналов. Издается в Москве с 1925 года.

Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств, орган государственного управления СССР, осуществлявший цензуру печатных произведений и защиту государственных секретов в средствах массовой информации в период с 1922 по 1991 гг.

«Когда мы печатали “Не верьте тишине”...» — отдельными изданиями выходила в 1959 и 1960 гг.

«В альманахе...» — «Современная драматургия».

«В театре им. Гоголя (Москва)...» — см. комментарий к письму № 7.

Куинджи — иных сведений, кроме тех, что есть в письме, на сегодняшний день не выявлено.

Васильев Петр Павлович (1908—1994) — русский советский театральный режиссер. Лауреат Сталинской премии (1950). В 1958—1961 гг. — главный режиссер театра им. Гоголя (Москва).

Александр Васильевич — А. В. Караганов, см. комментарий к письму № 5.

9

Л. Леонов — И. Шамякину

12 июня 1958 г.

Уважаемый Иван Петрович!

Президиум Правления Союза писателей СССР на своем последнем заседании ввел Вас в Комиссию по подготовке предложений III съезду писателей по Уставу СП СССР.

Посылаем Вам экземпляр Устава и просим подготовить Ваши практические предложения по Уставу к заседанию Комиссии, которое состоится в августе с. г. (число будет сообщено Вам дополнительно).

Просим Вас, в частности, обратить внимание:

а) на теоретическую часть Устава. Может быть, здесь требуются уточнения и дополнения на основе известного партийного документа «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа»;

б) на вопросы приема в Союз писателей кинодраматургов, в связи с созданием Союза работников кинематографии. Кроме того, на писательских собраниях неоднократно ставился вопрос о целесообразности учреждения самостоятельного творческого Союза переводчиков ввиду возросшего значения у нас переводного дела, с более жесткими условиями приема в СП лиц, занимающихся только переводами, и т. д.;

в) на целесообразность одновременного существования Президиума СП СССР и Секретариата. Этот вопрос неоднократно возникал, как Вы, вероятно, помните, на заседаниях Правления и Президиума, и нашей Комиссии следует дать свои рекомендации III съезду писателей и по данной проблеме — организационной структуры будущего Правления Союза писателей СССР.

Разумеется, все это лишь наиболее существенное, первоочередное, на наш взгляд, возникающее сейчас по Уставу СП. Просим Вас в своих предложениях не ограничиваться только перечисленным и поставить перед Комиссией по Уставу СП все, что Вы считаете необходимым.

С приветом
Секретарь Правления
Союза писателей СССР Л. Леонов

Письмо написано Леонидом Максимовичем Леоновым (1899—1994), русским советским писателем, лауреатом Сталинской (1943), Ленинской (1957) и Государственной премий СССР (1977), Героем Социалистического Труда (1967).

«...III съезду писателей...» — III съезд писателей СССР проходил 18—23 мая 1959 года.

«...известного партийного документа "За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа"...» — опубликован 28 августа 1957 года, представляет собой сокращенное выступление Н. С. Хрущева (1894—1971). В 1958 году вышла книга «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», в которой изложен сокращенный вариант выступлений Н. С. Хрущева по вопросам литературы и искусства.

«...с созданием Союза работников кинематографии». — 3 июня 1957 года ЦК КПСС принял решение о создании Союза работников кинематографии СССР.

10

Ё. Шийхар — И. Шамякину

23 июня 1981 г.

Здравствуйте!

Вам с уважением пишу из города Баянхонгор Монгольской Народной Республики. Меня зовут Шийхар.

После окончания политехнического института я 10 лет проработал инженером-гидрогеологом, а последние два года работаю ответственным секретарем аймачного совета общества монголо-советской дружбы при аймачном комитете МНРП.

Последние 5 лет занимаюсь переводом художественной литературы. Перевел на монгольский язык повести «Бабье царство» Ю. Нагибина, «Опрятность ума» Г. Гуревича, несколько рассказов и стихи.

С 1980 года начал работать над книгой «Сердце на ладони» И. П. Шамякина. И только сейчас выясняется, что эта книга не включена в список разрешаемых к переводу произведений. И поэтому я пишу это письмо для того, чтобы связаться с автором и получить его разрешение на перевод и заодно выяснить, почему она исключена из списка. Кроме того, хотел бы узнать, есть ли возможность посодействовать со стороны вашего союза для того, чтобы все-таки включить эту книгу в список разрешаемых к переводу литератур.

С нетерпением жду ваших сообщений.

Мой адрес: МНР, г. Баянхонгор, ответственный секретарь аймачного совета ОСМД Ё. Шийхар.

С уважением к вам Ё. Шийхар

Письмо написано Ё. Шийхаром, монгольским инженером, переводчиком, общественным деятелем.

Баянхонгор — административный центр аймака Баянхонгор (Монгольская Народная Республика).

МНРП — Монгольская народно-революционная партия (1924—2010), с 2010 г. — Монгольская народная партия. Левоцентристская политическая партия Монголии. До 1990 г. придерживалась марксистско-ленинской идеологии.

«...повести “Бабье царство” Ю. Нагибина...» — повесть (1965) русского писателя, журналиста и сценариста Юрия Марковича Нагибина (1920—1994).

«...“Опрятность ума” Г. Гуревича...» — книга (1970) русского советского писателя-фантаста, критика и исследователя фантастики, популяризатора науки Георгия Иосифовича Гуревича (1917—1998).

«...начал работать над книгой “Сердце на ладони” И. П. Шамякина». — Роман на монгольском языке не издавался.

11

Ю. Збанацкий — И. Шамякину

12 июня 1984 г.

Добрый день, дорогой Іване Петровичу!

Сердечный привет и наилучшие пожелания доброго здоровья, больших успехов на фронте литературы и науки, как говорят у нас у Киеве. Давненько виделись, так можно и совсем состариться и замуроваться в собственном «замке».

Собирался быть на юбилее Василя Быкова. Не получилось. Придется ждать 70-летия И. Шамякина.

Дорогой Иван Петрович! У меня к тебе дружеская просьба: посодействовать приобрести в минском автомагазине прицеп к «Волге» «Зубренок».

Я не знаю, как это практически сделать, но, возможно, удастся повлиять на директора, чтобы он принял во внимание и т. д. и тому подобное.

Очень тебе буду благодарен. Найди минутку и позвони мне в Киев по тел. 24-41-79.

Сердечный привет жене твоей.

Братски обнимаю,
Юрий Збанацкий

Збанацкий Юрий (Григорий) Олиферович (1914—1994) — украинский советский писатель, командир партизанского соединения имени Щорса на временно оккупированной территории Киевской и Черниговской областей Украинской ССР. Герой Советского Союза (1944).

«Собирался быть на юбилее Василя Быкова». — На 60-летии со дня рождения Василя Владимировича Быкова (1924—2003), Народного писателя БССР (1980), Героя Социалистического Труда (1984), лауреата Ленинской премии (1986), лауреата Государственной премии СССР (1974), лауреата Государственной премии БССР (1978).

«Придется ждать 70-летия И. Шамякина». — На 70-летии И. Шамякина, которое отмечалось 30 января 1991 года, не был.

«Волга» — название семейства легковых автомобилей среднего класса, выпускавшихся на Горьковском автомобильном заводе (Россия) на протяжении 1956—2010 годов.

«Зубренок» — прицеп для легковых автомобилей, выпускаемый Минским автомобильным заводом с 1982 года.

12

С. Ковганюк — И. Шамякину

21 июля 1958 г.

Уважаемый Иван Петрович!

Ваш роман «Криницы» запланирован украинским республиканским издательством «Молодь» к изданию в 1959 году. Изд-во поручило сделать перевод на украинский язык мне, но не предоставило оригинала, который я и прошу Вас выслать по адресу: Киев, ул. Пушкинская, 28, изд-во «Молодь», Григорию Григорьевичу Кулиничу.

Кулинич — заместитель главного редактора. Я вообще живу в Одессе, но сейчас на неопределенный срок приехал в Киев. Очень важно — будут ли у Вас исправления к первому изданию и какого характера. Если будут, тогда сообщите, к какому сроку Вы их сделаете, если они незначительны, прошу прислать оригинал (книгу) немедленно, т. к. перевод надо сдать в декабре сего года.

Прошу сообщить мне о своем решении по адресу: Киев, ул. Ленина, 68, кв. 30, Ковганюку Степану Петровичу.

С уважением С. Ковганюк

Письмо написано Степаном Петровичем Ковганюком (1902—1982), украинским советским писателем, переводчиком.

«Ваш роман “Криницы” запланирован украинским республиканским издательством “Молодь” к изданию в 1959 году». — Роман «Криницы» в переводе С. Ковганюка на украинский язык вышел в 1959 году. «Молодь» («Молодежь») — издательство ЦК ЛКСМ Украины, Киев. Создано в 1921—1922 гг.

на базе издательского отдела ЦК ЛКСМ Украины. С 1923 г. — «Молодой рабочий», с 1941 г. — «Молодой большевик», с 1945 г. — «Молодь». Выпускает массово-политическую, художественную литературу на украинском языке для юношества, переводы произведений писателей народов СССР и зарубежных стран, книги по вопросам комсомольской и пионерской работы, а также молодежные журналы.

Кулинич Григорий Григорьевич (1919—?) — украинский литературовед, переводчик. Перевел на украинский язык многие произведения И. Шамякина.

13

С. Ковганюк — И. Шамякину

31 июля 1958 г.

Уважаемый Иван Петрович!

Большое спасибо за оперативность. Роман Ваш, присланный Кулиничу, я получил и уже приступил к работе. Работаю с большим увлечением, потому что роман Ваш принадлежит к произведениям, трактующим современную животрепещущую тему, и написан ясным, простым языком. Образы и ситуации в Вашем романе правдивы и жизненны — в этом, конечно, причина того, что он переводится на языки советских народов. Мне приятно быть переводчиком такого произведения.

По договору я должен сдать перевод 15 января будущего года, но надеюсь, что удастся закончить перевод к началу декабря (конечно, не за счет качества).

Мы, переводчики, не обходимся без словарей, но вот белорусско-русского словаря, говорят, нет. Помню, еще в 1930 году, когда я переводил рассказы Василя Каваля, белорусские «молодняковцы», с которыми мы крепко дружили (мы — украинский «Молодняк»; журнал и литорганизация), прислали мне белорусско-русский небольшой словарь, но я потерял его в войну. Если теперь есть, большая просьба прислать мне на издательство «Молодь» (Киев, Пушкинская, 32). Я не испытываю никаких затруднений в переводе, но все же есть отдельные слова, в которых сомневаешься.

Конечно, мы с Вами будем иметь случай встретиться и познакомиться, чему я буду очень рад.

С дружеским приветом С. Ковганюк

Письмо написано С. П. Ковганюком. См. комментарий к письму № 12.

«Роман ваш...» — роман «Криницы».

«...Кулиничу...» — см. комментарий к письму № 12.

Каваль (Ковалев) Василь Петрович (1907—1937) — белорусский писатель. В 1936 году репрессирован. В 1937 году расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

«...белорусские “молодняковцы”...» — члены объединения белорусских советских писателей «Молодняк», которое существовало с ноября 1923 г. по ноябрь 1928 г. Возникло как кружок молодых поэтов при журнале «Маладняк».

«...украинский “Молодняк”...» — литературная организация комсомольских писателей Украины, созданная П. Усенко в ноябре 1926 г. в Харькове. Участники организации объединялись вокруг одноименного журнала «Молодняк». Ликвидирована в апреле 1932 г. в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».

«...потерял его в войну...» — в Великую Отечественную войну (1941—1945).

«...издательство “Молодь”» — см. комментарий к письму № 12.

14

А. Г. Островский — И. Шамякину

3 сентября 1983 г.

Дорогой Иван Петрович!

Получил Ваш замечательный подарок — Словарь Носовича и целый вечер рассматривал и перелистывал его. Сердечное спасибо Вам за внимание. Я Ваш неоплатный должник.

Очень понимаю Ваше состояние в санатории; я и сам из числа людей, которых утомляет не работа, а праздно проведенные дни. К счастью, здесь, в Комарово, собрались ведущие ленинградские литературоведы и совместно вырабатывали новый тип и план «Библиотеки поэта», так что скучать было некогда. А Вашу жизнь представляю: кроме своей литературной работы Вы взвалили на себя (или на Вас взвалили) кропотливую работу по Словарному отделу Академии наук, формально перешли из Союза писателей, но ведь фактически Вас все равно будут привлекать к решению серьезных литературных дел. Кстати сказать, Вас очень не хватало, когда месяца полтора тому назад в Ленинград приезжали Чигринов, Данило Колас и другие. Деловая сторона оказалась далеко не на первом месте, а можно было решить ряд вопросов делового порядка, так как на совещании были и минские, и крупнейшие ленинградские издатели.

Но прежде всего Вам нужно думать о том, чтобы не перегружать глаз, давать им отдых и профилактически регулярно показываться врачу.

Понимаю я и Ваш страх перед новой большой работой. С годами становишься требовательней к себе, а значит, и работаешь медленнее.

Меня тут «соблазняли» вернуться к литературоведению: в новой «Библиотеке поэта» будет много работы. Но это связано с многочасовым сидением в библиотеках и архивах, и тогда «взыграет» мой тромбофлебит. А перевожу я полулежа. Ну, и с Белоруссией сроднился, жалко оставлять, хотя многие белорусские писатели перешли к московским переводчикам.

Статья Вашей дочери Тани в «Полымі» мне понравилась: это серьезная работа, а для меня послужила даже своего рода справочником по белорусской повести последних лет. И написана с четких политических и литературных позиций. Молодец!

Горячий привет от нас с Зинаидой Владимировной и Галины Вам, Марии Филатовне, Татьяне и всем остальным членам семейства.

Будьте здоровы и чувствуйте себя во всеоружии.

Дружески Ваш
А. Островский

Письмо написано А. Г. Островским. См. комментарий к письму № 2.

«...Словарь Носовича...» — Словарь белорусского наречия. СПб, 1870. В 1983 году — факсимильное издание, выпущенное БелСЭ. Носович Иван Иванович (1788—1877) — этнограф, фольклорист и лексикограф.

Комарово — поселок в России, муниципальное образование в составе Курортного района города федерального значения Санкт-Петербурга.

«Библиотека поэта» — книжная серия. С 1935 года выходит в двух сериях («Большая» — обычного формата и «Малая» — уменьшенного формата).

«Вы взвалили на себя (или на Вас взвалили) кропотливую работу по Словарному отделу Академии наук...» — С 1980 г. И. Шамякин — главный редактор БелСЭ им. Петруся Бровки, которая определенное время была в составе АН БССР.

Чигринов Иван Гаврилович (1934—1996) — белорусский писатель, публицист, драматург, сценарист. Народный писатель Беларуси (1994). Лауреат Государственной премии БССР (1974).

Данило Колас — Мицкевич Данила Константинович (1914—1996), белорусский деятель культуры, ученый-химик, первый директор Литературного музея Якуба Коласа.

«...чтобы не перегружать глаз...» — В 1982 году И. Шамякин ослеп на левый глаз.

«Статья вашей дочери Тани в “Полымі”...» — статья Т. Шамякиной «У імкненні да ідэалу» («Полымя», 1983, № 7). Таня — Шамякина Татьяна Ивановна (род. 1948), белорусский литературовед, критик, переводчик.

«Полымя» — ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. Издается в Минске с 1922 года. В 1932—1941 гг. название журнала — «Полымя рэвалюцыі».

Зинаида Владимировна — З. В. Островская, русский советский переводчик, жена А. Г. Островского.

Галина — Островская Галина Арсеньевна (1923—2000), переводчик, филолог-англист, дочка А. Г .Островского.

Мария Филатовна — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 2.

Татьяна — Т. И. Шамякина.

15

П. С. Кобзаревский — И. Шамякину

23.VII.1966 г., Ленинград

Дорогой Ваня,

я был очень рад тому, что поговорил с тобой по телефону, хоть несколько минут. Меня очень огорчало твое молчание, ты ведь знаешь, как я болезненно реагирую, когда молчат **лучшие** друзья. А ты у меня лучший из самых лучших.

Надеюсь в недалеком будущем быть в Минске. Тогда мы обо всем побеседуем.

Сейчас у меня новая беда. 20 июля «скорая» забрала Любу, и через час после приезда в больницу ее оперировали по поводу аппендицита. Было худо, оперировали под общим наркозом. Сейчас немного лучше. Сестра моя Соня только неск[олько] дней назад вернулась домой после трехмесячного пребывания в больнице, и теперь я «прислуга за все и за всех». Весь дом на мне.

14 августа предстоит еще одно событие, более радостное, Светлана выходит замуж. Кстати, это совершится в день моего 57-летия — «генеральной репетиции моих похорон». Ладно, все будет хорошо. Отдыхать и работать в Малеевке я буду с 30 августа. В Минск собираюсь в октябре.

Сохранил ли ты, Ваня, для меня один экземпляр твоего собрания сочинений? Ты обещал, а мне очень хочется его иметь.

Посылаю тебе кадр из моей «Минской хроники». С кем ты снят? Если знаешь, сообщи. Я тому товарищу пошлю на память кадрик.

Очень жду твоего письма.

Я и Арсений будем очень рады, если Вы пошлете письмо Мих. Ал. Дудину. Я тебе при встрече объясню, как это важно и для чего это надо.

Как Мария Филатовна поживает? Как дети? Сердечный привет всему твоему дому от меня и моего дома.

Очень жду твоего письма.

Желаю всего радостного.

Дружески всегда твой
Павел

Письмо написано П. Кобзаревским. См. комментарий к письму № 2.

Ленинград — название г. Санкт-Петербург в 1924—1991 гг.

Люба — Л. Гордон, жена П. Кобзаревского.

Соня — С. З. Гордон, сестра П. Кобзаревского.

Светлана — С. Ф. Гордон, дочка П. Кобзаревского.

«...твоего собрания сочинений?» — Собрание сочинений И. Шамякина в 5-ти томах (Минск, 1965—1966).

Арсений — А. Г. Островский, см. комментарий к письму № 2.

Дудин Михаил Александрович (1916—1993) — русский советский поэт, переводчик и общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Мария Филатовна — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 2.

16

С. Кирьянов — И. Шамякину

10.XII.1964 г.

Дорогой Иван Петрович!

Я на тебя в претензии — ты был несколько раз в Москве, а в издательство не заглянул, между тем надо о многом посоветоваться. Мы приступаем к составлению проекта плана выпуска 1966 года и плана редакционно-подготовительной работы на этот же год. Я жду от тебя и Союза писателей Белоруссии рекомендации произведений писателей, которые можно включать в эти планы. Надеюсь, что в очередной приезд в Москву ты к нам заглянешь.

У тебя находятся на отзыве рукописи Дм. Бедзика «Хлеборобы» и М. Шаповала «Весна начиналась рано». Очень прошу ускорить присылку своего заключения на эти произведения. Чем конкретно и когда обрадуешь нас ты сам лично? Жду весточки.

С любовью
С. Л. Кирьянов

Письмо написано С. Л. Кирьяновым. См. комментарий к письму № 3.

«...в издательство...» — издательство «Советский писатель», см. комментарий к письму № 2.

«...рукописи Дм. Бедзика “Хлеборобы” и М. Шаповала “Весна начиналась рано”». — Бедзик Дмитрий Иванович (1898—1972) — украинский советский писатель, драматург, журналист. «Хлеборобы» (1956) — роман Дм. Бедзика. Тут, вероятно, имеется в виду рецензия на переиздание романа в издательстве «Советский писатель». Шаповал М. Т. — украинский писатель. «Весна начиналась рано» (1963) — повесть М. Т. Шаповала.

17

Юлий Ванаг — И. Шамякину

Январь 1971 г., Рига

Дорогой друг
Иван Петрович!

В дополнение к официальному поздравлению от Союза писателей прими от нас с Милдой самые сердечные поздравления с днем пятидесятилетия!

Пусть расцветает еще краше Твой многотронный писательский талант, с которым знакомы и латышские читатели!

Пятьдесят лет — это только настоящая зрелость, так что считай, что Ты еще только на середине пути к тем грустным летам, к которым приближаемся мы, те, которые подходим к седьмому десятку...

Видимо-невидимо еще впереди неисхоженных дорог и неузнанных людей, прекрасных встреч и радостных свиданий!

Будь здоров и счастлив еще много, много цветущих весен!

Твой Юлий Ванаг

Письмо написано Юлием Петровичем Ванагом (1903—1986), латышским писателем, заслуженным деятелем культуры Латвийской ССР (1953).

Милда — жена Ю. П. Ванага.

«...с днем пятидесятилетия!» — 30 января 1971 г. И. Шамякину исполнилось 50 лет.

18

П. Гельбах — И. Шамякину

14 января 1972 г., Вильнюс

Дорогой Иван Петрович!

Сразу же прошу извинить за назойливость. Но думаю, что наша многолетняя дружба в какой-то мере меня извиняет. Только что закончил работу над повестью «Если хочешь стать космонавтом...». Рукопись в первоначальном виде получила вторую премию на Всесоюзном конкурсе детской и юношеской литературы. На русском языке пока не издавал. До последнего времени продолжал над ней работу — изучал документы, воспоминания. Пришлось кое-что переделать, несколько глав дописать. И вот только сейчас отдал в наше издательство «Вага», чтобы издали книгой на литовском языке.

Герой книги летчик Яков Смушкевич родом из Литвы, но многие годы работал в Белоруссии. Участник гражданской войны в вашей республике, член ЦК Компартии Белоруссии, член ЦИК Белоруссии. В вашей республике он начал службу в авиационной эскадрилье, затем был комиссаром и командиром Витебской истребительной авиационной дивизии. Потом руководил авиацией революционной Испании, был командующим Военно-Воздушными Силами СССР. В числе первых в нашей стране Яков Владимирович Смушкевич был удостоен звания дважды Героя Советского Союза. Жизнь его трагически оборвалась в 1942 году — результат клеветы, произвола во времена культа личности.

Честное имя Смушкевича восстановлено. В Рокишкисе — на родине — ему поставлен памятник. Его именем назван большой морозильный траулер Литовского флота и т. д.

Прошу, прочти. Если сочтешь нужным, распорядись судьбой повести в Белоруссии по своему усмотрению. Если не заинтересует тебя, переводчика, журнал, издателей — вышли мне обратно.

Привет Маше, детям и внукам. Наталия низко кланяется.

Твой П. Гельбах

P. S. Фрагменты повести печатались на русском языке в альманахе «Литературная Литва», на литовском — в журнале «Пяргале». На рукопись была восторженная рецензия в журнале «Детская литература» № 8 за 1970 г.

Письмо написано Павлом Александровичем Гельбахом (Гельбаком; 1914—2008), русским писателем, корреспондентом «Литературной газеты» в Литве, Латвии, Эстонии (1948—1993).

«Рукопись в первоначальном виде получила вторую премию на Всесоюзном конкурсе детской и юношеской литературы». — В 1970 г. под названием «Помни его, космонавт».

«Вага» — издательство, создано в 1964 году в Вильнюсе на базе Государственного издательства художественной литературы Литовской ССР.

Смушкевич Яков Владимирович (1902—1941) — советский военачальник. Дважды Герой Советского Союза (1937, 1939). Генерал-лейтенант авиации. Репрессирован в 1941 г. Реабилитирован в 1954 г.

Рокишкис — город на северо-востоке Литвы.

Наталия — Гельбак Наталья Васильевна, журналист, жена П. А. Гельбаха (Гельбака).

«Литературная Литва» — альманах, основан в Вильнюсе П. А. Гельбахом.

«Пяргале» — ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный журнал. Издается с 1945 г. в Вильнюсе.

«Детская литература» — ежемесячный литературно-критический и библиографический журнал для детей. Издается с 1966 г. в Москве.

19

Г. И. Егоренкова — И. Шамякину

Уважаемый Иван Петрович!

Добрый день и прошу прощения за беспокойство.

Дело в том, что журналом «Дружба народов» мне заказана рецензия на Ваш роман «Петроград—Брест». А я почему-то не обнаружила у себя дома начала, т. е. 1 и 2 номера «Полымя» за 1981 год.

Иван Петрович, не обессудьте и, по нашей с Вами старой и, смею надеяться, взаимной симпатии, вышлите мне эти номера **1981** года.

Желаю Вам творческих и жизненных успехов и остаюсь —

Ваша Галина Егоренкова

P. S. Мой низкий поклон Марии Филатовне.

P. P. S. Еще раз — прошу прощения.

P. P. P. S. Иван Петрович, дорогой! По старому славянскому обычаю — пропадать, так уж голову с плеч долой! — еще одна просьба: было бы прекрасно, если бы Вы написали хотя бы самый маленький комментарий к роману, вернее, к «ленинской теме» в Вашем творчестве, — я бы его «вставила» в рецензию.

С нетерпением жду ответа.

Письмо написано Галиной Ивановной Егоренковой (1942—1989), белорусским и русским литературоведом и критиком.

Датируется по почтовому штемпелю на конверте: 26.09.83.

«...журналом “Дружба народов” мне заказана рецензия на Ваш роман “Петроград—Брест”». — Г. Егоренкова. «Память сердца и разума» («Дружба народов», 1984, № 4). «Дружба народов» — советский литературный журнал, продолжает существовать после распада СССР как частное издание. Основан в 1939 г. в Москве.

«...т. е. 1 и 2 номера “Полымя” за 1981 год». — В названных номерах была напечатана первая часть романа И. Шамякина «Петроград—Брест». «Полымя» — см. комментарий к письму № 14.

Мария Филатовна — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 2.

20

А. Г. Островский — И. Шамякину

1.VII.84 г.

Дорогой Иван Петрович!

Пишу Вам по поводу сборника «Избранные белорусские рассказы», договор на который, наконец, заключен, но прежде всего хотел бы знать, как у Вас дела со здоровьем, есть ли какое-нибудь улучшение, можете ли Вы работать?

Для сборника нужны один или два Ваших рассказа из числа напечатанных **в книге** на белорусском языке. Если Вы дадите в русском переводе, — то в двух экземплярах. Обязательно указание (так, увы, просит изд-во), где и когда были напечатаны по-белорусски рассказы. Помещение журнальных вещей исключается. Прислать Вы можете позже (через 1—1,5 месяца), но был бы Вам благодарен, если бы Вы сообщили, что именно дадите, особенно не откладывая.

Возможен и второй вариант: Вы берете из последнего или предпоследнего романа одну из глав (конечно, наиболее существенную), дописываете, если нужно, начало и конец, несколько сокращаете за счет менее существенных кусков (предел примерно 1,5 листа) и придумываете название. Если необходимо, пояснительные кусочки берете из других мест. Эту работу Вы можете с успехом поручить Вашей дочери, переводившей роман. Я прослежу, чтобы все было в порядке.

Это, конечно, несколько сложнее, но интереснее, — может получиться прекрасный и относительно свежий рассказ. Конечно, его нужно делать для изд-ва в 2 экземплярах. А на роман это никакой тени не бросает. Многие авторы публикуют куски из романов.

По-белорусски, вероятно, Брестский роман уже книжкой вышел? Год издания при этом тоже надо будет указать. Но эти цифры — для издательства.

Буду Вам благодарен, если Вы сообщите мне, как Вы решили этот вопрос.

Среди очень «слаўных» фамилий в изд-ве кроме Вашей назвали В. Быкова и Я. Брыля. Сложней всего с В. Быковым: по-моему, он в последнее время рассказов вообще не пишет. Я ему вчера написал письмо, просил нас выручить, но как — и сам не знаю, а выпускать сейчас сборник без рассказа В. Быкова тоже невозможно. Может быть, Вы что-нибудь посоветуете? А если Вы в близких отношениях, то и поговорите по телефону с Василем Владимировичем? Были бы Вам более чем благодарны. Во всяком случае, без согласования с ним мы сами этот вопрос решить не можем.

Думаю также привлечь кое-кого из молодежи. Трудность здесь в том, что далеко не все они имеют сборники (на белорусском). А это является обязательным условием.

А. Чепуров придает сборнику большое значение (в плане развития и укрепления нашей дружбы) и обещал свою всемерную помощь.

Погода, к<отор>ая была весь июнь хорошей, испортилась: захолодало и проходят дожди. Надеюсь, что лето все же состоится. А Вы, вероятно, поедете к себе на дачу?

Журналы у нас забиты до отказу. Уже закрыты даже планы следующего года. В Л<енингра>де нужен еще один толстый журнал, но вряд ли разрешат. А если негде печататься, молодежь не может расти.

Сердечный привет Марии Филатовне. И всей молодежи от меня и от Галины. Пишите на ленинградский адрес.

Сердечно Ваш А. Островский

Письмо написано А. Г. Островским. См. комментарий к письму № 2.

В письмах № 20—23 речь идет об издании на русском языке в Ленинграде сборника избранных белорусских рассказов.

«По-белорусски, вероятно, Брестский роман уже книжкой вышел?» — Имеется в виду роман И. Шамякина «Петроград—Брест». На белорусском языке отдельной книгой вышел в 1983 г.

Быков Василь Владимирович — см. комментарий к письму № 11.

Брыль Янка (Иван Антонович; 1917—2006) — белорусский писатель. Народный писатель БССР (1981). Лауреат Сталинской премии (1952). Лауреат Государственной премии БССР (1982).

Чепуров Анатолий Николаевич (1922—1990) — русский советский поэт. В 1975—1990 гг. — первый секретарь Ленинградской областной писательской организации СП РСФСР.

В Л<енингра>де... — см. комментарий к письму № 15.

Мария Филатовна — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 2.

21

А. Г. Островский — И. Шамякину

20.VIII.84 г.

Дорогой Иван Петрович!

Мое первое письмо, очевидно, не застало Вас в Минске, поэтому извините за то, что, возможно, буду повторяться.

Я вот уже два, если не больше, месяца занимаюсь организационной работой по сборнику белорусских рассказов. Сейчас, если возможно, прошу Вас оторваться от дел на короткий срок, чтобы подумать, что мы дадим в этом сборнике.

Вообще издательство «Лениздат» обязало меня (по экономическим и идеологическим мотивам) включать в сборник **только** рассказы, уже напечатанные в белорусской или русской **книге** (а не журнале). Можно, конечно, взять, по Вашему выбору, два рассказа из уже печатавшихся в Ваших сборниках (листа на полтора). В таком случае прошу Вас прислать мне два экземпляра текста (один — расклейку — для набора и один экземпляр, просто вырванный, для художника).

Но, конечно, было бы интересней взять одну главу из романа «Возьму твою боль» и превратить ее в самостоятельный рассказ, может быть, даже назвать ее «Начало жатвы», как Вы первоначально предполагали назвать роман. Если Вам трудно отвлекаться сейчас, я мог бы попробовать это сделать, если, конечно, Вы не против этого. Но у меня нет ни белорусского, ни русского экземпляра текста (удобней был бы русский перевод), я не помню, где он был напечатан. Конечно, мы бы включили его в сборник, только если Вы его апробируете. Мне кажется, это интересней, чем перепечатывать Ваши рассказы, которые уже широко известны. Но решать Вам.

Надеюсь, что Вы хорошо отдохнули и поработали этим летом и что у Вас все в семье здоровы и благополучны.

Большой привет Вам и всей Вашей семье во главе с Марией Филатовной. Галина кланяется.

Ваш А. Островский

Писать или посылать мне лучше на городской адрес.

Письмо написано А. Г. Островским. См. комментарий к письму № 2.

«Лениздат» — советское и российское многопрофильное издательство. Образовано в 1938 г. в Ленинграде.

Мария Филатовна — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 2.

Галина — Г. А. Островская, см. комментарий к письму № 14.

22

А. Г. Островский — И. Шамякину

24.X.84 г., Ленинград

Дорогой Иван Петрович!

Простите, что на этот раз я задержался с ответом. Правда, были некоторые смягчающие обстоятельства: ездил в Москву. Думал на 2—3 дня, а задержался ровно на две недели. Правда, задержался опять же по делам: прочел корректуры двух книг. Но главное — это беготня по редакциям и издательствам: ведь я не был в Москве целых два года. Принимали меня очень любезно и предлагали работу. А кто же откажется от работы? Так я набрал целую котомку разных заказов. Но пока не кончу работу со сборником белорусских рассказов, ничего другого делать не буду.

Ваши обе главы из романа могут пойти отдельными рассказами, но так как надо выбирать, то я выбрал первую — в ней меньше событий и действующих лиц, поэтому она цельнее. Название «Тихий день» влияние переводчицы. Попрошу переводчицу — Вашу Таню — прислать мне перечень цитат в кавычках: страница (по книге) такая-то, первые два-три слова — Ленин, том такой-то, страница такая-то.

Вообще, конечно, перевести несколько страниц Вашего текста для меня не составляет большого труда. Но Вы могли бы прислать уже сделанный Вашей дочерью перевод (просто чтобы не повторять уже сделанное) — это было бы естественнее для читателей и это, вообще говоря, можно еще сделать. Я подожду от Вас ответа, время еще есть.

А вообще я в этой книге — в ногу с веком — хочу дать ряд молодых авторов (не упуская, конечно, и вполне зрелых). Если Андрей Николаевич согласится дать предисловие к книге, мы это специально отметим. К сожалению, изд-во (из коммерческих соображений) разрешило давать только из книг, и ряд хороших вещей, написанных в последнее время, отпадает. Ну, что поделаешь. Чепуров говорил с директором «Лениздата», но ничего не добился.

Это первый год, который я фактически наполовину (6 месяцев) провел за городом в чудесном месте — в Комарово, и что, конечно, положительно сказалось и на самочувствии и на продуктивности работы. Причем я звонить мог, а мне нет, что очень существенно. Посмотрим, как сложится 85-й?

А когда же выходит «Л<енингра>д—Брест» русской книгой? Как будто Вы выпускаете ее в «Молодой гвардии»? Думаю, что книга будет пользоваться заслуженным успехом.

Большой привет Марии Филатовне и всему Вашему трудовому семейству.

Ваш А. Островский

Письмо написано А. Г. Островским. См. комментарий к письму № 2.

Таня — Т. И. Шамякина, см. комментарий к письму № 14.

Андрей Николаевич — имеется в виду А. Н. Чепуров. Ошибочно назван Андреем. См. комментарий к письму № 20.

«Лениздат» — см. комментарий к письму № 21.

Комарово — см. комментарий к письму № 14.

«А когда же выходит “Л<енингра>д—Брест” русской книгой?» — Имеется в виду роман «Петроград—Брест». Отдельной книгой на русском языке вышел в 1985 г.

«Молодая гвардия» — советское, затем российское издательство. Основано в 1922 г. в Москве.

Мария Филатовна — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 2.

23

А. Г. Островский — И. Шамякину

8.V.85 г.

Дорогой Иван Петрович!

Простите, что отвечаю с опозданием: на праздниках гостила у нас целая группа родственников и гостей из Киева, и нечего было и думать присесть за письменный стол.

Спасибо за добрые пожелания. Пока что моя забота выпустить достойно белорусский сборник. Именно этими соображениями и было вызвано мое предложение превратить главу романа в рассказ. Честно говоря, не вижу в этом ничего плохого и знаю ряд подобных случаев, а хотелось дать что-то свежее. Но этот вопрос решает автор и никто другой. Поэтому прошу Вас прислать «Некрасивую» и «Хлеб» — перепечатанные на машинке в 2 экземплярах, либо первый расклеенный, чтобы его можно было дать для набора, а второй — в любом виде для художника (либо без второго совсем обойдемся).

Все остальное готово, не написал только краткое предисловие А. Чепуров. Издательство предложило редколлегию: Н. Гилевич, И. Шамякин, И. Чигринов, А. Чепуров и Островский. Наш союз согласен. С расположением решили: от более взрослых — к более молодым. А вот с названием пока не очень получается. Есть предложение: «Голоса друзей», но это битое место. Я уж тогда предлагаю «Лица друзей». Может быть, Вам придет в голову что-нибудь более оригинальное? Подзаголовок: «Рассказы белорусских писателей». Объем — 30 листов. Если хотите, пришлю Вам список — оглавление, рукопись такая громоздкая, что ее посылать трудно. Я брал даже второстепенных авторов, выписывая у них лучшее, как ни верти — получается некоторый смотр литературы. Из всего сборника — одна вещь — журнальная (А. Савицкий, «Лесные яблоки»). По-моему, она ему удалась. Остальные из книг либо в производстве. Так что этот вопрос, худо ли, хорошо ли, — как-то решили.

Будьте здоровы. Сердечный привет Марии Филатовне. Вам и Марии Филатовне кланяется Галина. С 1-го номера «Нёмана» должен идти ее перевод романа Хомченко.

Ваш А. Островский

Письмо написано А. Г. Островским. См. комментарий к письму № 2.

«...“Некрасивую” и “Хлеб”...» — рассказы И. Шамякина, написанные соответственно в 1960 и 1969 гг.

А. Чепуров — см. комментарий к письму № 20.

Н. Гилевич — Гилевич Нил Семенович (род. 1931), белорусский поэт, переводчик, критик, фольклорист. Народный поэт БССР (1991). Лауреат Государственной премии БССР (1980).

И. Чигринов — см. комментарий к письму № 14.

А. Чепуров — см. комментарий к письму № 20.

А. Савицкий — Савицкий Алесь (Александр) Онуфриевич (род. 1924), белорусский писатель. Лауреат Государственной премии Беларуси (2002).

Мария Филатовна — М. Ф. Шамякина, см. комментарий к письму № 2.

Галина — Г. А. Островская, см. комментарий к письму № 14.

«С 1-го номера «Нёмана» должен идти ее перевод романа Хомченко» — повесть В. Хомченко «При опознании — задержать» («Нёман», 1985, № 1). Перевод Г. Островской. Хомченко Василий Федорович (1919—1992) — белорусский писатель.

24

В. М. Озеров — И. Шамякину

2.IX.81 г.

Уважаемый Иван Петрович!

Вероятно, Вы знаете, что 80-летие Фадеева начнем отмечать во Владивостоке как событие особо важного характера (подробности в прилагаемом письме). Там особо ждут лауреатов премии имени Фадеева. Мы с Вами, как носители этой благородной медали, думается, поступим правильно, побывав в фадеевских местах.

Пожалуйста, откликнетесь на эту записку. Жду Вашего ответа.

С приветом
В. Озеров

Письмо написано Виталием Михайловичем Озеровым (1917—2007), советским критиком, литературоведом, лауреатом Государственной премии СССР (1982?).

«...80-летие Фадеева начнем отмечать во Владивостоке...» — Отмечалось в 1981 году. Фадеев Александр Александрович (1901—1956) — русский советский писатель и общественный деятель. Лауреат Сталинской премии (1946). С Владивостоком А. Фадеева связывали годы учебы в коммерческом училище (1912—1918) и начало революционной деятельности.

«...как носители этой благородной медали...» — И. Шамякин медалью имени А. Фадеева был награжден в 1974 году, в каком году В. М. Озеров был награжден, на сегодняшний день выяснить не удалось.

25

С. А. Баруздин — И. Шамякину

19.IX.83 г.

Дорогой Иван Петрович!

С удовольствием сообщаю, что Ваша книга запланирована к выходу в «Библиотеке «ДН» на 1986—87 год. Все детали с Вами обсудит Е. А. Мовчан, надеюсь, Вы останетесь довольны. По-моему, состав книги, предлагаемый Вами, интересен и привлечет читательское внимание.

Идею «Петроград—Брест» мы обсуждали, но объем романа и большой портфель по белорусской прозе заставили нас воздержаться, ибо обязательства надо не только давать, но и выполнять. Рад, что Вы, наш старый друг, относитесь к этому факту с должным пониманием.

Желаю Вам успешной работы; Вы принадлежите к той породе людей, которых работа сама находит, так что скучать без дела Вам не приходится.

Будьте здоровы.

Ваш Сергей Баруздин

Письмо написано Сергеем Алексеевичем Баруздиным (1926—1991), русским советским писателем, который с 1965 года был главным редактором журнала «Дружба народов».

На письме рукой И. Шамякина написано следующее: 1. «Возьму твою боль. Брачная ночь; 2. Петроград—Брест. Бронепоезд. Хлеб». Это предложения произведений для включения в издаваемую книгу.

«...Ваша книга запланирована в «Библиотеке «ДН» на 1986—1987 год». — Книга «Возьму твою боль» (1987), в которую вошли роман «Возьму твою боль» (1978) и повесть «Брачная ночь» (1974). «Библиотека «Дружбы народов» — приложение к журналу «Дружба народов», своеобразная книжная серия, выпуском которой занималось московское издательство «Известия».

Е. А. Мовчан — сотрудник журнала «Дружба народов». Иных сведений на сегодняшний день не выявлено.

26

С. А. Баруздин — И. Шамякину

2.VIII.84 г.

Дорогой Иван Петрович!

Странная получилась история. Надеюсь, Т. Ф. Золотухина хотя бы Вам объяснит, что произошло, т. к. с нами она по этому поводу даже не говорила.

Я слышал о Вашей «Повести о друге». Действительно, мнения разноречивые, и, может быть, хорошо, что повесть прозвучала локально, только по-белорусски. Думаю, нездоровый привкус сенсационности ей придала именно журнальная публикация. Появись такое произведение в книге — и прошло бы оно спокойней, и не было бы ненужного смакования «дамской» темы. Хотя допускаю, что журнал «Театр» мог бы напечатать отрывки из повести о драматурге. Но Вашему переводчику надо было позаботиться об этом, а не о том, чтобы столкнуть нас с Вами без всякого на то повода.

Рад, что рецензия в «ДН» Вам пришлась по душе. Жду «Петроград—Брест» для Нурека.

Желаю здоровья и всяческих успехов.

Ваш Сергей Баруздин

Письмо написано С. А. Баруздиным. См. комментарий к письму № 25.

Золотухина Тамара Федоровна (род. 1930) — заведующая отделом литератур народов СССР «Литературной газеты», затем обозреватель «Литературной газеты», переводчица.

«...о Вашей “Повести о друге”» — имеются в виду воспоминания про народного писателя БССР А. Макаёнка (1920—1982) «Тайна драмы: Повесть про друга» (1983).

«...именно журнальная публикация». — Впервые опубликованы воспоминания в журнале «Маладосць», 1984, № 1.

«Театр» — советский (российский) журнал драматургии, театра и театральной критики. Основан в Москве в 1937 г. вместо журнала «Театр и драматургия». Не выходил в 1941—1945, 1995, 1998—1999, 2009—2010 гг.

«...рецензия в “ДН”...» — имеется в виду рецензия Г. Егоренковой. См. комментарий к письму № 19.

Вступительное слово, подготовка текстов и комментарии
Олеси ШАМЯКИНОЙ.



ВЛАДИМИР ЛАНДЕР

Солдат войну не выбирает

Документальная повесть

Время основательно заснежило его голову. От былой густой шевелюры мало что осталось. Парадный китель с наградами уже стал тяжеловат для ослабевших плеч и занял почетное место в шкафу. А на нем — пять боевых орденов, двадцать две медали. Делает он все не спеша, говорит тихо и, прежде чем сказать, выдерживает паузу — то ли подбирая слова, то ли собираясь с силами. Действительно, время безжалостно. Оно и героев не жалует.

Но с ним интересно. Поражает его цепкая, годами натренированная спецификой работы память политработника. Имена, фамилии боевых друзей и соратников, с которыми прошел по дорогам войны, названия населенных пунктов, которые освобождал на советской земле и на территории Польши, Германии, держатся в памяти, как застрявшие в теле осколки.

Не каждый ветеран-фронтовик вспоминает свою жизнь на войне так, как это было на самом деле. Многие приукрашивают события. Николай Васильевич Дубровский, наоборот, все приземляет — говорит о деталях тяжелейшей окопной жизни, о вшивости, недоедании, недосыпании, изнурительных марш-бросках с полной солдатской амуницией, о страшном времени, проведенном под пулями, минами, снарядами, бомбежками, когда тысячами погибали однополчане и каждому постоянно в лицо глядела смерть.

Старость всегда коварна и не щадит никого. Но язык не повернется назвать этого ветерана войны «стариком». Старик — это человек, который потерял интерес к жизни и отдался на растерзание хворям, недугам, обычной лени. А Николай Васильевич еще полон духовных сил. Он бодро перешагнул порог своего девяностолетия. Не зима на его пороге, а «золотая» осень.

Домик за околицей
(декабрь 1923 — июнь 1941 гг.)

23 декабря 1923 года в семье Василия Прокофьевича и Агафьи Павловны появился еще один сибиряк. В деревне Сахапта Назаровского района Красноярского края прибавился еще один житель. Сахапта — по-татарски «яма». Деревня, действительно, была в низине вдоль речушки Сахаптинка. Первым поселенцам уж больно место приглянулось. Здесь было все: рядом речка, луга, поля, гряда красивых и крутых холмов, загадочная дремучая тайга. Тогда, три века назад, поселенцы строили там, где хотели. Поэтому деревня вытянулась вдоль реки вкривь и вкось, беспорядочно и хаотично. Деревню плотной стеной окружали высокие сопки, которые радовали детей, особенно зимой. Бывало, затянут они на самую макушку огромные сани, усядутся человек пятнадцать-двадцать и с гиком, визгом, криком, детским восторгом понесутся вниз почти километра полтора до самой Сахаптинки. А Сахаптинка была удивительной речкой: то разливалась, то мелела, а зимой — в левой части деревни, как раз возле домика Дубровских,

замерзала, в правой — даже в 50-градусный мороз не замерзала, только еле заметной тоненькой пленочкой покрывалась. Зато на ледовой поверхности местная молодежь без устали гоняла на самодельных коньках. Их коньками-то называть было нельзя. Умельцы брали четырехгранную проволоку, нагревали ее, в ней просверливали отверстия, крепили к деревяшке. Потом этот деревянный конек с помощью веревки привязывали к валенку и затягивали обычной палочкой. Это уже позже появились «снегурки», обладатели которых в глазах окружающих пацанов считались небожителями. Перед ними заискивали, чтобы хоть разочек позволили покататься на этих чудо-коньках.

Домик Дубровских стоял за околицей. Это была последняя изба в деревне и даже по внешнему виду самая бедная. Маленькая, приземистая четырехстенная на коротеньких ножках-столбиках, оберегающих внутренности домика от сырости, покрытая не гонтом и не щепой, как покрывались в Сахапте все просторные пятистенки, а обычным земляным дерном, то есть пластом земли с травой. Настоящая сказочная «избушка на курьих ножках». Только крохотные входные сени и деревянное крылечко в несколько ступенек подтверждали, что здесь живут люди.

В домике ютилась семья из шести человек — отец, мать и четверо детей. Тесновато было, но жили мирно. Отец своими руками смастерил шкаф, стол, табуретки, двухэтажные полати, полки. Нужда заставила его взяться за пилу, топор и рубанок, хотя был он просто профессиональным пимокатом. В своем крохотном домике, в теснотище умудрялся валять теплые, легкие, красивые пимы и валенки. Василий Прокофьевич был мастером высокого класса и владел всеми секретами этой древней и редкой профессии. Конечно, кустарное производство было вредным и очень трудоемким, но позволяло семье кое-как сводить концы с концами. Достатка и денег это не приносило. По деревенской традиции за валенки рассчитывались так называемой мерой. Это такой бочонок емкостью примерно в два ведра. А там обычно пшеничная мука, иногда крупа. И обязательно приносили самогон. Каждый выполненный заказ «замачивался» достойно. Семья кормилась в основном с огорода. Дети с малых лет привыкали к труду.

Коля родился слабым и хилым ребенком. Так «задавила» проклятая золотуха, что все в семье уже смирились с его смертью. Врачей в деревне не было, до больницы далеко, почти семьдесят километров, да и везти туда было не на чем. Мальчик уже с кровати не вставал. Дядя Федя, брат отца, даже гробик смастерил. И только бабушка верила и надеялась. Она терпеливо отпаивала малыша травами, кедровым маслом, отварами. И вы́ходила. Коля выздоровел, окреп и оказался «живее» всех членов своей семьи.

Бедность и нужда вынудили семью Дубровских искать «хлебного места». И в голодные 30-е годы отец продал избушку за околицей, собрал нехитрые пожитки, забрал жену, детей и решил осесть в Саратовской области. Не получилось. Вернулись все в свою деревню. Потом отправились сначала в Махачкалу, потом в Азов, где стахановца Василия Дубровского наградили «проводкой в дом радиоточки». Маленький Коля очень гордился, когда вся улица Коммунистическая города Азова собиралась у их дома и пыталась разглядеть, кто там говорит в «черной тарелке». В Азове умерла мать, Агафья Павловна. Ей было всего 34 года. И здесь семья не прижилась.

Где бы ни находилась семья, бедность, как бездомная собачонка, преследовала Дубровских по пятам. Нужду они сносили как приговор судьбы. В 4-м классе Коля пришел на школьную линейку босиком и в материных трусах. В десятилетнем возрасте в Махачкале уже торговал. Покупал ведро воды по две копейки, а на рынке продавал по пять копеек за поллитровую кружку.

Вернулись снова в родные края. Убедились, что на одном месте и камень обрастает. Но вернулись не все. К 1940 году в семье осталось только двое — отец и Коля. Могилы остальных разбросаны по всей русской земле.

Отец женился. Милодора Семеновна оказалась хорошей хозяйкой, добрым и заботливым человеком. Как она из далекого белорусского Могилева оказалась

в этих суровых сибирских краях, Коля тогда не интересовался. В то время в Сибири много было белорусов-переселенцев. Он был просто счастлив, что у него появились материнское тепло, внимание и ласка. Милодора Семеновна не имела, как говорится, ни кола ни двора. Ее приданое — сын, Колин одногодок, с которым они подружились и породнились довольно легко и быстро, и брат-богатырь Василий, человек необычайной силы. Новая семья в поисках лучшей доли опять переезжает, но уже в соседнюю деревню Березовка Ачинского района.

Коля Дубровский учился в разных школах страны. Был смышленым, общительным и старательным юношей. Ему уже тогда пророчили большое будущее, если будет учиться. Но после 8-го класса пришлось идти работать, так как учеба стала платной, а платить было нечем. Подался в бригаду охотников-профессионалов, где с лихвой испил чашу совсем не юношеских испытаний.

Жизнь охотника опасна и сурова, требует предельной концентрации и внимания. И она далека от романтики. Надо ежедневно бродить по тайге в 40-градусный мороз по пояс в снегу в поисках зверя. Надо иметь сноровку и опыт, чтобы с окаменевшего зайца, попавшего в петлю, снять шкуру так, чтобы эта шкура пошла первым сортом. Именно тут, в тайге, молодой Дубровский окреп и телом, и духом. Это была его первая настоящая школа на выживание. Приходилось и медведя усмирять, и волка флажками обкладывать. Надо было наловчиться и белку, и соболя аккуратненько «уложить», не повредив шкуру. Надо было уметь и плутовку лисицу перехитрить. Хождение юноши по тайге продолжалось две длинные сибирские зимы.

Накануне войны Колю Дубровского было не узнать. Молодой, красивый, веселый, общительный, острый на язык — просто гроза местных девчонок. Вот только танцевать не научился. И когда друзья пригласили в соседнюю деревню на танцы, задумался. Пугало не расстояние до деревни — почти десять километров, а боязнь опозориться. Но согласился. Танцевали до утра. Довольный, завалился на сеновал, отсыпаться. Проснулся — в деревне тишина. Стал беспокоиться, куда же подевался отец. А Милодора Семеновна говорит: «Отец пошел в сельсовет. Война началась».

Так страшное слово «война» 22 июня 1941 года докатилось до далекой сибирской деревни и перечеркнуло все мирные планы и надежды ее молодых обитателей. Коле Дубровскому тогда было всего семнадцать с половиной лет. Уже стало и не до работы, и не до учебы. Надо было защищать Родину. И все шесть комсомольцев села Березовка, во главе с секретарем комсомольской организации Николаем Дубровским, дружно пришли в Ачинский военкомат с просьбой направить их на фронт добровольцами. Но получили категорический отказ. Уж больно годков им было мало. Военком сильно рассердился и прогнал их домой. Несколько раз настырные ребята месили сибирское бездорожье за шестьдесят пять километров: просили, уговаривали, убеждали. И своего добились. Их направили в Иркутскую школу авиамехаников.

В бой пошли одни пацаны (август 1942 — январь 1943 гг.)

После окончания школы новоиспеченных авиационных механиков направили в Читу. С мая по август 1942 года они проходили службу в 340-м скоростном бомбардировочном авиационном полку. Но молодые парни рвались на фронт. Забросали военкомат рапортами. Наконец их просьбу удовлетворили. Как-то после завтрака капитан говорит: «Ну, ребята, собирайтесь, ваш поезд уходит в 18.00».

Ехали очень быстро. Прибыли в Москву ночью. Это было в конце августа 1942 года. Утром их определили в пехоту. А через день погрузили в эшелоны и отправили в Серпухов.

В Серпухове они вместе с гражданскими рыли противотанковые окопы и ходы сообщений, оборудовали стрелковые ячейки и полевые блиндажи, устанавливали



надолбы и проволочные заграждения. Интенсивно занимались боевой подготовкой. Осваивали методы штыковой атаки и рукопашного боя, привыкали пользоваться противогазами, стреляли на стрельбищах. Учились на точность и дальность бросать гранаты, ползать под проволочными заграждениями, быстро окапываться. Совершали изнурительные переходы и марш-броски с полной солдатской амуницией. В общем, авиамехаников, как говорится, резко спустили с небес на матушку-землю.

Коля Дубровский по совместительству некоторое время исполнял обязанности писаря, а после выступления на комсомольском собрании с дельным предложением стал командиром отделения. Чуть позже назначен помощником командира взвода. Парни терпеливо сносили все тяготы строевой муштры в ожидании обещанного скорого отправления на фронт. И дождались.

Уже в начале октября 1942 года воинский состав остановился на каком-то полустанке. Солдаты выгрузились и пешим строем направились в сторону речушки Гнилуша, которая дала название двум деревенькам — Верхней Гнилуше и Нижней Гнилуше, где должен был разместиться прибывший полк. Название связано то ли с заболоченной местностью, то ли с запахом стоячей воды. Одним словом, болотистое, гнилое место. Но солдат это не интересовало. Они знали, что именно там проходит передовая линия обороны, которую им предстояло занять.

Была еще совсем ранняя зима, но на воронежской земле снега навалило почти по колено. Идти было трудно еще и потому, что у бойцов за время интенсивной боевой подготовки накопилась усталость. И молодой командир Коля Дубровский на ходу вдруг крепко заснул. Проснулся от того, что зацепился валенком и чуть было не упал. После двадцатикилометрового марш-броска разместились в деревенских избах. Было тепло, но тревожно. Постоянные взрывы снарядов, глухие пулеметные выстрелы, пронзительный свист осветительных ракет со стороны Дона напоминали о войне. За окном мороз градусов двадцать, а молодому командиру надо ежедневно свое подразделение выводить на ночные занятия и готовить к встрече с врагом.

В начале ноября старший сержант Дубровский со своим стрелковым взводом занял место в передовом эшелоне обороны на Воронежском фронте и в неполные девятнадцать лет повел таких же, как и он, безусых пацанов в свой первый бой. А бои в районе деревни Нижние Гнилуши были жестокие. Враг рвался к Сталинграду, ему нужен был Воронежский плацдарм. В бой постоянно бросались отборные, обученные, хорошо вооруженные солдаты против еще юных и необстрелянных защитников страны. Сошлись стенка на стенку вооруженная до зубов сила завоевателей против силы духа и убеждений защитников. Именно здесь крепко и на всю жизнь опалило порохом мальчишек, которые попали в настоящую мясорубку. Не всем повезло, но выстоявшие в этом огненном горниле закалились, обрели боевой опыт, смекалку, умение и поняли,

что не так страшен фашистский черт, как его малюют. На воронежской земле Коля Дубровский впервые в лицо увидел врага, впервые потерял самых близких боевых друзей, впервые встретился с пленным солдатом. Здесь получил первое ранение.

К броску за Дон рота готовилась тщательно. Мозговали, как незаметно, но стремительно забраться на верхотуру крутого берега Дона. С предложениями обратились к властям деревни Нижние Гнилуши. Местные умельцы быстро сделали бойцам веревочные лестницы с крепежными кошками. В ожидании команды разместились в небольшом лесочке за пригорком.

Под вечер сержанта Дубровского вызвали к ротному. Тот распорядился получить на взвод ножи и готовиться к рукопашной. А потом говорит:

— Видишь вон ту высотку на противоположном берегу?.. В 24.00 взводу выступить, захватить плацдарм и закрепиться до подхода роты. Не лезь на рожон. Укрепились они там основательно, поэтому сначала осмотрись, подумай, а уж потом принимай решение...

Ножи очистили от смазки кто газетой, кто ветками, кто промерзшей листвой, пополнили боеприпасы и сухие пайки, проверили пулеметы и автоматы и в назначенное время выступили. Лед на реке в эту морозную ночь был крепким, поэтому уже через пару часов взвод по веревочным лестницам незаметно покорил крутой берег и неожиданно лицом к лицу предстал перед противником. А тот как раз «гостей» и не ждал. Поэтому лихорадочно, без сопротивления покинул свои обжитые окопчики и в спешке оставил даже свой боевой скарб на усмотрение взвода Дубровского. Но вскоре опомнился и навалился на горстку смельчаков всей своей артиллерийской и пехотной мощью. Контратаки следовали одна за другой. А силы взвода иссякали. Поэтому Дубровский дал команду перебраться на другой участок и там окопаться. Ну, а когда утром подоспела на помощь рота и другие подразделения полка, немцев с боем окончательно выселили из насиженных мест и на правом берегу Дона стали освобождать одну деревню за другой.

А вот деревня Голое несколько раз переходила из рук в руки. 25 декабря, еще только-только проклевывался рассвет, батальон, в составе которого был взвод Дубровского, залег прямо в поле на окраине деревни. Впереди — три скирды соломы, сзади — жиденький лесочек. А сверху вражеская артиллерия поливает снарядами. Осколки разлетаются во все стороны. Отступать некуда. Да и приказ «Ни шагу назад!», выученный назубок, постоянно и навязчиво крутился в голове. Наспех окопались. Командира батальона увезли в санчасть. Даже ни одного командира роты рядом не оказалось. От батальона осталось всего-то человек сорок. Ситуация критическая, почти безнадежная. Он лежал в наспех вырытом окопчике и лихорадочно искал выход. Вдруг мысли прервал телефонист: «Товарищ сержант, вас к аппарату».

В трубке Дубровский услышал хрипловатый нервный голос командира полка:

— Сержант, принимай батальон... В 8.00 организуй наступление. Посылаю тебе двух молодых лейтенантов... Командуй.

— Я же не могу командовать лейтенантами...

— Им необходимо время, чтобы изучить обстановку, этого времени у нас нет. Фрицев из деревни надо как можно скорее выкурить. Ты начинай... Жди подкрепление. Действуй...

Коля Дубровский накормил бойцов, поставил задачу. Наступало время «Ч». Он поднял батальон в атаку. Ворвались в окопы. Дрались отчаянно — прикладами, штыками, кулаками, не щадили никого. Раздирающие крики солдат на русском и немецком языках, громкие стоны раненых словно висели над деревней, как огромная стая каркающего воронья. Фашисты дрогнули, где-то рядом послышалось раскатистое «Ура-а-а!»: подоспело подкрепление. Бой длился уже несколько часов. За это время к деревне подтянулись медсанчасть и тыловые подразделения.

Неожиданно рядом раздался взрыв снаряда. Коля как сноп рухнул на снежный покров. Санитары на собачьей упряжке быстро доставили его в госпиталь, который размещался на другом конце этой деревни в обычной крестьянской избе. Три дня медики возвращали молодого командира к жизни, и все эти дни он ничего не видел. Думал: «Все, отвоевался. Ослеп». А когда чуть-чуть рассмотрел свет в окне, обрадовался и тут же решил сбежать на передовую.

Выскочил на улицу, зажмурился от избытка яркого света, но успел рассмотреть мужика в санях.

— Отец, далеко передовая?..

— Где-то у деревни Новый Псков... Это примерно километров девятьдесять.

— Подбросишь?.. Я из госпиталя, а там хлопцы под огнем...

Ребята во взводе ему обрадовались, поздравляли, расспрашивали, хотя еще совсем недавно его «похоронили» и даже панихиду справили.

В январе 1943 года Дубровского вызвали в штаб: «Поедете в Горьковское военно-политическое училище». Дубровский возмутился: «Не поеду. Я комсорг батальона, командую взводом. Мое место на передовой». И тут заходит начальник политотдела и выносит приговор: «Мы ему напомним о партийной дисциплине. Будем считать, что это его партийное поручение».

В Горький добирался, как говорится, на перекладных, на попутных эшелонах. После окончания училища, в сентябре 1943 года, молодой лейтенант прибыл в поселок Раменское Московской области в расположение артиллерийского дивизиона 9-й гвардейской воздушно-десантной бригады в качестве комсорга. Храбро воевал. Стал старшим лейтенантом. Потом из трех потрепанных в боях бригад создали 100-ю стрелковую дивизию, а старшего лейтенанта Дубровского откомандировали в резерв Главного Политуправления.

Для получения нового назначения Дубровский добрался до деревни Телеши, которая находилась в десяти километрах от Смоленска. Именно там разместилось политуправление резерва Западного фронта. Примерно десять дней ходил Дубровский к кадровику, как на работу, и не просил, а требовал направить его на фронт, на передовую.

В ожидании назначения офицеры жили в крестьянских избах. И вот как-то рано утром, еще было темно, приходит посыльный: «Вас вызывают в управление». Пришел. Представился. Подполковник Розин говорит: «Поведет группу старший лейтенант Кирдан. Поедете в 274-ю стрелковую дивизию. Доберетесь до Лиозно. Там сначала будет деревня Иванькова, потом — Букштыны. Через километра полтора-два увидите два подбитых немецких танка. Рядом рощица и указатель: «Хозяйство генерала Шульги». Вам — туда. Шульга — командир 274-й дивизии. В этом лесочке найдете политотдел».

Позже офицеры узнают, что 274-я стрелковая Ярцевская Краснознаменная дивизия на Витебской земле вела боевые действия почти полгода (с октября 1943-го по апрель 1944 года) на территории трех районов — Дубровенского, Лиозненского и Витебского. Освободила более двадцати населенных пунктов. А в конце октября 1943 года закрепилась на территории Лиозненского района вдоль реки Лучеса. Дивизия вела жестокие бои в пределах населенных пунктов Мяклово, Букштыны, Новики и только после их освобождения форсировала Лучесу. Захватила на левом берегу небольшой, но очень важный и для дивизии, и для всей 33-й армии плацдарм. Фашисты использовали всю мощь своего наступательного «кулака», чтобы раздавить подразделения дивизии на этом крохотном пятачке. Ежедневно по несколько раз контратаковали большими силами танков и пехоты. Но бойцы и командиры сражались геройски, стояли насмерть, удерживая нужный плацдарм.

Всю осень и зиму войска Западного, куда входила 274-я дивизия, и 1-го Прибалтийского фронтов предпринимали попытки наступления на Витебск, но город гитлеровцам все-таки удалось удержать.

Раскаленная земля у берегов Лучесы (февраль — март 1944 г.)

До Лиозно добрались быстро. А дальше пошли пешком по разбитой бомбежками и орудиями заснеженной дороге. Все вокруг было разрушено, сожжено. И только по покосившимся, заляпанным грязью указателям на дорогах, по остовам печей сгоревших хат можно было догадаться, что здесь когда-то стояли мирные деревни Иванькино, Копти, Лобаны, Братково, Маклаки, Новики...

Пораженные разрухой, подавленные, усталые офицеры добрались до штаба дивизии. Нашли политотдел, потом блиндаж, куда их определили на ночлег. А рано утром их проводили к полковнику Поршакову. Гавриил Макарович Поршаков, начальник политотдела дивизии, долго беседовал с прибывшими офицерами. Интересовался гражданским и боевым прошлым, настроением, то есть тем, что оставалось за пределами личного дела.

Дубровский был назначен комсоргом третьего батальона. Батальон временно обосновался во втором эшелоне, ближе к тылу.

Дивизия, в которую прибыл Дубровский, расположилась в районе реки Лучеса, под Витебском. Здесь проходил пресловутый немецкий «Восточный вал» — долговременные оборонительные сооружения. По специальному приказу Гитлера фашисты создали под Витебском неприступную оборону. Не случайно на этом рубеже девять месяцев — с октября 1943-го по июнь 1944 года — стоял фронт.

Обороне Витебска, как важнейшего узла железнодорожных и шоссейных дорог, фашистское командование придавало большое значение, называя город «щитом Прибалтики». Подступы к городу прикрывались двумя-тремя оборонительными полосами с северо-запада, севера и востока. Фашисты соорудили здесь укрепления, называемые «Медвежий вал»: сквозные траншеи, дзоты, пулеметные площадки прикрывались ограждением из колючей проволоки, завалы, минные поля. Каждый участок «Медвежьего вала» простреливался артиллерийско-минометным и пулеметным огнем. Да и оборону у стен древнего города держали части и соединения врага, владеющие большим военным опытом, хорошо вооруженные.

Командный пункт батальона, в котором служил Дубровский, расположился у небольшого леса. Это место солдаты прозвали «рощей смерти». Враг был не только впереди, но и по сторонам. Рощица — как на ладони и простреливалась со всех сторон. Подняться во весь рост в окопе было опасно. От передовой батальон отделяла полоска поля. Считалось подвигом добраться днем до первых окопов и вернуться обратно. Снайперы не позволяли расслабиться. Поэтому передвигались только ночью.

Через две недели ожидания батальону поступил приказ пойти в наступление. 28 февраля 1944 года с большими потерями захватили траншею немцев. Но на следующий день фашисты массированной контратакой траншею отбили. В этом бою батальон потерял около ста человек. Командование приказало: грызть землю, цепляться за любой бугорок, но взять важный рубеж обратно. А людей почти не осталось.

Командир полка решил «почистить» тылы, собрать всех, кто может держать в руках оружие. Дубровский ночью под обстрелом перебрался через речку Лучесу. А на другой день под покровом темноты практически новая рота, в которой «новобранцами» оказались выздоравливающие раненые из санчасти и все тыловики, перешли замерзшую речку и на редкость удачно преодолели «рощу смерти».

В обрывистом берегу Лучесы блиндажи полка были словно гнезда стрижей. В ночной мгле Дубровский не сразу отыскал командирский, встроенный в обрыв берега. На командном пункте до появления пополнения были уже собраны люди, которым утром предстояло идти в бой. Выслушав доклад, командир полка полковник Роман Бортник сказал: «Ты, комсомол, с этими солдатами пойдешь в роту Ровчакова и будешь помогать выкуривать из траншеи фрицев».

Так судьба свела Николая Дубровского с будущим Героем Советского Союза. Федор Ровчаков родился в деревне Кузьковичи Быховского района Могилевской области. Когда пришла пора выполнять воинский долг, он, сын колхозного конюха, попал в военно-ветеринарную фельдшерскую школу. Участвовал в советско-финляндской кампании. Великую Отечественную встретил на своей белорусской земле. В боях с июля 1941 года. Воевал на разных фронтах. Окончив в 1943 году Московское пехотное училище, попросился на фронт в родную Белоруссию. В полку оказался самым старшим по возрасту, уже пора ему в полковниках быть, а он все в старших лейтенантах ходил. В полку его считали лучшим ротным, и потому полковник Бортник все показательные учения проводил в роте Федора Ровчакова.

Утром на противника обрушился шквальный огонь нашей артиллерии и минометов. Рота Ровчакова поднялась в атаку. По проходам, проделанным саперами в минных полях, все устремились к траншеям противника. Фашисты пытались перейти в рукопашную, но удар был стремительным, подоспели другие подразделения полка и общими усилиями выбили немцев из оставленной ранее ближайшей траншеи. В первых числах марта в этой траншее батальон закрепился и больше ее фашистам уже не отдавал. После этого боя Дубровского назначили комсоргом полка.

В боях под Лучесой Николая Дубровского судьба свела еще с одним лейтенантом — Христофором Махиным. После окончания Подольского пехотного училища он принял роту автоматчиков. Не роту, а остатки роты — всего 20 солдат. Редеют ряды автоматчиков, выходят из строя командиры. Необстрелянному еще командиру роты сразу же пришлось ночью пойти в наступление. Командир полка указал на высоту, что была в полутора километрах, и сказал:

— Эта высота — кладбище. Ваша задача: наступление, атака и к утру — захват. С вами пойдет комсорг Дубровский.

Махин собрал роту и объяснил:

— Хотите жить, давайте так: немецкая осветительная ракета взлетает — ложись, потухнет — вперед. И так надо добраться до рубежа атаки — за сто метров от высоты.

...Для фашистов было полной неожиданностью, когда 20 автоматов трассирующими пулями дали одновременный залп: настоящая огненная стена. Визжащие пули рикошетили от надгробий и разлетались во все стороны. Немцы не выдержали, запаниковали, выскакивали прямо на бруствер. Скоро все было кончено. В блиндаже фашистов уже не было, а на столе стояли свечи, в чашках шнапс, на тарелках — нарезанная колбаса. Выставив охрану, легли спать. Так закончился еще один бой комсорга полка Николая Дубровского.

Сколько таких боев под Витебском было у молодого офицера! Опасность его подстерегала на каждом шагу. Но он был хитрее смерти и как бы играл с ней в прятки.

Бои на берегах Лучесы были тяжелыми и кровопролитными. В феврале 1944 года Совинформбюро сообщало: «На Западном фронте идут бои местного значения...» А что значит «местного»? Вот официальная выписка из журнала боевых действий 33-й армии за январь—февраль 1944 года: «В результате предпринятого наступления занято 19 квадратных километров, освобождено 10 населенных пунктов, в глубину обороны противника продвинулись на 3 километра. Развить успех войска армии не смогли...»

А ведь ставилась задача — окружить и уничтожить группировку противника. На самом деле после ожесточенных боев армия потеряла убитыми 5175 человек и ранеными — 19 993 человека. Без вести пропало 169 человек. Получается, что за один квадратный километр освобожденной земли отдано 272 жизни. Пройти этот километр даже не спеша можно всего за четверть часа.

Трагические события тех лет подтверждают и боевые донесения 965-го стрелкового полка, комсоргом которого был Николай Дубровский: *«28.2.1944 г. в 8.20 третий батальон после 20-минутной артподготовки перешел в атаку на*

противника, оборонявшегося на западном берегу реки Лучеса в районе Волосово. Штрафной батальон залег, форсировав под огнем р. Лучеса только одной ротой. Батальон потерял 60 человек убитыми...»

На следующий день: *«В 21.00 29.2.44 г. до 160 человек пехоты противника после сильного артиллерийского огня с левого и правого флангов перешли в контратаку вдоль траншеи, занимаемой 965-м СП на западном берегу реки Лучеса в районе Волосово, пытаясь отбросить наши части к воде. Неоднократные попытки подразделений 965-го СП восстановить положение были отражены сильным огнем противника. В настоящее время эти подразделения находятся в 10—15 метрах от берега, занимая 300—350 метров по фронту. Убито — 40 человек».*

Понеся в этих двухдневных боях столь большие потери, подразделения полка ни на шаг не продвинулись, остались на прежнем месте. Офицеры и солдаты между собой с горечью говорили о бессмысленности таких действий. Но «верхи» рассуждали по-своему. А приказы, как известно, не обсуждать, а выполнять нужно... И приходилось батальонам полка непрерывно штурмовать безымянные высоты среди болот да брать на западном берегу реки Лучесы крохотные плацдармы-платочки не больше 100—150 метров в глубину. И мальчишек необстрелянных в бой посылать приходилось. Другого выхода не было. Тяжело нашим войскам Лучеса давалась.

Река Лучеса... В годы войны фронтовики называли берега этой реки «кровавыми», а землю вокруг — «раскаленной». Такой выжженной и исковерканной земли, как под Витебском, Дубровскому и его однополчанам видеть нигде не приходилось. Ни одного дома целого. Все сожжено, разрушено и разграблено. Печные трубы сиротливо торчат. Многострадальная земля окопами да воронками до самого горизонта изрыта. Смотреть жутко и больно. Наши войска в боях за Лучесу, по официальным данным, потеряли более 42 тысяч человек...

Действительно, бессмысленные бои на Лучесе не принесли ни наград, ни званий, ни трофеев, ни гордости, а только горечь многочисленных потерь. Как-то командир соседнего полка полковник Додогорский, выступая на митинге, сказал: «Выстоим на Лучесе, встретимся в Берлине». И уже после победы, в Берлине его назначили заместителем коменданта города. Идет прием граждан. Заходит подтянутый, стройный сержант, отдает честь и докладывает: «По вашему приглашению прибыл». Додогорский пожал плечами: «Я вас не приглашал». Сержант, лукаво улыбаясь, говорит: «Приглашали, правда, это было на Лучесе. Вот я и пришел». Петр Викторович позвал адьютанта, тот принес фляжку, — налили, выпили, обнялись.

Витебское противостояние запомнилось не только беспримерными подвигами и многочисленными братскими могилами вдоль этой тихой неприметной белорусской речушки, но и поэтическими словами командира взвода снайперов Георгия Ушкова. Поэт-фронтовик оставил нам прекрасные строчки:

Тебя давно на карте я искал,
Полоска голубая среди леса —
Простая белорусская река
С красивым строгим именем Лучеса.
Мы на рассвете встали пред тобой.
Ты нас ждала, как может ждать невеста;
И мы вели здесь долгий смертный бой,
Чтоб ты была свободною, Лучеса.
И в память тех, кто в росную траву
Упал навек, свой долг отдавши честно,
Я будущую дочку назову
Твоим прекрасным именем, Лучеса.

Младший лейтенант Г. А. Ушков погиб. У его сестры было четверо сыновей. И только дочь старшего внука поэта носит имя Лучеса. Это единственная

в мире девочка с таким редким и необыкновенным именем. Сбылась мечта поэта-фронтовика, который отчаянно защищал родную землю и отдал жизнь за счастье своей правнучки Лучесы.

Немецкий глубокоэшелонированный укрепрайон Витебска с кодовым названием «Медвежий вал» прорывала 33-я армия под командованием генерал-полковника В. Н. Гордова. В состав армии входили 12 стрелковых соединений, в том числе и 274-я стрелковая дивизия, в которой служил старший лейтенант Дубровский. Все дивизии этой армии вели беспрерывные атаки на немецкие траншеи. Делалось это в мороз и пургу, днем и ночью, но прорвать оборону противника на всю глубину нашим войскам не удавалось... Обычно в победных сводках значились освобожденные районы, города, крупные поселки, а тут, на Лучесе, стратегическими объектами за несколько месяцев изнурительных и кровопролитных боев значились — высотка, траншея, старое кладбище. И за эти крохотные клочки положены тысячи человеческих жизней. Потери были велики: горели танки, порою они тонули в болотах, в ротах подчас оставалось по двенадцать-четырнадцать бойцов. Но все сражались яростно и мужественно. Оплакивали павших, но не уступали врагу и метра белорусской земли. В армию непрерывно шло пополнение... Только в одной 274-й стрелковой дивизии потери личного состава превысили 75 процентов. Поэтому чувствовалось, что дивизия вот-вот будет выведена на переформирование. Горстке оставшихся в живых смельчаков трудно будет удержать расширившийся плацдарм.

Новобранцы из белорусского Полесья (апрель — июль 1944 г.)

Командир полка из штаба армии возвратился довольно поздно и сразу же приказал собрать на командном пункте штаба командиров и политработников подразделений. Полковник Роман Иосифович Бортник сообщил, что есть приказ сняться с позиций, и представил офицеров нового полка, которых этой же ночью надо было ознакомить с системой обороны. Смену подразделений на боевых позициях следовало произвести скрытно от противника. Весь следующий день прошел в обычной перестрелке, а ночью без малейшего шума 965-й стрелковый полк оставил позиции.

23 марта 1944 года 274-я дивизия сосредоточилась за Лучесой в районе Тулово, восточнее Витебска. А уже 29 марта выступила маршем на железнодорожную станцию Рудня для погрузки в эшелоны. Они редко останавливались на станциях. Мелькали их названия, по которым можно было догадаться, что дивизию перебрасывают на юг.

После Ровно состав заметно замедлил свой ход. Уже пересекли границу Волынской области, остались позади станции Зверев, Киверцы, Рудня. Из раскрытых настежь дверей теплушек просматривались следы недавних ожесточенных боев: изрытая бомбами и снарядами земля, брошенная врагом техника, разбитые станционные здания, сожженные хутора и деревни. После станции Рожище эшелоны двигались «черепашьим шагом». И через десять километров на безлюдной станции Переспа паровоз остановился.

Разгрузка заняла не более часа. Быстро отшагали километров двадцать-тридцать и разместились в соседних деревнях Кроватка, Любча, Тихотин... В Марьянувке расквартировался полк Дубровского. Здесь дивизия пополнялась новобранцами. А пополнение было в основном из жителей белорусского Полесья, из Пинской области, только что освобожденной от гитлеровцев. У земляков, понятное дело, были особые счеты к фашистам. Полк пополнили почти 870 солдат из Барановичского, Ляховичского, Пинского, Домановичского районов. Большая половина молодежи не участвовала в боях. Пополнение — в основном девятнадцатилетние юноши.

Началась обычная прифронтовая жизнь: боевая и политическая учеба, ускоренная подготовка к предстоящим боям. Надо было досконально изучить досье на каждого солдата: возраст, образование, семейное положение, кто их родственники, кто из них коммунист, а кто комсомолец, кто партизанил, а кто вообще не держал в руках оружия. Надо было выяснить: кто умеет плавать, а у кого водобоязнь, так как предстояло форсировать много больших и малых водных преград, кто не встречался еще с немецкими танками, а у кого только «танкобоязнь».

Выделили опытных наставников, которые делились навыками окапывания, устройства огневых точек в окопах, устройства проволочных заграждений, меткой стрельбы. Организовывали встречи со старыми коммунистами, ветеранами полка, орденоносцами. Знакомили с историей полка, рассказывали о подвигах однополчан, показывали сохранившиеся боевые листки, рукописные журналы, трогательные письма бойцам от родных.

Дивизию передали в состав 61-го стрелкового корпуса 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Командовать армией назначен известный полководец генерал-полковник В. Я. Колпакчи.

Конец апреля в этих местах всегда был довольно теплым. И на этот раз с каждым днем становилось все жарче и жарче. Отцвела черешня, и ее лепестки накрыли белым покрывалом буйно проступившую из земли зеленую траву. На берегу ручья важно расхаживали грачи. Над лугом стремительно носились ласточки. Мирно жужжали бархатные пчелы, перелетая с цветка на цветок. Хотелось снять сапоги и босиком побегать по траве-мураве, полежать в тенечке, помечтать. Казалось, что войны давно уже нет. Но прифронтовая передышка прошла на одном вздохе. В конце мая поступил приказ занять передний край обороны по реке Турья южнее Ковеля. И это бойцов вернуло к реальной жизни.

А 18 июля 1944 года по всему фронту началась Люблин-Брестская операция. 274-я дивизия наступала на левом фланге. Наступательные бои начались с самого утра. Еще не рассвело, а грохот артиллерийской канонады заполнил предрассветную тишину. Предстояло стремительно взломать оборону противника. Полк Николая Дубровского окопался на восточном берегу реки Турья на участке Гайки—Руда.

Еще до наступления разведчики выяснили, что перед ними был участок глубоко эшелонированной обороны немцев. Там были пять линий траншей полного профиля, развитая система инженерно-противотанковых и противопехотных препятствий. И это еще не все. Весь передний край врага был усилен проволочным забором. Причем спираль Бруно была выполнена в два кола. А крайне малый пятачок перед окопами немцев был плотно нашпигован минами. Это заставило вносить существенные коррективы в тактику ведения боя.

Наступление осложнялось еще и тем, что Волынское Полесье — это наиболее заболоченная и лесистая местность. Там самая плотная речная сеть, много озер и природных водоемов. По такой территории было довольно сложно пройти маршем шестьдесят километров до передовой, а уж окапываться в сильно заболоченной пойме реки Турьи было почти невозможно. Радовало, что полк не испытывал недостатка в вооружении. Оно постоянно поступало. Появились нового образца винтовки, автоматы, пулеметы. Артиллеристы получили несколько новых пушек.

Ночью, в канун прорыва обороны противника, на западный берег Турьи переправились две роты разведчиков с минометами и орудиями. Переправлялись под шквалом артиллерийского огня противника. Фашисты делали все, чтобы сорвать форсирование реки. Но им удалось закрепиться. После этого рота за ротой вступали на западный берег реки. Переправлялись пулеметы, орудия, техника. На подразделения дивизии одна за другой накатывали могучими волнами яростные контратаки гитлеровцев. Враг яростно цеплялся за любую высотку, за любой клочок укрепленной земли, за любой хуторок или деревеньку. Получался какой-то рваный ритм атаки: одни не могли и на сотню метров продвинуться вперед, а другие — занимали высотки и закреплялись там основательно. Но шаг за

шагом линия наступления выравнивалась, и полк Николая Дубровского уверенно продвигался на запад, к государственной границе Польши.

Остались позади освобожденные от гитлеровцев населенные пункты Руда, Лиски, Мунтуска, Чеславув, Ясенувка. По предложению комсорга полка Дубровского, комсомольский актив каждый день сообщал бойцам, сколько километров отделяет их от Западного Буга, так как изгнание врага за пределы Родины было заветной мечтой каждого советского человека. Все уже чувствовали близость границы, до которой оставались считаные километры. Но враг был еще силен.

Только когда стемнело, командир полка полковник Бортник посылает группу опытных автоматчиков в тыл врага, чтобы любой ценой уничтожить его артиллерийские позиции. Рывок автоматчиков был настолько дерзким и неожиданным для гитлеровцев, что почти за час бойцы проскочили две траншеи, уничтожили несколько минометных и пулеметных точек, насмерть перепуганные фашисты побежали без оглядки к своим дальним оборонительным рубежам. А уж остальное завершили другие подразделения полка, которые к утру заняли даже еще один близлежащий населенный пункт.

Наступление подразделений дивизии было таким стремительным и напористым, что уже вскоре бойцы 965-го полка на восточном берегу Западного Буга любовались плавным течением реки и мысленно готовились к броску на западный берег.

Марш-бросок с боями до границы Германии (июль 1944 — январь 1945 гг.)

20 июля в 4.30 утра бойцы 961-го полка уже были на западном берегу южнее польского поселка Казимеж, а в 10.00 — в двух километрах северо-западнее местечка Скригичин захватили несколько вражеских траншей. На следующий день в бой вступил 965-й полк. И уже 22 июля был освобожден первый старинный польский город Хелм, где еще сохранились остатки построек резиденции правителя Галицко-Волынского княжества князя Даниила Галицкого аж с XIII века и наскоро сооруженные уже немцами бараки концлагеря «Собибор» для уничтожения хелмских евреев. А впереди бойцов дивизии ожидала широкая и коварная Висла.

965-й полк вместе с дивизией отшагал по лесам, полям, раздолбанным дорогам сотни отвоеванных километров, с боями занимал множество неприступных высот, не раз преодолевал труднопроходимые болота. Но в памяти всегда оставались переправы через водные преграды, форсирование больших рек — Волги, Днепра, Вопи на Смоленщине, Лучесы под Витебском, Турьи на Волынщине, Западного Буга. Теперь на победном пути оказалась Висла — река полноводная, широкая, глубокая, с крутыми берегами. От Западного Буга до Вислы 965-й полк с изнурительными боями прошел почти триста километров, вместе с другими подразделениями дивизии освободил 80 населенных пунктов.

Обычно взламывание оборонительных рубежей, за которые враг цеплялся мертвой хваткой, чередовалось со стремительным преследованием вражеских частей. И тогда полк шел по 20—30 километров в сутки. Шел так быстро, что ездовые повозок, груженных минами и цинковыми ящиками с патронами, отставали от батальонов: обессиленные лошади не выдерживали такого темпа. Иногда казалось, что бойцам, не спавшим уже несколько суток, именно сейчас нужен хотя бы коротенький отдых, передышка. Видно было, что они вот-вот свалятся от смертельной усталости. Комсорг полка Николай Дубровский подключал своих активистов, которые в батальонах разворачивали гармошку и запевали задорные, веселые песни. Это поднимало настроение, снимало усталость, заставляло улыбаться. И только на привале бойцы сразу же отключались...

28 июля дивизия вышла на восточный берег реки Вислы. Все понимали, что Западный берег Вислы таил немало опасностей и неожиданностей. А главное,

перед форсированием реки предстояло разрешить задачку со многими неизвестными. Во-первых, надо было хоть приблизительно установить численность вражеских войск. Во-вторых, выяснить систему обороны. В-третьих, определить более-менее безопасные и удобные места для прорыва. И это была уже прерогатива разведчиков.

Когда первая небольшая группа разведчиков спрыгнула на мокрый песок и укрылась под обрывом, саперы прощупали дно у берега. Мин не оказалось. Зато на самом берегу их было полным-полно. Минные поля тянулись не только вдоль берега, но и далеко вглубь него. Стали их обезвреживать, чтобы проделать коридор к немецким оборонительным траншеям. А на восточном берегу спешно устанавливались станковые пулеметы и орудия, чтобы прикрыть огнем переправу.

В ночь на 29 июля бойцы нескольких батальонов на ветхих баркасах и легких плотах устремились на противоположный берег реки. Баркасы спокойно добрались до берега. Гитлеровцы как-то пропустили момент переправы. Очевидно, не ожидали такой дерзости. Когда бойцы уже были на песчаном берегу и спешно окапывались, открыли минометный и артиллерийский огонь. Но первый бросок удался: батальоны закрепились на берегу.

Вслед за первыми батальонами в то предрассветное утро стала форсировать Вислу рота старшего лейтенанта Федора Ровчакова. Рядом с командиром находился и комсорг полка старший лейтенант Николай Дубровский. Когда они с группой добровольцев на подручных средствах уже приближались к середине реки, противник на парашютах выбросил осветительные фонари и открыл ураганный артиллерийский и минометный огонь. Вода вскипала от пуль, снарядов и бомб, обагрилась кровью. Ряды бойцов заметно редели. Вот он, заветный берег. Но в момент высадки рота Ровчакова была встречена атакующим противником. Горстка бойцов приняла бой. Наскоро закрепились на крохотном участке земли, чтобы немного перевести дух, осмотреться. А потом до конца дня пять раз командир роты и комсорг полка поднимали бойцов в контратаки.

Продвигались с боями черепашьими шажками, но плацдарм к вечеру стал гораздо шире и глубже. На второй день сильно поредевшие ряды бойцов фашисты начали утюжить танками. На боевые позиции они бросили три танка и два бронетранспортера, за которыми бежала в атаку пехота. Им удалось прорваться на позиции роты. Когда погиб пулеметчик, Федор Ровчаков сам лег за пулемет. Но ближайшая бронемашина наехала на окопчик пулеметчика и крепко в окопе помяла Ровчакова, а Дубровскому раздавило ступню. Но из боя никто не вышел. Бронебойщики уничтожили танки и бронемашины. Комсорг полка Николай Дубровский вместе с пулеметчиками сумел отсечь пехоту от бронетехники и заставил ее отступить. Рота Федора Ровчакова к вечеру ворвалась в польский населенный пункт Гнездкув и полностью освободила его. Противник оставил на поле боя бронетехнику, оружие, шестьдесят три солдата и одного офицера. А рота расширила плацдарм до двух километров в глубину и окончательно закрепилась на западном берегу Вислы.

Вечером раненых переправили на другой берег. Федора Ровчакова увезли в госпиталь, а Николая Дубровского — в санитарную роту. Николай вскоре вернулся в строй, и хотя сильно хромал, не мог обойтись без трости, сразу же включился в боевую обстановку. А начальник вещевой службы Меерсон еще долго сожалел, что немцы испортили Дубровскому почти новый сапог и ему пришлось выдавать еще одну пару.

За личное мужество и храбрость, проявленные при форсировании Вислы, за захват плацдарма старший лейтенант Федор Ровчаков был представлен к званию Героя Советского Союза. А на груди комсорга полка Николая Дубровского засверкал орден Отечественной войны II степени, который молодому офицеру вручили перед полковым строем уже в начале августа.

К 1 августа подразделения дивизии заняли еще несколько поселков — Дольняя, Боровец, Гурна. И этим было положено начало Пулавскому плацдарму.

Когда бой кипел уже в трех-четырех километрах от Вислы, на плацдарм подтянулись и другие подразделения дивизии. Между яростными атаками противника бойцы зарывались в землю: углубляли окопы, отрывали огневые позиции для пулеметов, ячейки для стрелков. Делали добротные укрытия, обшивали песчаные стены траншей прутьями ивняка, сооружали деревянные лестницы-трапы, чтобы быстрее выбираться из окопа. Николай Дубровский часто напоминал молодым, что «твой окоп — это твоя крепость». Так день за днем укреплялся плацдарм за Вислой, завоеванный таким дерзким, неожиданным и героическим броском.

Неожиданно пришел приказ: сдать завоеванный участок 77-й гвардейской дивизии, а подразделениям 274-й дивизии занять оборону во втором эшелоне, примерно в трех-четырех километрах от передовой. Снова изменился ритм боевой жизни. Бойцы окапывались и осваивали нового образца автоматы ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) и ППС (пистолет-пулемет Судаева).

Январь 1945 года на Висле выдался холодным, ветреным и снежным. Земля, израненная снарядами и бомбами, исковерканная окопными траншеями, ходами сообщений, оборонительными точками, казалось, стонала от боли и обиды даже под снежным покровом. Подразделения дивизии уже продвинулись на десятки километров и занимали довольно прочно стратегически важный Пулавский плацдарм.

Командиры дивизий и полков зачастили в штаб фронта. Совещались, изучали карты, директивы. Стали чаще бывать в подразделениях, лично интересоваться боевой готовностью не только батальонов, но и рот, взводов и даже отделений. Ближайшая территория тыла заполнялась техникой. С обеих сторон активизировалась разведка. Пленные подтвердили, что противник готовится к наступлению и стягивает свежие силы. В районе города Радома, действительно, были уже сосредоточены три новые танковые дивизии, несколько дивизий пехоты, части «СС». Участились артиллерийские налеты врага и на передовые, и на тыловые позиции дивизии. В общем, обстановка сложилась такой беспокойной и тревожной, что по всему чувствовалось, вот-вот произойдет что-то важное, что Пулавский плацдарм — это исходный пункт для крупного наступления. Так оно и вышло.

В ночь на 13 января полк занял исходное положение для атаки у деревни Игнацув на Пулавском плацдарме. В полку тогда еще никто не знал, что накануне уже началась знаменитая Висло-Одерская операция, в которой предстояло принимать участие и 274-й дивизии. 1-й Белорусский фронт в полосе 500 километров стал так стремительно громить вражеские заранее укрепленные по последнему слову военного искусства позиции, форсировать большие и малые реки, уничтожать отборные и хорошо обученные части головорезов, что уже в двадцатых числах января почти полностью освободил от фашистов польские земли и вышел на польско-германскую границу.

14 января поступил приказ о наступлении по лодзинскому направлению. Перед боем предстояло еще многое сделать. В каждом батальоне Николай Дубровский провел комсомольские собрания, чтобы довести до личного состава обращение Военного совета фронта. А в 6.00 слушал командира полка полковника Бортника, который перед офицерами штаба ставил боевую задачу — 965-му полку следовало двигаться в направлении города Радом.

Радом известен с IX века. Этот уникальный город не только буквально переполнен историческими и архитектурными сокровищами, но и являлся очень важным стратегическим местом. Он находился в центральной Польше, на реке Млечна, в ста километрах к югу от столицы страны Варшавы. Здесь была разветвленная сеть железнодорожных, автомобильных, речных путей сообщения. Поэтому, когда город заняла немецкая армия, Радом стал центром одного из четырех немецких дистриктов (округов) Генерал-губернаторства.

Радом был важнейшим узлом в общей системе обороны противника. Укрепляя город, гитлеровцы приспособили для обороны каменные здания, на улицах построили ряд бетонных противотанковых препятствий, дотов. Перед городом имелись две линии траншей полного профиля, противотанковые рвы. Судя по всему, можно было ожидать длительных боев за город. Однако события развернулись иначе.

61-й стрелковый корпус двумя дивизиями атаковал город с севера и северо-востока, а 274-я стрелковая дивизия с ходу ворвалась на восточную окраину и завязала уличные бои. 965-й полк мелкими группами успешно продвигался к центру города. К утру 16 января большой промышленный город был свободен. Его удалось сохранить от массовых и точечных разрушений, которые задумали и подготовили гитлеровцы, благодаря не только стремительным действиям советских воинов, но и умело продуманной в армейских штабах операции. Через два дня приказом Верховного Главнокомандующего 61-му стрелковому корпусу было присвоено наименование «Радомский», а всему личному составу объявлялась благодарность.

19 января дивизия Николая Дубровского вместе с другими войсками 1-го Белорусского фронта освободила еще один крупный польский город Лодзь. Наступая на пятки противнику, воинские подразделения за три дня отшагали 106 километров. Они освободили 186 населенных пунктов, форсировали реки Пилица и Варта.

И уже 28 января в морозное утро бойцы и командиры стояли на восточном берегу реки Обры. Сорок три месяца они шли сюда, чтобы покончить с фашизмом. И вот она, ненавистная гитлеровская Германия, принесшая так много горя и разрушений не только их Отечеству, но и всей Европе.

Закончился стремительный, но изнурительный марш-бросок по польской земле до границы Германии.

Последний бой — он трудный самый...
(апрель — май 1945 г.)

Дубровский участвовал в битве за Берлин, но город не штурмовал. Подразделения 965-го полка вели бой за овладение вторым рядом вражеских траншей на подступах к Берлину. Их задача была: не выпустить отступающих из Берлина немцев и не допустить туда подкрепления.

Комсоргу командир полка приказал проследить, чтобы все бойцы были накормлены и получили фронтовые сто грамм. Надо было хоть как-то снять огромное напряжение. Распоряжения командиров выполнялись как никогда четко. Доложив полковнику Бортнику о выполнении приказа, Дубровский вернулся в свою подшефную — седьмую штрафную роту.

Так уж повелось в полку, что с первым батальоном в бой идет парторг, со вторым — агитатор, а вот с седьмой ротой, со штрафниками — комсорг Дубровский. Там много было хороших людей. Они просто оступились, в какой-то момент позволили себе слабость и безволие. Как-то перед боем заходит комсорг в блиндаж к штрафникам, а там термос со спиртным. Спрашивает: «Почему не выпили?» А ему в ответ: «Товарищ капитан, пьяный героизм ни к чему...» Вот вам и штрафники! Они действительно дрались зло и отчаянно. С ними в бою было надежно. Не раз комсорг вместе с командованием полка готовил документы на снятие судимости с тех штрафников, которые отличились в бою. Многие из них вернулись домой с заслуженными наградами.

Той ночью в траншеях и блиндажах никто даже не вздремнул. Бойцы и командиры тихо переговаривались — вели беседы «за жизнь» — о доме, о родных и любимых... Было еще темно, когда на передовой появились командир

полка и его замполит. А за ними знаменосец в сопровождении своих ассистентов со Знаменем полка.

Часы на исходе ночи с 15 на 16 апреля давили гнетущей тишиной. Только изредка зачастит где-то неприятельский пулемет, полыхнет в небе ракета. Но ничто не выдавало сосредоточенную на советской стороне огромную мощь из тысяч орудий, танков, самолетов, людскую силищу, готовую по первому приказу обрушиться на врага...

И вот неожиданно раздались оглушительные залпы из всех видов орудий и минометов. Заурчали, пронзительно засвистели «катюши». Они возвестили о начале артиллерийской подготовки. Гигантский огненный смерч обрушился на врага. Грохот усиливался. Вскоре не слышно стало даже голоса соседа по огневой точке. И только по восторженным лицам можно было судить о настроении бойцов. Как подсчитают потом дотошные историки, в ходе того ночного наступления, в том числе и на Зееловские высоты, на Белорусском фронте по врагу было выпущено пятьсот тысяч снарядов и мин. Это тысяча вагонов!

После заключительного залпа реактивной артиллерии вспыхнули ослепительно ярким светом зенитные прожекторы, и 965-й стрелковый полк вместе с другими частями и объединениями фронта пошел в наступление.

Передать картину того боя сегодня просто невозможно. Этот шквал огня, рев моторов, лязг гусениц, взрывы снарядов, свист пуль, возгласы «Ура-а-а!», стоны раненых, клубы дыма и пыли — все смешалось. Казалось, вулканическая раскаленная лава обрушилась на все живое.

Оглушенные и ослепленные, первые пленные толком не понимали, что произошло. Они лишь нервно сжимали руками свои головы и бессмысленно бормотали одно и то же: «Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott!» И все-таки, к большому удивлению наступающих, противник еще отчаянно сопротивлялся: линии его обороны огрызались шквальным ответным огнем. Отступающий враг цеплялся за каждый рубеж, каждую высотку, рощицу, деревеньку. Какая же сила была сосредоточена в обороне, если даже после столь сокрушительной артподготовки огневая мощь гитлеровцев оказалась весьма внушительной! Вражеская авиация на бреющем полете обстреливала наступающие цепи, буквально засыпала их кассетными бомбами...

Ох, нелегкой и кровавой была дорога на Берлин. Если на территории Польши в отдельные дни подразделения полка продвигались до тридцати километров в сутки, то на Берлинском направлении за двенадцать дней они еле-еле продвинулись всего лишь на 26 километров. Юго-восточнее Берлина были окружены отборные части вермахта. Пытаясь вырваться из окружения, гитлеровцы без жалости бросали людей на верную смерть. Причем на отдельных участках неприятель имел даже кратковременный успех. 26 апреля фашистам после тяжелейших боев удалось немного потеснить один из батальонов полка, а роту старшего лейтенанта Лаптева взяли в плен. Через день, когда группировку фашистов заставили спешно отойти и отвоевали прежний рубеж, однополчане увидели жуткую картину: на опушке леса лежали убитые и зверски истерзанные все 16 бойцов и их бесстрашный командир. Чувствовалась бессильная ярость поверженного врага...

И уже к полудню 29 апреля гитлеровские солдаты вынуждены были прекратить сопротивление, начали массово сдаваться в плен. Кольцо окружения стремительно сжималось. А когда с другими частями дивизия вышла на рубеж Гросс Мюле—Херисдорф, крупная группировка врага была окончательно разгромлена. 30 апреля выяснилось, что дивизией взято большое количество трофеев: 106 орудий разных калибров, более полутора тысяч винтовок и автоматов, около десяти тысяч снарядов и мин, свыше тысячи автомашин с военным имуществом. В плен попали около двух тысяч солдат и офицеров.

Долгожданное слово «Победа» (май 1945 — май 1946 гг.)

Поступила команда: дивизии сняться с позиций и стремительно с боями обойти Берлин с южной стороны и двигаться западнее, в район Магдебурга, к берегам реки Эльбы. Пришлось по пути сокрушать последние рубежи сопротивления фашистов. 965-й полк расположился в местечке Мессер, а 961-й полк — у моста через Эльбу, с охранными функциями. Наспех построили землянки. Обустраивались. Ждали решения командования. Вторую ночь полк спал мирным сном.

Майские дни проходили без перестрелки. И вот однажды утром, еще даже не рассвело, как раздалось громогласное «Ура-а-а!», послышался дружный треск автоматных очередей. Солдаты вскочили с лежанок, разобрали оружие, выскочили из землянок. Подумалось: опять прорвались фашисты. Но тревога оказалась ложной. Это возбужденные и счастливые люди салютовали победе. Они обнимались, целовались, плакали, поздравляли друг друга. В воздухе висело многоголосое слово: «Победа!» Первыми в полку об этом узнали обычно круглосуточно дежурившие радисты. Они услышали сообщения западных радиостанций о капитуляции Германии и радостную весть моментально разнесли ближайшему окружению.

Дубровский сквозь ликующую толпу однополчан с трудом пробрался к телефону. В то время ему поручили исполнять обязанности заместителя командира полка по политчасти, так как накануне в боях два замполита были ранены, а нового еще пока не назначили. Дозвонился до начальника политотдела дивизии.

— С победой, земляк! — захлебываясь от радостных эмоций, кричал в трубку полковник Петров. — Организуй митинг личного состава. На салют боеприпасов не жалей. Я у вас буду в десять.

Нашли в интендантском хозяйстве кусок красного полотна. Зубным порошком написали на нем два слова: «Победа, ура!» Полотнище привязали телефонным кабелем к стволам двух сосен. Притащили сюда же пушку-сорокапятку для праздничного салюта. В полковом обозе разыскали три-четыре духовые трубы с «тарелками» и барабаном. Уцелевшие в боях оркестранты, до блеска надраив инструменты, проверили их на звучание. Вроде бы для празднования все было готово. На всю округу радостно и весело заиграли, мелодично запели медные трубы.

На просторной лесной опушке выстроился полк. Торжественно вынесли полковое Знамя, с которым 965-й полк прошел с боями путь от Запорожья, Смоленска, Витебска до Берлина. 1063 суток из 1418 дней войны полк находился в составе действующей армии.

Полковник Петров поздравил собравшихся с Победой. Митинг оказался недолгим. Речи выступавших были короткими и взволнованными. Многие бойцы, прошедшие тысячи километров по дорогам войны, не раз бывшие рядом со смертью, просто не могли сдержать слез радости — пришел конец войне и они остались живы. Но это были и слезы печали по боевым друзьям. Отдаваясь в лесу гулким эхом, прогремел салют из нескольких залпов.

Наскоро сколотили столы и устроили настоящий праздник. За обедом сначала осушили по полной первую, а потом из старшинских и солдатских заначек добавили еще. По душам поговорили. Помянули однополчан, которых навечно оставили лежать на полях сражений в нашей стране и в Европе, вспомнили тех, кто излечивался от полученных ран в госпиталях и санчасти.

А уже потом солдаты вместе с командирами плясали до седьмого пота. У каждого за плечами были разные сроки фронтовой жизни. Одни прошли боевой путь с полком все четыре года, как говорится, от звонка до звонка. Другие немного меньше были в окопах, но зато пополнили стаж сражений с партизанским довеском времени. Это касалось белорусов. Третьи, самые молодые, влились в солдатские ряды только в начале 45-го. Но ликовали и радовались все

одинаково. Каждый истосковался по песне, музыке, танцу, да и просто по обыкновенному человеческому общению и покою, который по-настоящему оценили только теперь, когда пришел конец боям и тревогам.

Чего только не было в тот радостный день на лесной поляне, где расположился лагерь полка! Среди кавказцев, собравшихся отдельным кругом, звучала азербайджанская зурна — музыкальный инструмент вроде дудки пастуха. И под ее мелодию в круг влетел молодой солдатик в черной черкеске и мягких кожаных сапогах. Он лихо отплясывал задорную лезгинку.

— Расулов, откуда взялся этот настоящий и очень красивый национальный костюм? — удивился Дубровский, глядя на раскрасневшегося и довольного собой дагестанца.

— Товарищ капитан, откуда, откуда?! Да земляки подарили, когда провожали на фронт, — улыбнулся горец, которого все звали просто Агай. — Сказали: после победы в Берлине надень и станцуй...

Комсорг Дубровский смотрел на это многонациональное братство однополчан и думал: сколько же горя вынесли на своих плечах эти прекрасные, самоотверженные, героические люди, сколько раз каждый из них бесстрашно заглядывал смерти в глаза, сколько пришлось им прошагать невероятно трудных дорог по лесам, болотам, вспаханным бомбами, снарядами, минами полям, землям, изрытым окопами, траншеями, застроенным только блиндажами, землянками, дотами.

Четыре года войны — это миг для истории и вечность для поколения пацанов в возрасте от 18 до 25 лет, которые составляли основу рот, батальонов и полков Советской Армии. Миллионы из них еще даже не начали по-настоящему свою жизнь, в военные годы ее уже и закончили. А живые будут пожинать славу победителей и из последних сил героически возрождать разрушенное войной Отечество за себя и за того парня, который грудью заслонил его от вражеского порабощения. И пусть война укоротила их жизненный путь, благодарное человечество будет чтить и помнить это героическое поколение.

Личное факсимиле на рейхстаге (июнь 1946 — июль 1953 гг.)

Как-то в полдень заходит к Дубровскому Михаил Шмелев, комсорг соседнего 961-го полка, и предлагает встретиться с американцами, которые стояли по ту сторону Эльбы. А тогда такую встречу мог организовать только командир дивизии. Присутствовали там обычно старшие офицеры — от майора и выше, а комсорги были пока капитаны. Но полк Михаила Шмелева нес службу прямо у реки, охранял мост. Поэтому он мог такую встречу организовать. С пустыми руками в гости не пойдешь. Сборы были недолгими: набрали черного хлеба, квашеной капусты, соленых огурцов, сала. Американцы любили русскую водку, но у Дубровского сохранился запас польского спирта, которым наполнили несколько фляг. Все это упаковали в две противогазные сумки и пошли на встречу.

Молодые советские офицеры пригласили американцев на свою сторону. Человек десять-двенадцать перешли мост и стали с гостеприимными хозяевами общаться жестами, мимикой, объятиями, как старые друзья. За чаркой любой язык становится понятным. Пили с американскими парнями за победу, за дружбу, за мир, за матерей, за погибших друзей, за боевых товарищей, за любимых подруг... Обнимались, руки жали, хохотали... В тот день никто не думал о том, что будет завтра. Спирта для такой встречи было явно мало. Кто-то протянул посудину, кто-то нашел крышку, кто-то просто хлебнул глоток из фляги. А когда все фляги опустошили, американцы притащили виски. Встреча прошла тепло, в дружеской обстановке, как сейчас бы сказали, неформально, «без галстуков». Американцы приглашали молодых офицеров к себе, на другой берег Эльбы.



Но для советских офицеров это было своеобразное табу, поэтому они с благодарностью отказались.

Вскоре пришел приказ о назначении капитана Дубровского помощником начальника политотдела по комсомолу Тыла армии, где числилось около пяти тысяч комсомольцев. Ему пришлось переселиться в местечко Цоссен недалеко от Берлина на южной его окраине. Тогда вокруг Берлина много было советских воинских частей.

После посещения воинских подразделений в Берлине Дубровский решил заехать к рейхстагу. Грешно быть рядом и не засвидетельствовать там свое присутствие. Само здание, разрушенное и опаленное, пустовало. Но вот его стены, простенки, колонны стонали от тяжести имен и фамилий советских солдат, которые хотели увековечить наименования своих городов, поселков, деревень. На них слова ликования, радости, гордости. На них, как говорится, просто живого места не было. По пути обломав какой-то кусок арматуры, Дубровский забрался на крышу рейхстага и на постаменте правой скульптуры лошади с всадником минут сорок выцарапывал: «Здесь был Николай Дубровский».

В начале августа командарм генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Колпакчи вызвал капитана Дубровского и объявил:

— Тебе, комсомол, поручается важная миссия. Соберешь три-четыре госпиталя, конный взвод, всех собаководов, военторг... ну, и некоторые другие службы по списку, — генерал протянул Дубровскому приказ и добавил: — Будешь их сопровождать до Советского Союза. В Бресте тебя встретят.

Время выступать, а Дубровский как будто специально ангину подхватил. Он к своему другу замполиту Ивану Даниловичу Кирдану, с которым вместе воевали под Витебском.

— Иван, у меня горло болит, где тут у нас поблизости какие-нибудь медики есть?

Кирдан его завел в кабинет санчасти. Там сидели врач и сестра. И вдруг что-то всколыхнулось в душе молодого капитана. Не зря говорят, что первые впечатления самые сильные. Всю дорогу до Бреста не выпускал из виду медсанчасть. Медсестра, как заноза, засела в его душе глубоко и надолго, лишив сна и покоя. Да и ей по душе пришелся этот симпатичный, внимательный, заботливый офицер.

Маша Сечкина казачка из станицы Нижняя Гниловская, что в пяти-семи километрах от Ростова-на-Дону. Там и сейчас живут ее родственники. После освобождения Ростова-на-Дону от фашистов Маша окончила училище и добровольцем ушла на фронт. Медицинской сестрой с боями дошла до Берлина. Ее подвиги — в орденах, медалях, знаках отличия, воинских характеристиках. Всегда строгая, аскетичная, на этот раз проявила слабость и ответила взаимностью комсоргу армии.

Но судьбе было угодно на какое-то время разлучить влюбленных. Даже связь прервалась. Дубровский получает назначение в Бакинский военный округ, командовать которым поручили генерал-лейтенанту В. Я. Колпакчи, и едет в город

Кировабад (Гянджу). Там вступает в должность помощника начальника политотдела по комсомольской работе пехотного училища, а когда его расформировали, перемещен на равноценную должность в Бакинское пехотное училище. С головой ушел в работу. Удачно защищал цвета спортивного коллектива «Советская Армия» по пулевой стрельбе. А по вечерам вместе со школьниками-пацанами двадцатидвухлетний, но уже седовласый капитан садился за парту педагогического училища и вместо автомата или пистолета брал в руки перьевую ручку, чтобы писать на лекциях подробные конспекты. Конечно, это были не наспех сделанные краткие и сухие донесения, которые ему приходилось писать во время войны, но другого выхода у ученика-переростка не было. И это не прошло даром. Все экзамены и зачеты ему удалось сдать экстерном, чтобы поступить в университет.

Вскоре на совещании политработников в Баку появился Иван Кирдан. Передал привет от той медсестры, которая, оказывается, глубоко запала в душу его боевого друга. Разбередил еще свежие раны и напомнил, что его любят и ждут. Ну, а когда медчасть Маши Сечкиной перевели в Кировабад, она стала женой гвардии капитана Дубровского. Под Новый год оформили брак, в кругу фронтовиков скромно отпраздновали свадьбу, расположились в крохотной комнатушке военного городка, стали обзаводиться необходимым домашним скарбом. Керосинку Маша привезла из своей станицы. Кастрюлю для борща Николай за 200 рублей купил на шумной послевоенной бакинской толкучке. Молодая семья стала постепенно обрастать имуществом. В 1947 году родился первенец — сын Володя.

Дубровские душа в душу прожили почти шестьдесят лет. Воспитали сына и дочь, вынянчили и поставили на ноги внуков, дождались и вырастили правнуков. Мария Петровна была добрым, на редкость заботливым, трудолюбивым человеком — надежным, умелым и преданным «начтылом» большой семьи Дубровских. Никто не помнит случая, когда бы она повысила голос, легла спать раньше всех и утром встала позже других. Вечно в заботах. Даже тогда, когда работала медсестрой, потом в аптеке, она старалась домашние заботы не перекладывать на чужие плечи. Десять лет уже нет этого мудрого человека, а вот пример высокого достоинства, верности и женского предназначения, как далекий и мощный маяк, продолжает освещать жизненный путь ее наследникам.

В январе 1950 года майора Дубровского откомандировали в состав Группы советских войск в Германии, где он был назначен на должность инструктора отдела комсомольской работы политического управления. Семья обживается в военном городке под городом Вюнсдорфом. Ну, а когда в 1952 году Дубровский получил диплом об окончании исторического факультета Азербайджанского государственного заочного педагогического университета, его повышают в звании и направляют в Ленинград на годичные курсы политсостава имени Энгельса. После окончания курсов в 1953 году подполковник Дубровский перевозит семью в Белоруссию, где его назначают на должность начальника политотдела 7-й механизированной армии в город Борисов. Но буквально через полгода вызывают в Москву. После собеседования в Главном политуправлении Дубровский становится помощником начальника политуправления Белорусского военного округа по комсомолу. Командующим БВО тогда был Маршал, дважды Герой Советского Союза Семен Константинович Тимошенко.

Для молодого офицера это было «золотое» время службы.

«Товарищ командующий комсомолом...»
(октябрь1953 — 1967 гг.)

Конечно, «хозяйство» подполковник Дубровский получил огромное — около ста восьмидесяти тысяч комсомольцев. Это почти треть республиканской комсомольской организации, которую тогда возглавлял Петр Миронович Маше-

ров. Надо сказать, что большинство заслуг БВО, одного из лучших округов Вооруженных Сил СССР в то время, — это активная деятельность молодых воинов-комсомольцев. Они составляли большую часть личного состава округа. И командующий войсками округа Семен Константинович Тимошенко хорошо понимал это.

Как-то, подводя итоги военного совета по руководству комсомолом, Маршал сказал: «Пора понять, *у нас в округе два командующих — командующий округом и командующий комсомолом*, — и прошу указания командующего комсомолом выполнять, как указания командующего округом». После этого многие командармы, члены военного совета вроде бы в шутку, но всегда с большим уважением обращались к Дубровскому: «Товарищ командующий». Всегда поддерживали начинания молодежи и подбадривали: «Давай-давай, комсомол, действуй!»

И комсомольцы округа, как говорится, «давали» и действовали. Они успевали бескорыстно помогать белорусскому народу избавляться от тяжелейших последствий разрушительной войны. С благословения командующего округом молодые руки солдат строили в сельской местности мосты, дороги, разминировали поля, восстанавливали сельскохозяйственную технику, возводили и ремонтировали людям хаты, школы, больницы, помогали убирать урожай, избавляли крестьян от тяжелого военного наследия — дотов, окопов, блиндажей, землянок.

Комсомольский вожак округа Дубровский был избран в состав Центрального комитета, а одно время входил даже в состав бюро ЦК. Отмечен специальным знаком «За активную работу в комсомоле».

Как-то в Москве, в Центральном Доме Советской Армии проходило всеармейское совещание комсомольских работников, на котором присутствовал Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Дубровскому, как и другим комсоргам военных округов, было поручено выступить с докладом. В перерыве, когда группа офицеров бурно обсуждала общие армейские проблемы, к ним подошел Георгий Константинович. Остановился напротив Дубровского, подал ему руку и сказал: «Жуков», тот ответил: «Подполковник Дубровский».

— Видимо, с Тимошенко вы дружно работаете? — спросил Маршал.

— Ну, да... Семен Константинович любит комсомол, — ответил Дубровский. — Он нам уделяет много внимания.

— Все, о чем вы здесь рассказали, — заметил Жуков, — опишите подробнее с фактами, обоснованиями и пришлите на мое имя. Хотелось бы лучше познакомиться с вашим опытом. Мы его обязательно распространим в другие округа.

В Минске Дубровский доложил Маршалу С. К. Тимошенко о поручении министра обороны СССР. Тот сделал паузу, лукаво улыбнулся и сказал:

— Тебе поручили, ты и пиши, а когда напишешь, покажи мне.

Недели две комсомольский отдел округа шлифовал содержание справки: добавляли и насыщали фактуру, убирали лишний текст, редактировали, меняли и переставляли предложения, слова, запятые. Затем, одобренный командующим, материал отправили в Москву.

Недели через три Дубровскому позвонил секретарь Военного совета подполковник Токарев: «Комсомол, бегом к Маршалу». Тимошенко встал из-за стола, встретил своего главного комсомольца на середине кабинета, пожал руку и сказал:

— Сейчас разговаривал с Георгием Константиновичем. Бумагу твою он получил. Понравилась. Велел поблагодарить, что я и делаю. Спасибо тебе за службу.

И еще раз довелось Николаю Дубровскому встретиться с Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым. Это было на учениях в районе Барановичей. А вот с Маршалом С. К. Тимошенко Н. В. Дубровский работал почти десять лет и, откровенно говоря, пользовался его покровительством — как фронтовик, который прошел окопные курсы человековедения, как способный на творческую выдумку и умеющий ее воплотить, исполнительный и со своими — мнением, позицией, взглядами неординарный офицер. В 1958 году он успешно окончил

Военно-политическую академию и в 35 лет стал полковником — самым молодым в Беларуси. Тогда, как известно, звездами не разбрасывались. А вот генералом так и не стал...

В 1962 году Семена Константиновича перевели в Москву и назначили председателем Совета Вооруженных Сил СССР. И в Беларусь сразу же «...пришли иные времена. Взошли иные имена». Полковник Н. В. Дубровский перебирается в Уручье под Минск и возглавляет политуправление 120-й Рогачевской гвардейской стрелковой дивизии.

Однако уже сказывались страшные годы окопной жизни и постоянное соседство со смертельной опасностью. Как бы там ни было, а полковник Николай Васильевич Дубровский в 1967 году, в свои 44 года, на пике военной карьеры уходит в отставку по болезни.

С легкой руки белорусского писателя (1967 — март 2015 гг.)

Для таких, как Николай Васильевич, отставка — не покой в домашних тапочках. Он не собирался без дела продавливать диван или уютное кресло перед телевизором. Правду говорят, что политработники в отставку не уходят. Казалось бы, у Николая Васильевича было все — уютная квартира в центре города, хорошая пенсия, почет и уважение. Сиди себе — отдыхай. Ведь заслужил. А вот сидеть сложа руки он и не стал.

Несколько лет работает директором столичного Центрального книжного магазина. Возглавляет ветеранскую организацию ЖЭСа, на территории которого в основном семьи офицеров БВО. Встречается со школьниками и молодым армейским пополнением. Рассказывает о войне, патриотизме, фронтовых подвигах своих сверстников. Пишет статьи в газеты, выступает по радио, участвует в телепередачах. Дотошно изучает, собирает и систематизирует информацию о минских подпольщиках. Пишет запросы в архивы, министерства, родным и близким погибших, чтобы установить истину, воздать должное забытым героически сражавшимся с фашизмом людям. Стучится во все двери официальных учреждений, доказывает, убеждает, чтобы установить мемориальные доски на зданиях, связанных с подвигами героев-подпольщиков. Пишет документальную повесть «Бессмертие подвига» об уничтожении гауляйтера Вильгельма Кубе.

Николай Васильевич потратил уйму времени, чтобы доказать и защитить доброе имя белоруса Ивана Бяко, который в 1945 году нашел экспонаты Дрезденской картинной галереи. После войны Борис Полевой написал очерк «Найденные сокровища» и ошибочно приписал этот факт другому человеку. И Николай Васильевич не смирился с этим, а документально восстановил справедливость. Сотрудники Дрезденской галереи и немецкие журналисты радио «Свобода» подтвердили это.

Долгое время Дубровский хлопотал о создании могилы Неизвестного солдата в Беларуси. С группой ветеранов он обратился с письмом к Президенту Беларуси, где говорилось: «...По данным Национального архива Республики Беларусь, **в белорусской земле похоронены 1 миллион 187 тысяч 450 воинов, партизан и подпольщиков. В то же время известных захоронений у нас только 287 260, остальные 900 тысяч — неизвестные...** Убедительно просим поддержать идею сооружения могилы Неизвестного солдата в Минске и воплотить ее в жизнь...» И вскоре пришел положительный ответ: мемориалу в храме Всех Святых в Минске — быть!

По своей инициативе Дубровский побывал в Дрездене, где разыскал имена 156 белорусов, погибших в лагере для военнопленных Цайтхайм в Германии, под Дрезденом, установил даты рождения и смерти. И чтобы не стерлись в памяти нынешнего поколения трагические для страны события, которым он, фронтовик,

отдал лучшие свои молодые годы, Николай Васильевич в журналистике четко определился с тематикой — пропаганда подвигов и память о погибших.

Помог ему в этом Народный писатель Беларуси Иван Петрович Шамякин. Познакомились они в Георгиевском зале Кремля в марте1954 года на XII съезде ВЛКСМ. Оказывается, они фронтовые коллеги. Иван Петрович тоже был комсоргом дивизиона. А в Минске жили по соседству. Еженедельно встречались то в сквере Янки Купалы, то в детском парке. Обсуждали события в мире, вспоминали войну. Дубровский, как из рога изобилия, выплескивал на собеседника боевые эпизоды, один интересней другого. Иван Петрович не раз просил: «Коля, напиши об этом». А Николай Васильевич все не решался.

Но однажды рассказал о том, как встретился с Еленой Мазаник. Было это в 1955 году. Отмечалась годовщина комсомола. В зал входит Евгений Коноплин, бывший секретарь подпольного обкома комсомола в период войны, с рослой симпатичной женщиной со Звездой Героя Советского Союза на груди. Они с Дубровским были членами ЦК ЛКСМБ и членами бюро. Поздоровались, и женщина говорит: «Ну что, товарищ подполковник, я вас приглашаю на “белый танец”». Закончился танец. Евгений спрашивает: «Ты хоть узнал, с кем ты танцевал?» Тот гордо отвечает: «Это же Галя. Я комсомольцам на фронте рассказывал о ее подвиге». Коноплин улыбнулся и поправил: «Ее не Галя зовут, а Елена. Это Елена Мазаник». Вот так Дубровский познакомился с ней.

Иван Петрович сразу же стал убеждать: «Вот-вот, начни писать именно с этого. Не будет получаться, я обязательно помогу». Когда Николай Васильевич принес писателю статью, тот почитал и похвалил: «Слушай, мне тут править нечего». *Так с легкой руки белорусского писателя Ивана Шамякина родился белорусский журналист Николай Дубровский.*

Сегодня много известно о ликвидации кровавого гитлеровского наместника в Беларуси Вильгельма Кубе. Операцию «Возмездие» подготовила и осуществила спецбригада «Димы», которая находилась в деревне Янушковичи Логойского района. Имена тех, кто осуществил операцию — Героев Советского Союза Марии Борисовны Осиповой и Елены Григорьевны Мазаник и других есть во всех энциклопедиях, в книгах о Минском подполье, газетных и журнальных публикациях. А вот у Дубровского хранятся подлинные документы советских и немецких донесений, отчетов, справок; десятки метров диктофонных записей воспоминаний самих участников, свидетелей, исследователей, родных и близких героев. Это бесценный документальный материал для белорусской исторической науки и для молодого поколения белорусов. Сегодня среди нас нет этих людей, а их живые голоса, подлинные события, атмосферу тех страшных дней сохранил журналист-документалист фронтовик Николай Васильевич Дубровский.

* * *

Жизнь Николая Васильевича Дубровского, как пчелиные соты, состоит из множества ячеек, собранных воедино из таких ярких, сложных и насыщенных событий, каждое из которых — отдельное повествование. Она достойна большого и вдумчивого разговора.

Прославленный полководец, четырежды Герой Советского Союза, Маршал Георгий Константинович Жуков, обращаясь к потомкам, писал: «Помните, среди вас живут военные люди. Относитесь к ним с почтением не только тогда, когда они с орденами собираются поговорить с вами. Не забывайте о них в сутолоке жизни. Будьте с ними предупредительны, относитесь к ним чутко и уважительно. Все, что вы сделали для ветеранов, — это очень малая плата за то, что они сделали для вас».

Мне добавить к этому больше нечего.



Слыша дыхание Музыки

Он поражал своей зажигательной виртуозной игрой на баяне и аккордеоне. Выступал как пианист. Был успешным хормейстером. Дирижировал симфоническим, народным, духовым, баянным оркестрами. Вместе с другими музыкантами продолжил дело легендарной предшественницы — педагога Белорусской консерватории Эльфриды Азаревич, став одним из основоположников национальной школы академического сольного баянного исполнительства.

Да, были времена... Впрочем, какие наши годы! Почитаемый маэстро, профессор Белорусской государственной академии музыки Михаил Солопов, в октябре 2014 года отметивший свои 90, продолжает работать по мере сил, удивляя окружающих безотказной памятью, жаждой познания, творческой неутомимостью, трудолюбием, радостным восприятием жизни.

Многозвучное детство

Итак, профессор Михаил Солопов: заслуженный деятель искусств и заслуженный деятель культуры Беларуси, разносторонний музыкант-педагог, организатор и просветитель, автор более двухсот рецензий, аналитических статей и творческих портретов, опубликованных во многих массовых и специализированных изданиях. А нынче к Михаилу Григорьевичу особое внимание: он единственный ветеран Великой Отечественной войны в коллективе Академии музыки и в Белорусском союзе музыкальных деятелей.

Уникален творческий мир, который он создал, самоотверженно служа классическому искусству, радея о сохранении и развитии традиций художественной культуры самобытной страны в центре Европы — для него давным-давно уже своей, родной Беларуси. Много лет назад она как сына приняла молодого офицера, когда тот, возвратившись с фронта, задумался о собственной дальнейшей взрослой жизни. Родом же Михаил Григорьевич из России. Село Покровское, где он появился на свет, расположено в Тербунском районе, теперь относящемся к Липецкой области. Это центр благодатного Черноземья: железная дорога от станции Тербуны ведет на просторы курской земли, а главный город Воронежской области, считай, — близкий сосед...

Можно себе представить, сколь сложна и насыщена событиями биография нашего героя. Вот почему едва ли не каждый, кто знаком с маэстро Солоповым, готов часами слушать его неторопливое и подробное повествование о пережитом. Ах, какой увлекательный многосерийный кинороман мог бы получиться на основе его рассказов: ведь этот человек, впечатлительный и склонный пофилософствовать, отличающийся «фотографической» наблюдательностью, помнит себя с трехлетнего возраста!



Михаил Солопов — первокурсник Курского музыкального училища.

«Что поделаешь: люди лишены “чувства своего начала”. И день рождения человека никогда не совпадает с днем рождения его памяти... Моя память — это голос пятиклапанной гармошки. В нашем селе такой инструмент называли «черепашка». Мне было три года, когда я начал ее осваивать, — уточняет Михаил Григорьевич, признаваясь, что никогда не представлял и не представляет свою жизнь вне музыки. — *От самого рождения меня в семье окружала музыка. Мама, обладавшая дивным голосом, пела в церковном хоре. Она брала меня, совсем еще маленького, на предпасхальные спевки. Под звучание молитвенных распевов я нередко там, в храме, и засыпал. У кого-то это вызывало недовольство, моя же матушка радовалась, очевидно, считая, что безмятежный сон младенца под возвышенные песнопения — во благо.*

А «черепашку» смастерил для меня дед Илларион Павлович. Ларёк — так называли его в Покровском — был настоящий мастер-самородок: часовщик, плотник, слесарь, печник, кузнец, стекольщик. И музыкант. Ремонтировал гармошки всех видов, что приносили односельчане, да и сам играл на всех. И меня приобщил. Годков шесть мне было, когда я уже «наяривал» наравне со взрослыми. Популярные в народе песни, танцевальные наигрыши подбирал на гармошке по слуху: для этого мне достаточно было услышать незнакомую мелодию всего лишь раз. А дед, бывало, работу свою отложит и окликнет меня: мол, давай-ка, Мишулёк, мы с тобой сладим! «Сладить» означало поиграть дуэтом.

Вообще мы в удовольствие музицировали семейным квартетом: дед, отец, мама и я. Кстати, отец, человек весьма одаренный, со своими тремя классами церковно-приходской школы сумел найти работу бухгалтера, да еще и в городе. Матушка очень хорошо играла — душевно, трогательно до слез. Но — исключительно в домашнем кругу. Про это ее умение знали только самые близкие. Она часто, взяв инструмент, запиралась от посторонних глаз в чулане, потому что в тогдашней русской деревне женщину с гармошкой в руках воспринимали неадекватно и просто могли осмеять, опозорить. А вот то, что мама работала грузчицей на элеваторе и таскала на себе шестипудовые мешки, никого не коробило, считалось нормальным.

Бабушка Пелагея, самый влиятельный и мудрый человек в семейном воспитании, учила жить по Божьим заповедям, направляла меня к духовно-нравственным ценностям христианства и полагала, что я, возможно, стану священником. В пять лет я знал наизусть весь молитвенник, а текстов в нем заключалось много. Дух веры был в ней весьма силен. (Кстати, родное село Солопова примечательно своим православным храмом, оно и называется Покровское по имени здешней Покровской церкви. — **С. Б.**). *Бабушка любила послушать, как я играю: «Мишулёк, а давай нашу «Барыню»!» Однако во время Великого поста играть запрещала (изредка позволяла наиграть «Христос воскрес!»), и я переживал это как страшную пытку; ограничивать себя на семь недель в пище было легче».*

Однажды отец пригласил в гости Ивана Степановича Теряева. Он был знаменит в селе тем, что делал баяны. Один из таких инструментов и захватил тогда, направляясь в дом Солоповых. Долгое застолье сопровождалось музицированием, песнями. Звучание баяна заворожило маленького Мишу. К тому же он услышал и тут же запомнил немало новых для себя мелодий, которые хотелось повторить. И что же? Когда беседа смолкла и подвыпивший Иван Степанович, не рискнув на ночь глядя добираться до своего дома, остался у гостеприимных хозяев и прикорнул на большой лавке, мальчонка метнулся к баяну. Вытащив инструмент из дома, он, чтобы никого не разбудить, укрылся в погребе и стал осваивать незнакомую клавиатуру...

На рассвете его, босого, посиневшего от холода, но такого счастливого, встречала у погреба перепуганная бабушка, которая всю ночь прислушивалась к звукам «нечистой силы», исходившим словно из-под земли. А недоумевающий гость, которому чистосердечная Пелагея поведала о грешном поступке своего внука, попросил юного самоучку повторить при всех результат этих тайных занятий на «похищенном» баяне. Похвалил, расчувствовался и предсказал серьезное музыкальное будущее. Слова уважаемого мастера он воспринял как первую, а потому самую дорогую и незабываемую «профессиональную» награду. А баян стал для него заветной мечтой.

Вспоминает Михаил Григорьевич и о событии, поставившем под угрозу не только его мечту, но и жизнь.

«Мне было семь лет, когда в селе решили строить новую школу. Дел хватало и взрослым, и детям. Женщины доставали из колодца воду, наполняли бочку, установленную на телеге, а я отвозил ее на стройку. Накануне того злополучного дня прошел ливень. Из-за многочисленных луж телегу занесло. Я соскользнул с бочки, угодил под лошадиные копыта. Конь протащил меня по грязи несколько метров, переехал телегой... Я почти сутки был без сознания. Как-то выжил. Больше года не ходил в школу. Ноги были как ватные, руки бездействовали: малейшее движение пальцев — и насквозь пронизывает боль. Но больнее было оттого, что играть на гармошке я не мог и думал, что ничего хорошего у меня уже не будет. А мечта все-таки звала, меня тянуло к жизни. И к девяти годам я выздоровел».

Но следом — новая напасть. Невыносимо палящее солнце над Черноземьем, страшная жара, от которой листья на деревьях выглядели, словно обуглившиеся, засуха и голод в 1933—1934 годах. Солоповы переехали на Украину. В Макеевке строился металлургический комбинат, родители устроились там на работу, и даже их скудный продовольственный паек помог семье продержаться, пережить лихие времена. Притом юный музыкант, посещая местный Дом пионеров, освоил азы нотной грамоты и научился играть на фортепиано.

В родные края они возвратились в 1935-м. В колхозе был создан хор, и талантливого десятилетнего мальчика взяли туда аккомпаниатором. Вот откуда у Михаила Григорьевича такой фантастически огромный трудовой стаж — 80 лет!

«Тогда меня вообще стали приглашать в качестве музыканта на различные местные события. Играл на танцах, на свадьбах. Сопровождал в качестве тапера сеансы немого кино. Таким образом, в пору летних каникул я уже серьезно подрабатывал. Люди пользовались тем, что я мог просто «с голоса» мгновенно подхватить и сыграть незнакомую для себя мелодию, и активно расширяли мой репертуар. А потом «заказывали» всё, что хотели услышать, под что намеревались поплясать, выкрикивая: «Миша! Давай “Мурку”!» или просили нечто подобное сыграть. Я при своем воспитании не знал тогда блатных песен, не представлял, какую похабщину несут их тексты, — я воспроизводил только мелодии, напетые мне завсегдатаями танцев. А в той же «Мурке», например, мелодия-то, в общем, довольно привлекательна.

При возможности я открывал для себя всё новые инструменты. Самостоятельно освоил мандолину, балалайку, присматривался к медным духовым и скрипке... Со временем вступил в комсомол. Бабушка была против, но в этом

случае я ее ослушался, потому что знал: после школы дорога к дальнейшему образованию открыта только для комсомольцев, а я очень хотел учиться. Успешно пройдя вступительные экзамены в Воронежское музыкальное училище, вынужден был забрать документы: разобравшись, из какого я района, мне рекомендовали поступать в аналогичное заведение «своей» области — Курской. А время приемных экзаменов уже прошло. Но меня все-таки прослушали, зачислили на 1-й курс. Правда, не обошлось без курьезов. Я самостоятельно освоил баян, хотел продолжить занятия в этом же направлении, но в училище такой возможности не было, и мне предложили домру (хотя в то время я уже играл на мандолине). Мало того, совершенно неожиданно для меня экзаменаторы попросили что-нибудь спеть. От растерянности я выдал... «Интернационал»! Теперь уже экзаменаторы смутились. А ведь коммунистический гимн просто сидел в моей памяти. Во время летней работы на танцплощадке и киносеансах приходилось ночевать на открытом воздухе и просыпаться по утрам с первыми звуками уличного радиорепродуктора, а вещание начиналось именно с исполнения «Интернационала» — Гимн Советского Союза к тому времени еще не был написан.

В Курском училище я посещал четыре оркестра: баянный, струнно-смычковый, народных инструментов, привлекал своим составом и мощью симфонический коллектив. Его руководитель, заметив мой большой интерес, пригласил приходить на занятия, и хотя я ничего не умел, поручил играть на ударных. И вот — торжественный концерт. Сама директор училища исполняла арию Лизы из «Пиковой дамы». Я должен был ударить 12 раз в тарелки, имитируя полуночный бой курантов. Договорились, что дирижер покажет мне отдельным жестом, когда нужно вступить. Но я настолько переволновался, что, увидев взмах руки, обращенный к тромбонам, принял его за сигнал для себя, вознес тарелки над головой и начал отбивать «удары часов». Но успел стукнуть только дважды, потому что почувствовал удар в бок и понял свою ошибку. Выпустил тарелки из рук, они звонко грохнулись об пол, я убежал со сцены, выскочил на улицу и понесся к реке. Там, сбросив и постирав одежду, сушил ее до позднего вечера, угнетенный черными мыслями: выгонят со скандалом! Но никто даже не пожурил меня, директриса и вовсе посочувствовала да успокоила: мол, у опытных музыкантов и не такое случается».

Долгая дорога к миру

Священный для нашей истории, незабываемый, торжественный майский день... В ежегодных праздничных трансляциях с минской площади Победы есть особенный, трогательный момент, когда камера телеоператора неспешно всматривается в словно помолодевшие лица наших ветеранов. На несколько секунд в кадре появляется благородный облик необычайно примечательного седобородого человека со спокойным и мудрым взглядом. На парадном пиджаке — ратные и трудовые ордена, десятки медалей, почетные знаки... В их числе и молчаливо-красноречивые свидетели фронтового подвига: три ордена Отечественной войны, медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»... Михаил Григорьевич! Радостно увидеть его на экране, мысленно поприветствовать, пожелать здоровья и многая, многая, многая лета...

Год назад, получив юбилейную медаль в честь 70-летия освобождения Беларуси от гитлеровского нашествия, он с улыбкой вздохнул: дескать, не чаял, что дождется такого юбилея, и не без труда удалось найти для новой награды место на пиджаке. А нынче — еще одна великая дата и еще одна юбилейная награда...

Тяжелыми, а порой и трагичными оказывались заключительные, победоносные километры на подступах к Берлину. Но для нашего героя была по-своему трудна и долгая дорога на фронт, куда он так стремился.

В июне 41-го Михаил Солопов вместе с однокашниками сдавал экзамены за первый курс училища. И вдруг это страшное слово, в правдивость которого не верилось: война. Студенты услышали его еще накануне, до появления официальных сообщений. Человек со странным выражением глаз, с какой-то нарочито правильной речью, одетый в новенькую армейскую форму, внезапно появившийся в столовой, рассказывал про неизбежность страшной трагедии, про германскую наступательную мощь и слабость Красной Армии. Странный оратор с пугающими речами о войне исчез, что называется, бесследно. Поговаривали: это был переодетый шпион и провокатор, подосланный к студентам, дабы посеять панику среди молодежи.

«Ужас охватил нас лишь в тот момент, когда, работая на совхозном поле, мы услышали весть, что Курск бомбили. С трудностями — пришлось даже на ходу прыгать с поезда — я добрался до родного села. А вскоре фронт оказался уже в 30 километрах от нас. Отца мобилизовали в армию, и он отправился в прифронтовую часть. Я попытался добровольцем попасть на фронт, но в военкомате принимали ребят 1922 года рождения, а я на пару лет моложе. С приближением зимы семью постигла очередная напасть: все заболели сыпным тифом. Особенно тяжелое состояние было у меня: сплошная сыпь, потеря сознания... Родственники даже подготовили все полагавшееся к моим похоронам. Но вопреки безнадежности я выкарабкался из болезни. А совсем неожиданной жертвой недуга стала любимая моя мамочка. Она умерла, не дожив до 39 лет... Вызвали отца из армии. Уладив семейные дела, он помог мне устроиться в соседнее с ним воинское подразделение: музыканты были нужны и на войне. Я мог заниматься музыкой да и неплохо питаться, получать хлеб, который в те времена видел все реже.

Война продолжалась, вместе с нею летело время. Но на передовую меня почему-то не спешили отправлять. Вот уже и моих одногодков принимали на фронт... Неопределенность моей судьбы становилась невыносимой. Правда, я успел закончить эвакуированное в Курганскую область Тамбовское Краснознаменное кавалерийское училище имени 1-й Конной Армии. А поскольку до войны поработал в деревне на тракторе, смог освоить «родственную» технику и пройти курсы танкистов. Но вместо действующей армии — очередное передвижение в тылу: Алма-Ата, куда меня направили готовить кавалерийские кадры для фронта. Я переживал и думал, что у меня нашли какую-то опасную болезнь, из-за которой безо всяких объяснений держат в тылу. Оказалось же все проще. При росте 175 см я весил 44—45 кг. Причиной моей задержки в тылу была дистрофия. Но мир не без добрых и понимающих людей. Они видели мое искреннее, но тщетное стремление попасть на фронт, почувствовали мои душевные метания и повлияли на сложившуюся ситуацию. Было отдано распоряжение перевести меня на санаторный режим с усиленным питанием. И вскоре я уже был готов к отправке на передовую.

Почти месяц ехал из Алма-Аты в Москву, оттуда попал на 1-й Украинский фронт, затем на 1-й Белорусский. И это уже отдельная страница моей жизни. Служба в танковой разведке. Освоение непривычных после советского Т-34 американских машин, прозванных нашими острословами «братские могилы»: изготовленные из отличной прочной стали, высокие, внушительные, они были рассчитаны на экипаж не из трех, как для наших танков, а из пяти человек... Мы участвовали в различных операциях. Готовили 26 апреля 45-го наступление на Берлин. Попали в драматические обстоятельства несостоявшейся встречи союзников... Вспоминая события тех горячих дней, я определил 13 ситуаций, в которых должен был бы погибнуть, но выжил и не выходил из боя.

Ранение, случившееся 2 мая 45-го, можно сказать, на пороге Победы, само по себе не угрожало моей жизни, я и не сразу понял, отчего вдруг «захлюпало» в сапоге. Но в рану попала опасная инфекция. Я лежал в госпитале, был уже без сознания. Температура повысилась до предела, начиналась гангрена...


Концерт для однополчан.

Как мне потом рассказывали товарищи, они ждали, что все-таки наступит перелом, подбадривали друг друга: «Он жилистый. Выживет». Я помню, что начал словно просыпаться от каких-то криков. Медленно пришел в себя. Понял, что шумят за стенами госпиталя, и различил одно слово: «Победа!» Меня переложили на носилки, переместили к дверям. Я увидел множество кумачовых полотнищ, ликование людей... И вдруг ощутил, как же я слаб и голоден. А давать еду мне категорически запретили: в качестве питания были поначалу только инъекции глюкозы и питье, позже стали кормить из чайной ложечки крошечными порциями яичного белка... Я пошел на поправку и через некоторое время вернулся в строй. Потом было ответственное задание по охране участников Потсдамской конференции и долгая дорога домой.

Наш поезд пересек государственную границу и на советской территории внезапно остановился. Услышав: «Разведка, иди, глянь, что там!», я вышел наружу. Увидел невероятную картину. Бойцы высыпали из вагонов. Многие лежали на земле, целовали землю, целовали траву; многие, став на колени, повторяли как заклинание: «Господи, я жив! Я выжил! Я вернулся! Господи! Я буду жить!» Многие подбегали к деревьям, гладили стволы, а увидев березки, обнимали, как невест. Примерно через час мы смогли ехать дальше».

Город великих возможностей

Война закончилась — воинская служба Михаила Солопова продолжалась. И продолжалась в Беларуси. Одним из первых мест дислокации танкистов стал военный городок Лапичи. Мастера искусств БССР организовали здесь выездной концерт в честь воинов-победителей. Выступали выдающиеся оперные солисты Рита Млодек, Исидор Болотин, пианист Михаил Бергер. Гостей просто поразила высокая культура слушателей. Опытные артисты недоумевали: почему-то, когда Бергер играл «Патетическую» сонату Бетховена, в паузах между частями произведения никто даже не пытался хлопать, словно концерт проходил в элитной, музыкально образованной аудитории, вслушивавшейся в живое дыхание фортепиано! И только дождавшись, пока отзвучит, растворяясь в воздухе, последняя нота, публика дала волю своим эмоциям, осыпав исполнителя щедрыми аплодисментами. А произошло так потому, что готовились к этому концерту не только его участники. Слушатели, подавляющему большинству которых предстояла первая встреча с классической культурой, получили от командования строгий инструктаж: вести себя сдержанно, всем смотреть вот на этого лейтенанта и реагировать на происходящее так же, как он. Лейтенантом, на которого следовало равняться, был, конечно же, наш герой — уважаемый фронтовой командир взвода танковой разведки, не менее уважаемый однополчанами музыкант, который даже в условиях войны находил вдохновенную минуту, растягивал меха трофейного

аккордеона и тешил души бойцов родными напевами... Он-то и «дирижировал» аплодисментами.

Вскоре Солопова направили в Брест. Там прослужил он до 1948 года и, демобилизовавшись, собрался на родину. Но, как рассказывает Михаил Григорьевич, начальник гарнизонного Дома офицеров попросил повременить с отъездом, предложил работу пианиста, пообещав жилье: *«А в Бресте у меня уже была невеста. Вот так почти 70 лет назад все и случилось».*

И стал для него Брест родным домом. Здесь Солопов, человек молодой и уже семейный, обрел новые возможности раскрыть свой многогранный талант, приобщаясь к самым разным сферам музыкальной деятельности, совершенствуясь одновременно в нескольких творческих профессиях. Здесь закончил музыкальное училище, совмещая собственное образование с педагогическим трудом. Здесь, с головой погрузившись в работу и постоянно совершенствуя свои знания, навыки, достижения, он задумался о продолжении образования, но без отрыва от весьма интенсивной практики.

Как выяснилось, в Белорусской консерватории заочную форму обучения к тому времени еще не открыли. Решил поступать в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Став студентом-заочником московской «Гнесинки», Солопов и здесь попытался объять необъятное. И все получалось! На «отлично» сдал 41 предмет, один — с оценкой «хорошо». Кроме давней мечты — баяна, его увлекало хоровое творчество, притягивала теория музыки... Говоря проще, хватался за все. Переутомившись, подорвал здоровье. Навестивший его в московской больнице декан института недвусмысленно изрек: «Или на этом свете Вы получаете диплом по одной специальности, или на том свете — по всем трем»». Высшее образование он получил все-таки по двум специальностям: как баянист и хоровой дирижер, с отличием окончив институт в 1955 году.

И чего только не успел «натворить» Михаил Григорьевич в Бресте, где руководил и музыкальным училищем, и детской музыкальной школой! Создавал различные по составу любительские, учебные, детские исполнительские коллективы, в числе которых симфонический, городской камерный, баянный, народный, духовой оркестры, хоровая капелла учителей. В музыкальном училище были открыты новые отделения, благодаря чему появилась возможность вести концертную деятельность, просвещать публику, радовать ценителей искусства разножанровым репертуаром, даже ставить отрывки из оперной классики. (В те годы Михаил Григорьевич много и успешно концертировал сам, а в составе творческих бригад гастролировал за рубежом.)

Солопов активно претворял в жизнь собственные методы обучения, в основе которых — развитие навыков сольной игры в сочетании с ансамблевым музицированием и сольфеджированием, с готовностью аккомпанировать, с выработкой привычки слушать и слышать партнера, с постепенным приобщением к импровизации, к сочинению собственных пьес. Для студентов училища был организован экспериментальный сектор практики, где они сами создавали хоры, оркестры, учились ими руководить. Появилась даже необычная музыкальная школа: в ее стандартной



Михаил Солопов — дирижер городского концерта в Бресте.

административной структуре все должности занимали студенты, направляемые опытным педагогом.

Неутомимый музыкальный лидер Бреста возглавлял здешнее отделение общества «Знание» и Университет музыкальной культуры, где проводил просветительские «Беседы у рояля». Занялся музыкальной публицисткой. Он руководил клубом самодеятельных композиторов и часто общался с белорусскими корифеями профессиональной музыки. Составлял репертуарные сборники, сам работал над инструментальными переложениями, аранжировками, писал собственные произведения. А судьба подарила ему незабываемые дни общения с великим Шостаковичем. Дмитрий Дмитриевич после перенесенного инфаркта приехал отдохнуть в целительной атмосфере Беловежской пущи. Областное начальство поручило Солопову опекать именитого гостя, сопровождаемого бдительной и хлопотливой женой, которую композитор трогательно и неизменно называл Иришкой. Они гуляли по окрестностям, ходили к вольерам покормить зубров и просто беседовали...

В 1967 году Михаил Григорьевич покинул город над Бугом и уехал в глубинку — в Каменецкий район, что на Брестчине. В прославленном здешнем колхозе «Советская Белоруссия», где председателем был дважды Герой Социалистического Труда Владимир Бедуля, маэстро создал и возглавил образцовую музыкальную школу с обучением более чем по десяти специальностям, открыл университет культуры для сельских жителей. Из учеников школы организовал духовой оркестр и ряд народно-инструментальных ансамблей. С одним из таких коллективов даже гастролировал по Брестской области. В начале 1970-х, уже работая в Белорусской государственной консерватории, Солопов некоторое время продолжал осуществлять художественное руководство уникальным колхозным Дворцом культуры. По решению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой замечательный белорусский педагог был приглашен в Москву для обмена опытом с коллегами...

Разумеется, поступило предложение работать в Минске. И здесь наш герой нашел новые возможности для приложения творческих сил, не переставая удивлять многоликим своим талантом. Частица этого таланта — в успешной деятельности Белорусской академии музыки, где Михаил Григорьевич работает уже более четырех десятков лет.

Воспитывать «по Солопову»

Михаил Григорьевич рассуждает, советует, предостерегает, убеждает...

«Воспитывать молодежь — не значит командовать ею. Суть воспитания заключается в том, чтобы создавать условия для разностороннего развития личности. Ни в коем случае нельзя принуждать ребенка к творчеству! Не заставлять нужно, а увлекать и поощрять. Занятия той же музыкой через принуждение отвращают от искусства и творчества».

Особенно вредны, по мнению маэстро, попытки поучать, «как надо» мыслить. Надо просто приучать мыслить, прививать вкус к самому процессу мышления! Тогда, наверное, родится тяга к познанию. А от стремления узнавать, чтобы знать, — стремление учиться. Сам же, по его признанию, учится всю жизнь.

«Учусь всю жизнь, ежедневно. Стараюсь не пропускать ничего из того, что диктует современность. И работать люблю. Но работой административной никогда не увлекался, старался ее избегать. Если уж поручали такое дело, то относился к обязанностям руководителя неравнодушно и ответственно, старался свои поступки соизмерять с теми нравственными основами, что заложены во мне через бабушкино воспитание, через могучий дух ее веры. Я часто слышал: «Господь Иисус Христос ничего не требовал, он усердствовал для людей». С малых лет я привык просыпаться и засыпать с молитвой. Пони-

мал смысл Великого поста. И все это ни в экстремальных обстоятельствах войны, ни в годы советской атеистической реальности не исчезло, только было спрятано в сокровенных уголках души. Правда, люди не могли не замечать моих «чудачеств». Я никогда не курил, не сквернословил и не пил, даже свои «фронтовые сто грамм» отдавал товарищам. В исключительных случаях, за большим торжественным столом, мог себе позволить рюмочку алкоголя — и все. Когда захмелевшая компания провоцировала меня на пьянство или матерную ругань и ничего из этого не получалось, начинались какие-то намеки: мол, не пьют и не курят люди подозрительные, в сущности нехорошие, таких опасаться надо. Но я терпел и не обижался. Потом узнал, что за моей спиной даже заключались пари: выиграл бы тот, кто брался меня напоить или вызвать на «крепкие» выражения. Победителей в таких спорах не было.

Признаюсь, когда я на протяжении семи лет заведовал в нашей академии кафедрой баяна-аккордеона, это был не лучший для меня, мучительный период. Я никогда не мог разговаривать с человеком жестко, относиться к коллегам, как к подчиненным, пренебрежительно критиковать их работу, унижать самого отстающего или чересчур зазнавшегося студента. Прежде чем сделать некий шаг, задумывался о последствиях: наши действия должны направляться на добро. И, кажется, никому никогда дорогу не перешел. За долгую наставническую жизнь у меня около двухсот индивидуальных учеников, среди них есть музыканты с почетными званиями, лауреаты самых разных конкурсов. Однако для меня самое важное — добросовестная работа, а не учет своих заслуг (хотя в последнее время педагоги начали «меряться списками» подготовленных лауреатов). Когда к нам поступали новые студенты (7—8 человек), не стремился взять в свой класс наиболее перспективных, ждал, пока другие педагоги «разберут» первокурсников, определятся с нагрузкой, а ко мне попадал только один ученик из очередного набора. И, случалось, не самый лучший. Но я руководствовался народной мудростью: «У хорошей матери немощное дитя ближе к сердцу».

Уже ведь доказано, что каждый нормальный ребенок рождается в той или иной степени способным к занятиям музыкой. (Дитя может быть бездарью из-за врожденной патологии, но тогда проблема — не педагогическая, а медицинская.) Человек от природы способный, а «дубом» его делают другие люди: неблагополучное окружение, неумелое воспитание, опять же — занятия музыкой по принуждению. Никто, кроме Бога, не мог бы превратить человека со способностями среднего уровня в высокоодаренного музыканта. Однако мастер-наставник может и обязан научить каждого, кто уже связал себя с музыкой, — научить уверенному существованию в профессии, поощрить к творчеству. А с так называемыми слабейшими, знаю по собственному опыту, надо просто работать больше, чем с особо одаренными. Результат, как правило, заметен. Вот если горе-ученик демонстрирует безразличие к занятиям и сам не хочет совершенствоваться, я предупреждаю, что должен буду от него отказаться. Это действует: студент, почувствовав собственную ответственность за будущее, стремится развивать свои навыки. А с яркими талантами — более сложно. Они, бывает, своевольничают, педагогу наперекор настаивают на собственной трактовке музыки, нередко поспешны и категоричны в собственных выводах. Я их выслушиваю и... хвалю! На недоуменное: «За что же Вы меня хвалите, когда я Вас принципиально не слушаю, делаю по-своему, спорю?» — отвечаю: «Хвалю за то, что в Вас проявляется индивидуальность, в Ваших взглядах есть личное, свое, и Вы это защищаете. А время идет, люди творческие беспрерывно учатся, углубляют знания и опыт, преодолевают какие-то амбиции. И кто знает: возможно, когда-то Вы согласитесь с трактовкой, о которой говорил Вам я, или найдете некий третий вариант».

Человечество еще не изобрело самый совершенный музыкальный инструмент, который своими достоинствами был бы выше совершенства человеческого голоса. Певческое искусство для меня — наивысший эталон! Кстати,

его я часто рекомендовал, и небезуспешно, своим студентам. Если у молодого музыканта во время игры что-то не получалось с фразировкой произведения, я советовал: «Отметьте все проблемные для Вас фрагменты и попробуйте их пропеть». Это помогало. Потому что все в сфере музыкального звука идет от вокала, от связанного с ним дыхания. Какой инструмент ни возьми, вы ведь дышите, когда играете на нем. Ну так дышите вместе с музыкой. Дышите абсолютно свободно, вольно, и когда ваша непринужденная фразировка будет совпадать с музыкой, все получится!»

Вот такой практический штрих... А еще Михаил Григорьевич любит повторять, что в музыкальном искусстве действует закон четырех «Т». Расшифровывается очень просто: Талант, Творчество, Труд, Терпение.

«Так глубоко, как воспитывает человека музыка, ничто иное не способно воздействовать на него — воздействовать эмоционально, душевно, духовно и даже интеллектуально. Время, говорят, сменилось: столетие новое, другое, не для вечных ценностей, не для высоких образцов классики. Не надо сваливать все на время! На многие столетия в человеке заложены два мира: эмоциональный, интеллектуальный. Соответственно работают и данные нам от природы два полушария мозга. Если есть и развивается только что-то одно, такой человек неполноценен. Музыка и, подчеркну, коллективное пение стимулируют развитие личности, гармонизируя в нас связи обоих миров, двух основ человека: эмоциональной и интеллектуальной. Таким образом и происходит процесс воспитания — во всеобъемлющем смысле этого слова. А заинтересовать музыкой и хоровым пением, я убежден, можно каждого ребенка. Главное, чтобы музыкальным воспитанием занимался мастер, способный правильно определить момент, подходящий для начала обучения. Почувствовав неравнодушие мастера, многие потянутся к миру звуков, полюбят хор. Ведь и святая любовь к музыке необъяснимым образом передается от человека к человеку».

Только раз бывает 90...

Михаил Григорьевич подтрунивает над собой: *«Раньше была старость, а перешагнул черту «90» — и наступило (так говорят) долголетие. В этом сразу чувствуется какой-то взлет!»* Но на мой взгляд, слово «старость» вообще не вписывается во вневременной контекст сущностной, творческой биографии талантливого человека.

В канун своего юбилея он завершил работу над монографическим иллюстрированным сборником «Михаил Солопов. Жизнь в музыке» (книга вышла в одном из частных минских издательств). Примерно пятая часть весомого фолианта слагается из научных и популярных очерков, публицистических и документальных материалов, профессиональных отзывов, служебных справок, рассказывающих об этом незаурядном человеке, характеризующих его многогранную деятельность. А в разделе «Ни дня без строчки» собрано написанное самим героем книги за минувшие полвека. Пишет он — будто размышляет: глубоко, обстоятельно, образно и увлеченно. О «цимбальном Орфее» Иосифе Жиновиче (чью фантастическую игру впервые услышал в 1945 году, на том незабываемом концерте наших мастеров искусства, что состоялся в военном городке близ деревни Лапичи). О знаменитом оркестре, носящем это легендарное имя, и достойнейшем преемнике Жиновича — маэстро Михаиле Козинце. О Национальном академическом народном хоре имени Цитовича. О сотворчестве ярчайшего российского скрипача Леонида Когана с Государственным симфоническим оркестром Беларуси, гастролях «гроссмейстера баяна» Вячеслава Семенова и его выдающегося земляка Фридриха Липса. О наших дирижерах, композиторах, молодых дебютантах, новых исполнительских коллективах, ансамблях музыкантов-любителей. О живущем в Беларуси дагестанском скульпторе Хизри Асадулаеве, талант которого раскрылся также в живописи, поэзии, музы-

ке. О замечательном русском песеннике Василии Соловьеве-Седом, о норвежском классике Эдварде Григе, об истории французской «Марсельезы». О своих коллегах, прошедших через великую войну — к Великой Победе...

Юбиляра чествовали в Белорусской государственной академии музыки. А спустя некоторое время в столичной филармонии состоялось «Музыкальное приношение учителю» — торжественное, волнующее, аншлаговое и резонансное событие. Героем вечера, организованного продюсерским центром «Классика» Белорусского союза музыкальных деятелей с участием именитой ведущей, музыковеда Инны Зубрич, стал маэстро Солопов. Концертную программу подготовил Национальный академический народный оркестр под управлением Михаила Козинца, с которым играли виртуозы-солисты.



Михаил Солопов в Белорусском союзе музыкальных деятелей. 2014 год.

Со своими личными авторскими приношениями выходили на сцену и два широко известных композитора, чей путь в музыку предопределил и благословил Михаил Солопов.

Именно он, директор Брестской музыкальной школы, был тем проницательным экспертом, который обнаружил незаурядные способности Эдуарда Ханка (его, совсем еще малыша, привели на прослушивание) и порекомендовал начинать занятия музыкой. Именно Михаил Григорьевич направил к творчеству и звонкоголосого брестского мальчишку Игоря Корнелюка.

Давно уже петербуржец, Игорь Корнелюк, приехавший в Минск только на один вечер — в особой обстановке поздравить учителя, рассказал о том, что произошло более сорока лет назад: *«Мне тогда было шесть. Помню день, когда мы с родителями пришли к соседу на свадьбу. В гостях меня попросили спеть, и я охотно согласился. В это же время, когда я пел, поздравить виновника торжества зашел Михаил Григорьевич. И потом он сам навестил моих родителей, серьезно с ними побеседовал и настоял на том, чтобы меня учили музыке. Родители послушались и отвели меня в музыкальную школу. Потом было теоретическое отделение Брестского музучилища, по окончании которого я по совету педагога поехал в тогдашний Ленинград, поступил в консерваторию».*

Композитор, несомненно, признателен Михаилу Григорьевичу за то, что мудрый педагог изначально задал музыкальному развитию голосистого шустрого мальчугана серьезное направление. Полученное в консерватории академическое образование, возможно, чересчур солидное для эстрадного исполнителя и автора шлягеров «Так и надо» («Дожди, дожди»), «Предъявите билет», вдруг «выстрелило» в творчестве Корнелюка. Он, попробовав писать музыку для кино, стал весьма успешным и востребованным в этом жанре: «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита»... Кстати, «Полет Маргариты» и «Вальс» из этого сериала публика с удовольствием послушала на юбилейном вечере Михаила Солопова в исполнении академического народного оркестра.

В приношение юбиляру прославленный оркестр включил и одну из его аранжировок, со вкусом расцвеченную колоритными тембрами народного инструментария. Но настоящей сенсацией стал выход Михаила Григорьевича из ложи...



Фрагмент афиши юбилейного вечера.

на дирижерский подиум! «Изпод руки» маэстро зазвучал ностальгический мотив его юности — танго «Черные глаза». И абсолютной неожиданностью даже для организаторов концерта был тот удивительный порыв, с которым 90-летний Солопов выразил свою благодарность любимому оркестру: подойдя к музыкантам, он с поклоном опустился перед ними на колено. И так же легко поднявшись, с улыбкой повернулся к залу, гудевшему от восторга!

В обстановке искреннего торжества председатель БСМД, наш выдающийся маэстро Михась Дриневский вручил Михаилу Григорьевичу переданную из Москвы награду Международного союза музыкальных деятелей, учрежденного незабвенной Ириной Архиповой (кстати, напомню, — большого друга Беларуси, уроженки Гомеля, куда на протяжении долгих лет регулярно приезжала навестить родителей). Эта медаль теперь среди самых дорогих знаков признания «мирных» заслуг музыканта-наставника: несколько лет назад он был удостоен ордена Франциска Скорины, а также высшей награды Православной церкви — ордена Святителя Кирилла Туровского I степени.

Многие запомнят этот символический сбор выпускников класса профессора Солопова — наследников лучших традиций отечественного искусства. Его поздравляли музыканты нескольких поколений. И рядом со своим 90-летним наставником даже люди почтенного возраста, наверное, почувствовали себя трепетными учениками великой школы жизни и профессионального творчества, уроки в которой никогда не кончаются, а экзамены с годами становятся всё более сложными и волнующими.

* * *

«Когда яснее видишь вечер своей жизни, все больше убеждаешься в том, что ничто не уходит в никуда. Все живет. Пусть по-другому, пусть иначе, но живет. Потому что, по словам Бориса Пастернака:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье».

Строки, написанные три года назад, вошли в книгу Михаила Григорьевича, которую он передал мне, заполнив белоснежное пространство титульного листа множеством трогательных и прекрасных слов, добрых пожеланий, перемежающихся с поэтическими цитатами. Такой необычный экспромт в жанре дарственного монолога... Талант — неисчерпаем!

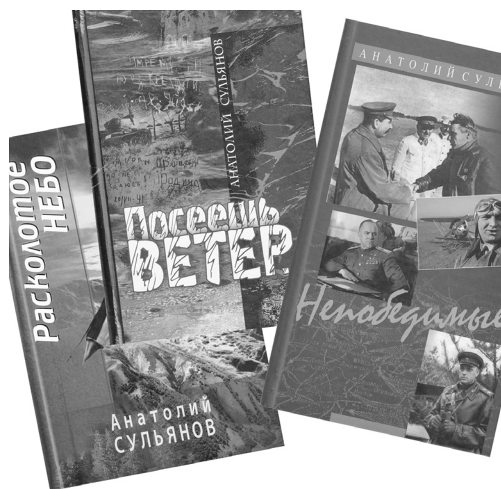
Светлана БЕРЕСТЕНЬ

Фото автора, а также из архива М. СОЛОПОВА.

С точки зрения рецензента

На всех — одна судьба

Дорожные впечатления, знакомства, разговоры иногда помогают найти новую тему, настроиться на творческую работу. Моя очередная попутчица в купе пассажирского поезда не без гордости рассказывала о зяте, увлечением которого стала... патриотическая работа. Сорокалетний майор полиции Санкт-Петербурга не только превратил рабочий кабинет в военный музей, но также свободное от службы время проводит с соратниками, членами общественной организации, занимающейся реконструкцией масштабных военных действий, грандиозных сражений.



Нет, это не игры в войну взрослых людей, это особый способ сохранить историческую память, отдать долг защитникам Отечества, воспитать патриотов, не позволить исказить историю. Задача, которую следует решать всем, чтобы не потерять новое поколение. Решать надо, используя самые различные средства, в том числе слово — мудрое слово писателя.

Произведение о войне, о человеческом подвиге — это тоже реконструкция, воссоздание тех далеких дней.

«Посеешь ветер...» — название книги о Великой Отечественной войне Анатолия Сульянова, писателя, заслуженного деятеля культуры, генерал-майора авиации, военного летчика 1-го класса, освоившего 14 типов самолетов и проведшего в небе более двух тысяч часов, дважды награжденного орденом Красной Звезды, медалями, Почетной грамотой Президиума ВС БССР (1986). Впервые эта книга пришла к читателю несколько десятков лет назад, написана она была по заказу Министерства образования. Переиздана уже в третий раз («Мастацкая літаратура», 2014).

В чем же причина «живучести» ее, востребованности и в годы расцвета так называемого «застоя» в истории СССР, и во времена его распада, и теперь — в суверенной Республике Беларусь?

Не так давно довелось мне услышать неподдельную тревогу в размышлениях опять же дорожного попутчика — мол, и в белорусских учебниках истории есть попытка разобщить народы, переписать историю войны... Не стану хвалить учебники: еще не остыло мое негодование на те мудреные тексты, в которых мне еженедельно приходилось помогать разбираться детям, объяснять доступным языком, иногда даже поправлять автора, уличив его в предвзятости, сомнительной, на мой взгляд, трактовке тех или иных исторических событий, неточно или искаженно расставленных акцентах.

Мои школьники выросли, а учебники, возможно, уже иные. Но попытки переписать историю Великой Отечественной я не приемлю категорически! В Беларуси, потерявшей в годы войны каждого четвертого (а по последним источникам — третьего) жителя (в Городокском районе Витебской области — каждого второго!), такого нет и быть не может. Книга Анатолия Сульянова «Посеешь ветер...» — яркое тому доказательство.

В аннотации к ней сказано, что автор использовал богатый документальный и фактический материал, показал «панораму Великой Отечественной войны, начиная с ее первого дня до полного освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Ценно то, что книга адресована юному читателю, которому мало что известно о страшных испытаниях, выпавших на долю нашего многострадального народа».

Признаюсь, читала этот своеобразный «учебник» не просто с удовольствием, а с восхищением. Вот так и надо писать для детей — увлекательно, живо. Хотя в аннотации сказано лишь о Беларуси, на самом деле автор показывает всю панораму войны, начиная с 1939-40-х годов, когда армия Гитлера захватила большинство европейских стран. Затем писатель переходит к героической защите Брестской крепости, достаточно подробно освещает битвы за Смоленск, Москву, Сталинград, не обходит вниманием блокадный Ленинград, героическую Одессу, Севастополь. Особо останавливается на белорусском сопротивлении, а заканчивает освобождением Европы и победой в Берлине.

Повествование построено в виде беседы с детьми, которые задают вопросы автору, отвечают на его вопросы, — тем самым писателю удается создать живую канву произведения, акцентировать внимание читателя на важных моментах.

Сам автор книги предстает перед читателем в нескольких ипостасях. Это историк-документалист, оперирующий фактами, цифрами, датами (Анатолий Константинович Сульянов немало поработал с архивными документами). Это военный летчик, хорошо понимающий, что такое воздушный таран, который совершил Петр Рябцев над Брестом в первый же день войны — 22 июня 1941 года. Что такое подвиг капитана Николая Гастелло, направившего горящий самолет на вражескую колонну, или Саши Мамкина, который, заживо сгорая в кабине самолета, все-таки сумел его посадить и тем самым спас детей, которых вез из блокадной партизанской зоны. Описывая подвиги героев Великой Отечественной войны, автор предстает перед нами уже как талантливый писатель. В то же время мы видим его гостем в школьном классе, где ученики с доверием внимают очевидцу, ведь Анатолий Сульянов знает войну не только по архивам, он видел ее собственными глазами.

«*Перед вами — один из десятков тысяч четырнадцатилетних подростков, которые осенью сорок первого года копали противотанковые рвы, окопы, траншеи, ремонтировали дороги. Я со своими одноклассниками работал вместе со взрослыми по четырнадцать часов подряд, без отдыха. А когда начались морозы и снегопады, мы охотно шли расчищать снег на взлетной полосе соседнего аэродрома. Ох и намерзлись мы в ту тяжелую осень! А гитлеровские летчики на бреющем полете били из пулеметов по нам, когда мы шли расчищать аэродром. Мы падали в канавы, прятались за деревья. Сколько помню войну — столько хотелось есть. Бывало так, что в доме не оставалось ни крошки хлеба*».

Военный голод, страдания населения — отдельная тема. Тема, часто звучащая в воспоминаниях тех, кто в те годы все это прочувствовал на себе. Поэтому, немного отвлекшись от произведения А. Сульянова, коснусь книг еще двух авторов: кандидата технических наук, полковника, заместителя начальника летно-испытательного центра по научной работе (до 1991 года), лауреата Государственной премии СССР Анатолия Семеновича Стефашина — «Найди себя» (Саратов, 2013), и Александра Скокова, члена Санкт-

Петербургского отделения Союза писателей России — «На всех была одна судьба» (Санкт-Петербург, 2013), за которую он был награжден Всероссийской литературной премией имени А. К. Толстого.

А. Стефашин рассказывает о мальчишке из глухой деревушки Дарьино Карачевского района Брянской области. *«Если говорить точнее, то моя деревня была не просто глухая, а глухонемая и слепая, так как в ней при мне (до 1953 года) не было ни электричества, ни радио, ни газет, ни магазина, ни школы, ни фельдшера и было натуральное хозяйство»*. Пережив войну и пройдя через многие испытания, мальчишка от курсанта Казанского военного авиационно-технического училища вырос до ученого и руководителя летно-испытательного центра в Ахтубинске. Чем не достойный пример для нынешних подростков?

Есть различие в причинах выбора авиации своей профессией у Анатолия Сульянова, выросшего в крестьянской семье, с детства увлекавшегося полетами, книгами о летчиках, а во время войны помогавшего на аэродроме, и Анатолия Стефашина, который ненавидел немецкие самолеты, сбрасывавшие бомбы на его родную землю, и переживал за свои, бомбившие фашистов. *«После этих взрывов наши избы ходят ходуном. Таких налетов бывает 2—3 за летнюю ночь. После такого кино зрители долго не расходятся... радуются, что зенитки не сбили ни одного нашего самолета...»*. К радости подмешивался ужас от надрывного гула авиационных моторов, сброшенных бомб, зарева пожарищ. *«Я от страха прятался под кровать, считая это место безопасным»*. И совсем не думал тогда, не мечтал о романтическом небе.

Голод начался в деревне после освобождения. Отступая, немцы выжгли поля с уже почти созревшим хлебом, уничтожили хаты, плодовые же деревья были вырублены еще в начале войны — ими немцы маскировали танки. Вместо мужей и отцов в дома приходили похоронки. Надо было выживать, пахать и сеять. *«Пахать лопатой и сеять вручную, как и сто лет назад»*. Вот что автор пишет о том времени: *«Удивительное создание человек, питается одной крапивой, ходит с зелеными от крапивы зубами, с рахитичным большим животом, удивляется, почему это у него появилась резь в желудке, но он ежедневно ходит на работу, а если кто-то заиграл на гармошке, то идет петь и танцевать. Только танцует осторожно, потому что в большом животе раскачивается много воды с крапивой. Нет, таких людей истребить невозможно. Они не изучали ОБЖ, но сама жизнь учила их выживанию»*.

Без трудностей, боли, как физической, так и душевной, невозможна жизнь человеческая, без страданий не будут обретены сострадание, любовь, милосердие, без горестей нельзя познать счастье и ощущение полноты жизни. Но не всякий способен на преодоление. Иных подобные обстоятельства безжалостно ломают, приводят к предательству и даже смерти, прежде всего — духовной.

Книга Александра Скокова «На всех была одна судьба» рассказывает о блокадном Ленинграде. Она состоит из трех частей: «Третий студенческий взвод», «Прикрывали завод амбразуры и дзоты» и «Шли уроки под гул канонады». Еще в нее включено более тридцати повествований очевидцев — «И взрослые, и дети», и более сорока коротких рассказов детей — «Мой прадед погиб на войне». Уже по названиям разделов можно представить охват тематики книги. *«Ленинград не только отражал натиск врага, но и оставался могучим арсеналом — здесь выпускали танки, гвардейские реактивные минометы, стрелковое оружие, боеприпасы. Тысячи и тысячи ленинградских женщин, подростков, освоив «мужские» специальности, выполняли, перевыполняли задания вместе с кадровыми рабочими, а после смены отправлялись на дежурства по городу...»* — пишет в предисловии генерал-майор в отставке, председатель Совета ветеранов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга В. М. Кипрский. В осажденном городе продолжали работать школы,

детские сады, госпитали, театры... Измученные голодом и холодом люди продолжали жить и бороться.

Читая о блокадном Ленинграде, я невольно проводила параллели между этими событиями и теми, что описаны двумя другими авторами, и удивлялась точности названия «На всех была одна судьба». А ведь она действительно и была одна — и для партизан в белорусских лесах, и для голодающих в землянках жителей глухой брянской деревеньки, и для жителей северной столицы СССР.

Невольно вспомнилась моя бабушка, пережившая войну с двумя маленькими дочками и до конца дней своих державшая на чердаке дома запас: мешок соли и бочонок хлебных сухарей, высушенных на печке. Сухари периодически заменялись свежими, а старые шли на корм скотине. Бабушка знала, что такое голод, и помнила народную мудрость: «Запас беды не чинит!»

«*Никаких запасов у нас не было, мама уходила к линии фронта, в пригородные огороды, поля, собирала там промороженные капустные листья... Под Новый, 42-й год, взяв ломик, отправилась она к бывшим Бадаевским складам. Ей повезло, удалось найти оплавленный от пожара сахар. Дома растопила в воде эту глыбу с землей, процедила, сделала сироп. И давала по чайной ложке нам с сестрой в самое голодное время»* («Мы выжили чудом» — воспоминания Быстровой К. Н. из книги А. Скокова).

«Однажды с отцом мы нашли в стеклянной банке 9 зернышек гречневой крупы. Как раз по три зернышка — мне, ему и маме. Для нас это была драгоценная находка» («Девять зернышек гречки» — воспоминания В. И. Телиш).

Немного осталось в живых свидетелей той страшной войны, тем удивительнее видеть, что людям, пережившим страх, холод и голод, Господь даровал долгие годы. А как же значение сбалансированного питания? А как же пресловутые нервные стрессы? И какая такая тайна у этого загадочного народа-победителя?

А. Стефашин рассказывает: *«Средняя школа находилась в городе на расстоянии 10 км от деревни, по времени это 2 часа хорошей ходьбы туда и столько же назад... По возвращении домой из школы на полпути начинались спазмы желудка с обильным выделением слюны. Желудок просил пищи. Если хлеба не было, то нужно было пересидеть приступ. Потом я приспособился: по дороге домой в хлебном магазине за 20 коп. покупал кусочек хлеба (50 г) и съедал его. Тогда я до дома доходил спокойно».* Вот так перехитрил, пересилил, преодолел обстоятельства деревенский мальчишка. Окончил Казанское военное авиационно-техническое училище дальней авиации и Киевское высшее инженерно-авиационное военное училище ВВС, защитил диссертацию, стал заместителем начальника летно-испытательного центра в Ахтубинске. С Беларусью его связывают не только контакты во вопросам научных разработок в области вооружения, но прежде всего — могила отца Семена Стефашина, павшего в боях с фашистами осенью 1943 года при освобождении г. Городка Витебской области.

«*Бок о бок сражались русские, украинцы, казахи, белорусы, киргизы. Шесть суток личный состав отбивал под Волоколамском атаки противника. 150 танков врага было подбито и уничтожено. У разъезда Дубосеково совершили героический подвиг 28 воинов-панфиловцев. Четыре часа длился этот неравный бой горстки панфиловцев с бронированной армией гитлеровцев. 18 танков остались чадящими кострами на земле заснеженного подмосковья возле Дубосеково», —* рассказывает А. Сульянов о подвигах воинов, подпольщиков, партизан, стариков, женщин, подростков, также о представителях других народов, примкнувших к сопротивлению: чехов, словаков, поляков, сербов, французов, венгров, бельгийцев, австрийцев, немцев, румын... На страницах книги их имена. Гомельская подпольщица Мария Евдокимова, взорвавшая гитлеровцев, праздновавших мнимую победу над Москвой. Сержант Яков Павлов, удерживавший

с бойцами дом в Сталинграде в течение многих недель. Летчик Александр Горовец, в последнем бою уничтоживший 9 вражеских самолетов. Константин Заслонов, Минай Шмырев, Василий Корж, Петр Машеров, Елена Мазаник, Вера Хоружая, Ян Микула, Густав Лазар... Дети-подпольщики: Зина Портнова, Марат Казей, Коля Гойшик, Витя Ситница... Бесчисленны эти святые имена!

Прошли долгие для человеческой жизни годы после Победы — 70 лет! Мгновение для многовековой жизни цивилизации. Но, пользуясь иллюзорной давностью лет, иные лжеисторики пишут, строчат новые учебники, статьи, книжицы, пытаясь лишить героического ореола тех, кто мученически отдал свою жизнь за сегодняшний мир, за то, чтобы один деревенский мальчишка стал ученым, другой — летчиком, третий — писателем.

И вот уже пролилась где-то липкая грязь на панфиловцев, вроде бы не такая уж героиня была и Зоя Космодемьянская...

«Как вы думаете, что побуждало людей совершать подвиги? — спросил Анатолий Сульянов у своих маленьких друзей.

— Любовь к Родине! — ответил долго молчавший Леник.

— Желание защитить родную землю от врага, — рассудительно проговорила Лена.

— Молодцы. А вот если враг окажется у границ Беларуси, то как тогда будете действовать вы?

— Я буду танкистом! — Василь не раз говорил, что после окончания школы он поступит в военное училище.

— Я стану медицинской сестрой. — Лена мечтала быть учителем, но сегодня она подумала о том, чтобы помогать раненым».

Страница за страницей — ведет писатель по дорогам войны. А десятиклассник Василий Ковалев из книги А. Скокова «На всех была одна судьба» пишет в школьном сочинении: *«Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, и наверняка унесла бы больше, если бы не воинский талант советских офицеров, генералов...»*

Работая с архивными документами при подготовке рукописи, имея личные впечатления от встреч с командирами разного уровня, А. Сульянов проникся огромным уважением к этим незаурядным личностям, и в последующем из-под его пера вышли книги о них.

Случайная встреча в Подмосковье, в Серебряном Бору, на даче у генерал-лейтенанта Константина Федоровича Телегина, с сыном которого дружил тогда еще подполковник Сульянов, и беседа с Константином Константиновичем Рокоссовским в течение двенадцати часов, когда молодой писатель, печатавшийся в военных газетах и журналах, «терзал» своими вопросами удивительно терпеливого, потрясающе доброго, умного, мудрого генерала, легла в основу произведения «На рыбалке». Хочу заметить, что я умышленно употребила эпитет «случайная» к слову «встреча». Дело в том, что она могла и не состояться, не прояви тогда Анатолий Константинович решительности и настойчивости. В Москву он приехал сдавать экзамены — кандидатский минимум, чтобы поступить в аспирантуру. Время для него было крайне напряженное. Но когда позвонил младший Телегин и предложил отправиться с ним на рыбалку, в которой примет участие сам Рокоссовский, Сульянов оставил все дела, отдал половину из имевшихся денег за такси и ровно в 4 утра был в Серебряном Бору.

«Непобедимые» — так называется книга Анатолия Сульянова, которая вышла в издательстве «Мастацкая літаратура» в Минске в 2014 году. Это документальные рассказы о выдающихся личностях: Г. К. Жукове, К. К. Рокоссовском, В. П. Чкалове и многих других героях и военачальниках.

Но еще раньше, в 2004 году, в Минске увидела свет книга А. Сульянова «Маршал Жуков. Слава, забвение, бессмертие». Судьба Георгия Константиновича неудержимо звала писателя к письменному столу. «Рыбалка» требовала продолжения. Первое произведение о Рокоссовском «На рыбалке» вошло как составляющая часть в книгу

о Маршале Жукове. Битва за Сталинград, взаимодействие с генералами армий, сложные отношения со Сталиным — обо всем этом и многом другом рассказывает А. Сульянов.

От жаждущего взлететь в небо мальчишки, имевшего редкое благословение: знаменитый летчик, комбриг, Герой Советского Союза Анатолий Константинович Серов подарил пацану свою пилотку, — до отважного летчика-орденоносца... Что же это за бесстрашные люди — летчики?

Ответ на этот вопрос А. Сульянов попытался дать в книге «Расколотое небо», изданной в Минске («Мастацкая літаратура», 2012). Прототипом героя произведения Геннадия Васеева стал капитан Геннадий Николаевич Елисеев, который 28 ноября 1973 года, после двух неудачных попыток уничтожения с помощью ракет Р-3 иранского самолета-разведчика F-4 «Phantom II», осуществлявшего задание в рамках американско-иранской программы Project Dark Gene, таранил дерзкого нарушителя границы. В советской авиации это был третий случай тарана на сверхзвуковом реактивном самолете. Летчик погиб.

Зачем, почему он это сделал?! Ведь не война. Ведь дома жена и двое детей. Ответ на вопрос, измучивший не только командование, но и автора произведения, пожалуй, прост. Да потому же, почему в первый день войны, 22 июня 1941 года, сразу пятнадцать советских летчиков совершили подвиг — протаранили вражеские самолеты. Они были воспитаны патриотами...

Делясь воспоминаниями о своем участии в расследовании дела о гибели Геннадия Елисеева, Анатолий Константинович вдруг признался мне во время телефонного разговора: «Да эти иранцы с американцами тогда так обнаглели, нарушая нашу государственную границу, что если бы я был за штурвалом самолета, то тоже пошел бы на таран!» Сегодня писатель радеет о том, чтобы память о Герое Советского Союза была увековечена и в Беларуси, чтобы его имя было присвоено школе в г. Береза, где он когда-то служил.

А пока Анатолий Сульянов, офицер, военный летчик-орденоносец, как и другие писатели-«реконструкторы», рассказывает правду — о войне, о героях прошлых дней и сегодняшних, продолжая великое дело — служение Отечеству.

Наталья СОВЕТНАЯ



С точки зрения рецензента

Не все золото, что... серебро

Буквально несколько слов для зачина, в духе известного всем офисного документа под названием «Объяснительная». Итак, объяснительная от автора статьи. Хочу быть правильно понятой уже изначально, ибо меньше всего мои несколько хаотичные размышления, приведенные ниже, напоминают традиционную рецензию на очередную книжную новинку. Пожалуй, это и не критический отклик, когда автор, опять же, излагает свое отношение к прочитанному, опираясь уже на широкий литературный контекст. «Так что же это?» — спросит иной раздраженный читатель. Да бог его знает, что, отвечу я, ни капельки не покривив душой.

Предполагаю, что это такой своеобразный «крик души», выстраданный многолетними (длиной в целую жизнь) размышлениями по теме. И который так неожиданно вырвался наружу после прочтения книги Станислава Куняева.

Конечно, как всякий крик, сей опус, возможно, изобилует излишней эмоциональностью, чрезмерной горячностью и обилием субъективизма в оценках. Но лично я не вижу в том большой беды. Особенно, если соблюдены нормы корректности по отношению к персоналиям. В конце концов, спешу напомнить несогласным с моей точкой зрения, так удивительно удачно, целиком и полностью, совпавшей с точкой зрения Станислава Куняева, знаменитые слова Вольтера (или якобы Вольтера, как утверждают иные). Помните? Твое мнение мне глубоко враждебно, но я готов отдать свою жизнь за то, чтобы ты имел право его высказать.

Что ж, почти всю свою жизнь я терпеливо выслушивала мнения, враждебные моему личному отношению к предмету разговора. Так послушайте же atlast и мнение от противного. А еще лучше, глубокоуважаемый читатель, постарайтесь сами познакомиться с книгой, вызвавшей у меня столь непреодолимое желание высказаться публично.

От автора

Тебе я милой не была.
Ты мне постыл.
А пытка длилась,
И как преступница томилась
Любовь, исполненная зла...

Анна Ахматова

Недавно случайно услышала по российскому каналу «Культура» весьма интересное интервью талантливого московского актера и, судя по всему, не менее талантливого театрального педагога Игоря Ясуловича. Рассуждая о своих учениках, он вспомнил и собственный студенческий опыт, пришедшийся на первые послевоенные годы. В частности, процитировал слова, которые постоянно повторял ученикам уже его педагог, великий кинорежиссер Михаил Ромм, руководитель мастерской, в которой занимался Ясулович. Вот они: *«Этическое выше эстетического».*



Вот уж воистину золотые слова, которые не мешало бы знать и помнить всем, кто подвизается на ниве искусства. Да и в нашем разговоре эта мысль Ромма придется очень даже кстати. Тем более что и повод для разговора имеется: держу в руках небольшую книжицу, вышедшую в московском издательстве «Голос-Пресс» (2013 г.), и размышляю почти вслух.

Вот умная и поучительная книга, которой очень не хватало истинным ценителям русской поэзии, а если шире, то и русской культуры в целом — толковой и серьезной книги о непростых культурно-литературных перипетиях начала XX века. То есть книг по теме, конечно, уйма, тьма, лавина... вот только...

Вот только почти в каждой из них много ретуши и полуправды. Нет, не лжи, а именно полуправды, которая, впрочем, нередко бывает страшнее прямолинейной лжи. Это когда в угоду господствующим литературным вкусам и укоренившимся оценкам старательно обходят острые углы, стыдливо опускают мелкие подробности, которые, если честно, совсем не так уж и мелки, особенно если присмотреться к ним повнимательнее. Но, как известно, не всякое лыко позволительно вставлять в строку. Да и как можно-с? Ведь речь же идет о поэтах самого Серебряного века! — слышу я разгневанные голоса.

И что же делать? Как известно, с многоликой толпой страстных почитателей «серебра» не поспоришь. И уж точно их не переспоришь, и не только потому, что имя им — легион. Ну как, скажите на милость, начинать доказывать всем и вся, что давно уже назрел серьезный и обстоятельный разговор о поэтах Серебряного века, да и о самом веке, кстати, тоже? Наверное, лучше всего поступить так, как это сделал Станислав Куняев: написал честную и правдивую книгу под названием «Любовь, исполненная зла...».

Вдуматься только! Любовь и зло! Какая, казалось бы, противоестественная пара, не правда ли? И ведь не просто антитеза или вычурная поэтическая метафора, придуманная исключительно ради красного словца. О, нет! И еще раз нет! Сколько бы ни убеждали меня ревнители творческого наследия Анны Ахматовой, буду стоять на своем. Ведь в этом противопоставлении (правильно сделал Куняев, что вынес его в заглавие своей книги!), в нем-то и сконцентрирована вся суть, вся квинтэссенция, если хотите, эстетики Серебряного века, начисто отринувшего от себя любые нормы морали. Якобы за их ненадобностью.

Где уж тут вспоминать о Новом Завете или о святоотеческой литературе, которые полнятся рассуждениями о том, что Бог есть любовь, и следовательно, любовь и зло — вещи несовместные. Но ведь это всего лишь слова, по известному выражению Гамлета. *'Words, words, words...'* А в реальной жизни, оказывается, совместить можно все что угодно, было бы желание. Невольно вспоминаются строки Анны Ахматовой: *«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...»* Да уж! Чтобы прилюдно копаться в мусоре собственной души, стыд и в самом деле иногда приходится отодвигать в сторону, а то и вовсе упразднять за ненадобностью.

Так что можно отдать должное мужеству Станислава Куняева, покусившегося на святое — на сам миф

о Серебряном веке. Как же, как же... Серебряный век! — экзальтированно вздохнут барышни из числа начинающих поэтесс и прочие эстеты, закатывая глаза от восторга и начисто забывая о том, что не все то золото, что... серебро. А уж посягнуть на божественную квадригу небожителей той эпохи и примыкающих к ней десятилетий «Ахматова — Цветаева — Мандельштам — Пастернак»! Да как он посмел, в самом деле! Посмел! И правильно сделал.

Снял розовые очки с глаз читателей и дал объективную, честную оценку тому, что творилось на стыке веков минувших, да и потом, когда XX век стал стремительно разматывать клубок прожитых лет, в положенный срок размотал его до конца, передав эстафету веку XXI, который тоже уже «намотал» почти одну шестую от причитающихся ему ста лет.

Помнится, лет десять тому назад в разговоре со студентами о поэзии Серебряного века (разумеется, безудержные восторги, охи и ахи) меня поразила одна довольно неожиданная, на первый взгляд, деталь. Оказывается, мои учащиеся не видят одной примечательной вещи: того, что уже в самом названии эпохи заложено свидетельство ее регресса в сопоставлении с предыдущим историческим периодом. Ведь как ни верти, а век «серебра» — это все же шаг, а то и все два шага, назад в сопоставлении, скажем, с веком Золотым.

Да был ли он, этот Золотой век? — спросят иные. Конечно, был! Разве Александр Сергеевич Пушкин — это не Золотой век? Разве все его творчество — не образец высокой гармонии этики и эстетики? Разве в его произведениях вы найдете мотивы разрушения и саморазрушения, призывы к ниспровержению христианских ценностей и прочее, и прочее? Словом, всего того, чем полнятся творения представителей декаданса. Нет в пушкинской поэзии и ноток самолюбования, этакого нарциссизма, когда автор буквально упивается собственным совершенством, и собственными пороками, кстати, тоже.

Но нет же! Куда там! Помню, как махали руками мои юные собеседники, когда я, быть может, несколько неуклюже пыталась разъяснить им еще одну простую вещь. Что наш Серебряный век вторичен, что он, по сути, является почти полным заимствованием знаменитой французской Belle Époque. Плагиат, так сказать, или весьма далекая от совершенства копия. Разумеется, я говорю в данном случае не о времени как таковом, а о том культурном явлении, которое закавычено временными рамками «Серебряного века».

Belle Époque (или «Прекрасная эпоха», как зачастую именуется этот период в некоторых русскоязычных изданиях) охватывает довольно короткий временной интервал в истории Европы, от 1880 года до начала Первой мировой войны, то есть до 1914 года. Тридцать с небольшим лет, пришедшиеся на сравнительно спокойное, сытое, а главное — комфортное (что называется, научно-технический прогресс на марше!) существование, оставили свой след не только в европейской, но и во всей мировой культуре. Не станем перечислять имена тех, кто творил тогда славу, скажем, французскому искусству. Они общеизвестны. Как общеизвестны и парижские достопримечательности тех лет: Эйфелева башня, «Мулен-Руж», ресторан «Максим».

С годами (и это не случайно!) «Прекрасная эпоха» обросла огромным количеством мифов, окутавших ее романтическим флером несусветных фантазий. Помните знаменитый фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже»? Помните, как страстно убеждает начинающего американского писателя Гила Пендера восхитительная парижанка по имени Адриана, героиня этой изумительно красиво снятой истории, как уговаривает она его бросить все и вернуться в прошлое? Ибо, по ее твердому убеждению, Belle Époque — это самое лучшее, самое вдохновенное, самое прекрасное время в истории мировой культуры. Ах, как счастливо сложились бы их судьбы, живи они в те годы!

Вот так странно устроен человек. Он упорно продолжает цепляться за

мифы, искренне веря в то, что прошлое всегда притягательнее и романтичнее унылой действительности. Наверное, именно этим обстоятельством и можно объяснить неистовый фанатизм почитателей нашего Серебряного века. Только этим, и ничем более! *Onlythis, and nothing more,* процитирую я строку из стихотворения Эдгара По «Ворон».

Но вернемся к Станиславу Куняеву. Так каким же предстает Серебряный век в его интерпретации? Да таким, каким он и был на самом деле: бесстыжим и наглым, ни в чем не знающим удержу, нарочито эпатажным и откровенно поверхностным. Лично мне довелось услышать подобные оценки много-много лет тому назад от коренной петербужки, интеллигентки, близкого друга нашей семьи, Александры Константиновны Рукманис, о которой я рассказала в свое время на страницах эссе «Люди и вещи». Юной гимназисткой Александра Константиновна достаточно насмотрелась на все бесчинства тех лет, о которых всегда вспоминала с откровенной брезгливостью и неприязнью.

Да и не секрет ведь, что многие представители поэтического цеха, начинавшие в ту эпоху, превратились в по-настоящему серьезных поэтов лишь тогда, когда сумели отряхнуть со своих ног прах дореволюционных загулов со всеми их псевдоэстетическими находками и глубочайшими провалами по части морали и этики.

Достаточно в этой связи вспомнить судьбу Георгия Иванова, стодвадцатилетие со дня рождения которого отмечалось совсем недавно, осенью 2014 года. Перечитываешь его ранние стихи и понимаешь, что все эти опусы периода «серебра» весьма обыкновенны и даже заурядны. Казалось бы, ничто не предвещало такого стремительного взлета к вершинам поэзии, которым ознаменовались последние годы жизни Иванова, проведенные в эмиграции. Осознание того, что на чужбине невозможно обрести счастья, ни обычного человеческого, ни творческого, что без Родины, по сути, нет ничего и никого, превратили Георгия Иванова в большого, настоящего мастера слова, одного из самых значительных поэтов всей русской эмиграции, и не только эмиграции. Я очень люблю постреволюционные стихи Георгия Иванова и часто цитирую их. А потому не откажу себе в удовольствии процитировать несколько строк, в которых, как мне кажется, сам поэт подвел черту под всеми безумствами своей молодости, которые справедливо назвал в одном из стихотворений от 1951 г. *«игрой добра и зла»*. Обратите внимание! Снова «зло». Итак, вот эти строки:

Туманные проходят годы,
И вперемешку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

«Затхлый воздух свободы»! Пожалуй, более точного определения атмосферы Серебряного века и не подберешь. Знал Иванов, о чем говорил, хорошо знал. Уж он-то надышался этим затхлым воздухом всласть.

Но вернемся к книге Куняева. Что понравилось особенно и в первую очередь? Поистине завидное умение пройти по острию ножа и при этом обойтись без крови. Ведь все в его книге построено на развенчивании тех самых мифов, о которых говорилось выше. Но! Но однозначность и нелицеприятность оценок героев и героинь «эпохи серебра» соседствует у Куняева с величайшей деликатностью в освещении некоторых весьма скандальных подробностей их биографий, подкрепленных, кстати, весьма солидным документальным фоном. Тут и многочисленные воспоминания современников, и цитаты из дневников, интервью и письма самих корифеев от искусства. После ознакомления со столь внушительной документальной базой поневоле начинаешь понимать очевидное. Кумиры Серебряного века «зажигали» почище самых разнузданных звезд нынешней попсы.

Впрочем, все эти факты общеизвестны, во всяком случае, тем, кто интересуется литературой всерьез. А потому, справедливо рассудил автор, не

стоит трубить о них на каждом углу, разжигая нездоровый интерес обывателя к перетряхиванию чужого грязного белья. Ни ради бога! Но все же помнить об этом и иметь в виду некоторые биографические коллизии при рассмотрении творчества того или иного кумира очень даже полезно. И поучительно тоже.

Быть может, тогда у некоторых воинственных почитателей Ахматовой, к примеру, пропадет желание буквально испепелять несчастного Жданова за то, что в своем известном докладе от 1946 года он обозвал поэтессу «блудницей». Бывшему партийному руководителю «города на Неве», может быть, зачтется, наконец, что он лично руководил эвакуацией поэтессы из блокадного Ленинграда и даже несколько раз сам звонил в Ташкент, чтобы узнать, как устроили Ахматову на новом месте.

И толпы почитателей поэтического наследия Марины Цветаевой, может, перестанут воздыхать к месту и не к месту, вспомнив о том, сколь многое из любовной лирики нашей русскоязычной Сафо посвящено именно подружкам-лесбиянкам. Уж не за это ли так обожают ее нынешние творцы сексуальных и прочих революций, распевая всякие душещипательные романсы на стихи Цветаевой типа знаменитого романса Андрея Петрова «Под лаской плюшевого пледа»? Кстати, само стихотворение как раз и посвящено одной из таких подружек.

В этой связи посмею коснуться памяти еще одного небожителя, о котором в книге Куняева упоминается лишь вскользь, по касательной. Я имею в виду Бориса Пастернака, *«... и примкнувшего к ним Шипилова»*, говоря словами одного старого-престарого анекдота времен хрущевской «оттепели». Не стану обсуждать некоторые общеизвестные факты биографии поэта, типа пресловутого разговора со Сталиным, когда Пастернак не выдавил из себя ни слова в защиту еще одного идола наших обожателей — Осипа Мандельштама. Чем вызвал откровенное недоумение у вождя всех народов, который резонно заметил, что, дескать, в годы его молодости товарищей так легко не сдавали. Но, как говорится, Бог судья всем. Затрону несколько иной аспект творческой биографии поэта. Его переводы. Думаю, как профессиональный переводчик, имею на это право.

Лет двадцать тому назад мне довелось трудиться над одним издательским проектом. Я писала пересказы для детей наиболее известных пьес Шекспира, причем пересказы готовились сразу на двух языках — английском и русском. Разумеется, такая работа немыслима без сопоставительного анализа и сравнений с оригиналом самых разных вариантов перевода пьес Шекспира на русский язык. Помнится, когда я писала пересказ «Короля Лира», то решила взять за основу именно пастернаковский перевод этой трагедии.

Взяла, сопоставила и... ужаснулась. Столько неточностей, отсебятины и даже откровенных ошибок было в переведенном тексте. Но перевод, как известно, уже давно канонизирован, и я прекрасно понимала, что все мои резоны и аргументы «против» едва ли будут услышаны или, тем более, приняты в расчет издателями. Гению все позволительно и простительно, не так ли? А потому я, сделав несколько выписок наиболее одиозных ошибок, так сказать, на будущее, в качестве учебных примеров для студентов, не стала трубить о своем открытии на каждом углу. Просто сдала работу в срок и тут же постаралась забыть о ней.

Но вот минуло два десятка лет, и в 2014 году, который во всем мире отмечали как год Шекспира, я случайно и впервые услышала робкую попытку публично поставить под сомнение высокую планку переводов Пастернака. В одной из телевизионных передач по российскому каналу «Культура» доктор наук, шекспировед Бартошевич рассказал презабавный случай. Впрочем, забавный только на первый взгляд. А уже на второй — так очень грустный и унылый.

Какое-то время тому назад ему для ознакомления передали новый вариант

перевода «Короля Лира», выполненный уже нашим современником. Перевод был настолько хорош (совершенен, как сказал об этом сам шекспировед), что тот сразу же предложил его для работы одному из московских главрежев, как раз собиравшемуся ставить у себя на сцене «Короля Лира». И услышал в ответ: «А зачем нам новый перевод? Лучше Пастернака все равно никто не переведет!»

Как тут, к слову, не процитировать ироничные строки Александра Архангельского, весьма даже уместные в этой связи?

Все изменяется под нашим зодиаком,
Но Пастернак остался Пастернаком.

Впрочем, в книге Куняева речь ведь идет не только о знаменитой четверке. Очень надеюсь, что после прочтения книги и другие герои «ущербного века», как обозвал когда-то Серебряный век великий Георгий Свиридов, яростно клеймивший его не только за высочайшую степень распущенности, но и за высокомерие и надменность, и они тоже перестанут, наконец, вызывать у своих обожателей слезы умиления и восторга.

Еще более интересной и впечатляющей показалась мне очень удачная попытка Станислава Куняева перебросить мостки из века Серебряного в знаменитые годы «оттепели», проследить и сопоставить судьбы литературных кумиров уже «иных времен», цитируя Николая Рубцова.

Что ж, внуки не подвели. Оказались на высоте и эпатировали народ не хуже своих литературных дедушек и бабушек, тоже не брезгуя быть циниками, да и всем остальным тоже. И под сурдинку слащавых песенок о комиссарах в пыльных шлемах или истеричных призывов немедленно убрать портреты Ленина с денег (*«...так цена его велика»)*, умело оттяпывали себе награды, премии и прочие радости жизни. Впрочем, вся эта братия не чуралась общаться и с простым народом, собирая полные залы и стадионы почитателей, но и в этом общении, приносившем, между прочим, солидные денежные барыши, проступали все те же высокомерие и надменность «избранных» и та же глубоко укоренившаяся убежденность в том, что им, героям-шестидесятникам, все позволено и все простительно. Даже призывы к развалу собственной страны, если проследить эволюцию иных до горбачевской «перестройки» и ельцинской «пост-перестройки». Вот уж воистину!

Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.

И не случайно на ум приходят именно эти вдохновенные строки Николая Рубцова, поэта необыкновенно чистого дарования и трагической судьбы.

Подробности давней трагедии, разыгравшейся много лет тому назад в Вологде описаны-переписаны множество раз. Кстати, первая глава книги Куняева под названием «В борьбе неравной двух сердец...» посвящена именно гибели Рубцова и всему тому, что с ней связано. В 2012 году этот материал публиковался и на страницах журнала «Наш современник», и многие могли ознакомиться с ним по той публикации.

Впрочем, ужасает не только кровавая драма, стоившая жизни великому поэту. Пугает другое. Абсолютно согласна с автором книги.

Все так же гордо поднимают на щит ревнители разврата и богохульники именно «любовь, исполненную зла...». Примерам несть числа, а потому не стану понапрасну занимать место. Лишь с сожалением констатирую. Видно, у нынешних деятелей от искусства не было такого умного и проницательного учителя, как у Игоря Ясуловича. Не повезло им по жизни! Ибо никто не сумел сделать им вовремя прививку от зла и не заставил вызубрить, как *«Отче наш»*: *«Этическое выше эстетического»*.

Ну что ты кипятишься понапрасну? — вполне возможно, воскликнет кто-то. Ясное дело, богема! Чего от нее еще ждать? Богема, она, как

известно, и в Африке богема. Ты же не собираешься сбрасывать весь этот «бомонд» с корабля современности. Да нет, конечно. Мы же не такие кровожадные, какими были некоторые в начале прошлого века, требуя раз и навсегда покончить с Пушкиным. Да и не только с ним. Да, мы шире, толерантнее, выражаясь современным языком, и даже с политкорректностью, худо-бедно, живем в ладу.

А потому пусть любители поэзии Серебряного века смело читают вслух стихи своих кумиров, пусть цитируют их при каждом удобном случае, пусть восхищаются красотами их образов, восторгаются ритмикой, пластикой, музыкальностью стиха. Но при этом пусть все же помнят: *«Этическое выше эстетического».* Именно так! И никак иначе.

И отдельной строкой — нижайший поклон и величайшая благодарность Станиславу Куняеву за его труд. Уверена, с годами актуальность книги будет только возрастать, как и ее востребованность в самой широкой читательской среде.

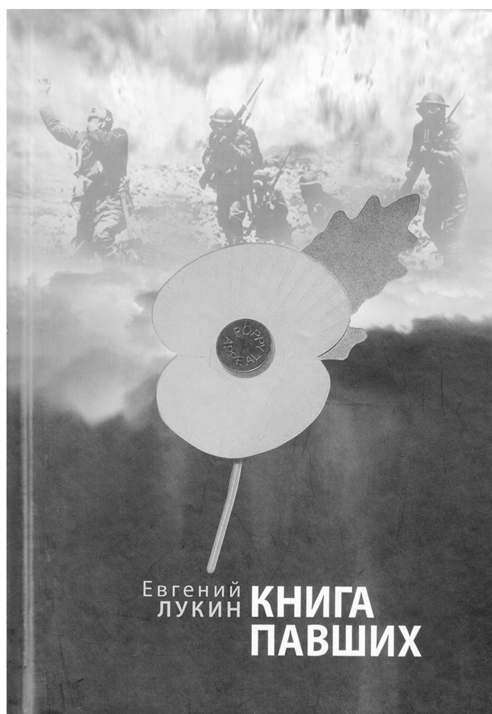
P. S. Уже поставила последнюю точку и подвела финальную черту под своими, возможно, несколько сумбурными медитациями по поводу прочитанной книги, и тут подоспела новая информация, как говорится, «в тему». 2015 год, объявленный в России Годом литературы, даже обзавелся собственным логотипом. На нем изображены профили трех величайших, по мнению авторов проекта, представителей русской словесности. Это — Пушкин, Гоголь и... все та же Ахматова. Бог мой! — воскликнула я с удивлением. Но почему XX век должен быть соотнесен в сознании миллионов и миллионов почитателей русской литературы именно с профилем «Северной звезды», как называли Анну Андреевну поклонники из числа ее современников? Почему не Сергей Есенин? Потому что слишком русский? Почему не Михаил Шолохов? Потому что слишком великий? Впрочем, все мои риторические вопросы повисают в воздухе. Ибо бал продолжает править все та же «любовь, исполненная зла».

Зинаида КРАСНЕВСКАЯ



С точки зрения рецензента

Поэты Первой мировой



В Санкт-Петербурге вышло в свет уникальное издание «Книга павших» (СПб.: Фонд «Спас», 2014), представляющее собой антологию стихотворений поэтов-фронтовиков из 13 стран мира, приуроченное к 100-летию начала Первой мировой войны. Перевод этих произведений осуществил известный российский прозаик и поэт, переводчик, главный редактор журнала «Северная Аврора» Евгений Лукин. В антологии также представлены краткие биографические справки о каждом авторе и поэтические тексты на языке оригинала, что позволяет оценить мастерство и качество перевода тем, кто владеет иностранными языками, а это, в свою очередь, свидетельствует о профессиональном такте и корректности автора книги. Мастерство перевода, как известно, определяется не только талантом и одаренностью, тонким эстетическим вкусом, но и степенью интеллектуального и духовного развития, а Евгений Лукин еще в студенческие годы (середина 70-х) прочитал лучшие произведения ярких представителей западной философии, русского религиозно-философского ренессанса и мировой художественной литературы, поэтому не удивительно, что ему подвластны разноуровневые в тематическом, стилевом и формальном планах поэтические тексты, представленные в антологии.

Большинство произведений принадлежит перу совсем молодых поэтов, оказавшихся на полях сражений, в судьбы которых беззастенчиво вторглась трагическая реальность, противоестественная и разрушительная, перечеркнувшая планы и мечты, лишившая любви, семьи, детей, и в конечном счете, отнявшая у них жизнь. Недаром английский поэт У. Оуэн даже в названии своего стихотворения «Псалом обреченной юности» подчеркнул эту безысходность и невозвратимость:

Где звон по павшим на полях сражений?
Лишь рев артиллерийских канонад
Да заикающийся треск ружейный
Над ними «Отче наш» проговорят.

Ни панихид, ни траурных обрядов,
Ни плача, ни молитв у алтаря…
Вокруг ревет безумный хор снарядов
И горн зовет в печальные края.

Их скорбный путь свеча не озарит —
Лишь засияет в душах на крови
Святой огонь прощанья и любви.

В начале войны многие поэты, вне зависимости от национальной принадлежности, воспринимали ее героически приподнято, стремились проявить храбрость, мужество и доблесть, в их поэтических реальностях наблюдаются эстетизация и романтическая идеализация войны, ницшеанский культ силы и военной славы, патриотический порыв, нашедшие отражение, например, в стихотворении английского поэта Дж. Гренфелла «В бой»:

Жизнь — это битва света, цвета, лета:
Таков великий замысел Творца.
Тот гибнет, кто не борется за это,
Тот победит, кто бьется до конца.
…………………………………….
Когда ж придет минута роковая,
Он на коне горячем полетит,
И всюду радость схватки боевая
Его за горло держит и слепит.

Однако подобная идеализация и романтизация войны, по меткому замечанию Н. Бердяева, уместны в период рыцарских войн, каковой Первая мировая не являлась и «обнаружила необыкновенный героизм с необыкновенным зверством». Поэтому совсем не удивительно, что вскоре наступило горькое разочарование и крушение иллюзий относительно быстрых побед, о чем убедительно свидетельствует немецкий поэт П. Баум («В начале войны»):

Они нам наврали,
что битва без битвы случится.
Откуда ряды черепов,
что пробиты насквозь?
А битва все длится и длится,
И с каждым снарядом,
который по небу промчится,
Умножится горестный список
несчастий и слез.

На войне, как известно, происходит перерождение человека, что, в свою очередь, влечет за собой трансформацию поэтического сознания, актуализируя в нем трагическое мироощущение. Экзистенциалы страха, смерти, абсурдности происходящего определяют основные характеристики эмоциональной доминанты поэтической реальности. В текстах немецкого поэта-экспрессиониста А. Штрамма явственно звучат эти мотивы, определяя стилистическое оформление стихотворений «Война» и «Цена смерти»:

* * *

Горе бередит
Оцепенение приводит в ужас
Родовые муки корежат
Чудовища стоят на страже
Время кровоточит
Вопрос прожигает глаза
Истощение
Рождает
Смерть.

* * *

Брань объемлет землю
Горе звенит посохом
Убийство прорастает грядущим
Любовь зияет могилой
Никогда не будет конца
Всегда создает сейчас
Безумие умывает руки
Вечность
Невредима.

Акцент смещается на отражение натуралистических сцен (кровавые раны, разлагающиеся тела, грязь и вши, болезни и зловоние, и т. п.), актуализируя, в определенной степени, своеобразную эстетизацию безобразного для усиления эффекта реалистической достоверности трагизма и ужаса войны, нашедшее широкое отражение в творчестве английского поэта И. Розенберга («Свалка мертвецов»):

Они положили мертвеца на дороге —
Рядом с другими, распластанными поперек.
Их лица были сожжены дочерна
Страшным зловонным гниением,
Лежали с изъеденными глазами.
У травы или цветной глины
Было больше движения, чем у них,
Приобщенных к великой тишине земли.

У многих из представленных в антологии авторов художественно оформлено интуитивное пророчество

собственной смерти. Индивидуально-субъективные предчувствия обретают статус объективности, эстетически формируя поэтическую картину всеобщей боли мира, усиливая щемящее чувство сопереживания и безысходности. Квинтэссенцией такого мироощущения является стихотворение американского поэта А. Сигера «Однажды смерть назначит мне свиданье», которое стало любимым произведением президента Дж. Кеннеди (парадоксальное предчувствие!):

Однажды смерть назначит мне свиданье
Там, на ничейной роковой земле,
Когда весна прошелестит во мгле.
……………………………………..
Ты знаешь, Боже, как хотелось мне
Туда, где благовонья и атлас,
Где нежится любовь в блаженном сне,
С дыханьем сочетается дыханье
И тихо пробужденье настает…
Но все же смерть назначит мне свиданье
В горящем городе, в полночный час,
Когда весна на север повернет.
И, верный долгу, я не подведу:
Я на свиданье вовремя приду.

Никакие ужасы войны не могут заглушить в человеке жажду жизни и любви, вычеркнуть из сознания образ любимой, уничтожить надежду и стереть мечты, пока он жив. И Евгений Лукин бесконечно прав, отмечая в предисловии к книге, что в творчестве павших на полях сражений «звучал один всепобеждающий мотив — мотив любви». Ярким свидетельством тому является стихотворение французского поэта-сюрреалиста Г. Аполлинера «Командир взвода»:

Мои уста обожгут тебя жаром преисподней
Мои уста станут адом нежного соблазна
Ангелы моих уст воцарятся в твоем сердце
Солдаты моих уст воспоют твою красоту
…………………………………….
Оркестр и хор моих уст исполнят
песнь о любви
Они нашепчут тебе о ней издалека
Пока я бросаю взгляд на часы и жду атаки

Именно они, не пришедшие с полей сражений, отдавшие свои молодые жизни, изувеченные и изрешеченные пулями, сходившие с ума от страха смерти, навсегда оставшиеся вечной болью в памяти своих матерей, имели полное моральное право вынести свой приговор войне и тем, кто ее разжигал. Этот приговор звучит в стихотворении английского поэта Л. Коулсона «Кто придумал Закон?»:

Кто придумал Закон,
что солдаты должны умирать?
Кто промолвил,
что кровью должна быть полита земля?
Кто поставил кресты вдоль садовых
дорожек стоять?
Кто усеял растерзанной плотью
холмы и поля?
Кто придумал Закон?
………………………………………………
Кто придумал Закон?
Пусть березы ему шелестят:
«Посмотри, вот кровавые брызги
на бересте!»
Пусть, гуляя в лугах, он услышит,
как кости хрустят
И как шепчут бесплотные рты в темноте.
Кто придумал Закон?
Пусть, взобравшись на склон,
Он услышит дыхание мертвых и стон,
И все время, пока мимо пашен,
садов и домов на пути,
Тот, кто придумал Закон,
Тот, кто придумал Закон,
Тот, кто придумал Закон,
Будет вместе со смертью идти.
КТО придумал Закон?

«Книга павших», подготовленная Евгением Лукиным, является уникальным в своем роде международным поэтическим протестом против войн, бед и страданий человечества, поэтической декларацией пацифизма и гуманизма. Но особенно поражает пламенный призыв к миру во всем мире, поэтический завет, обращенный в вечность сто лет тому назад и художественно реализованный в творчестве немецкого автора Г. Энгельке, парадоксальным образом провидчески вторгаясь в реалии современности («К солдатам великой войны»):

Наверх! Из окопов, из нор,
из подвалов бетонных!
……………………………………..
Стальные шлемы и прочие шапки снять!
Пушки долой!

Хватит захлебываться в кровавой
ненависти гнилой!
Я заклинаю всех вас в больших городах
и весях глухих
Выполоть страшные семена злобы
и выбросить их.
……………………………………………........
Француз ты из Бреста,
Бордо либо с Гаронны,
Украинец или казак с Урала,
Днестра и Дона,
Австрийцы, болгары, турки и сербы,
Вы все в сумасшедшей круговерти
бойни и смерти —
Ты британец из Лондона,
Манчестера или Лидса,
Солдат, самый лучший товарищ
и самый близкий —
Американцы из самых свободных
в мире Штатов,
Откажитесь от своего высокомерия
и двойных стандартов!
Ты был честным врагом,
станешь честным другом.
Вот моя рука сплелась с твоею навечно:
Это значит — новый день будет
искренним, человечным.
……………………………………………
Воистину брат называется братом,
И Запад с Востоком становятся рядом,
Сияет в народах любовь и крылатость,
И каждый творит для каждого радость.

И если О. Шпенглер определил мировую войну «первым раскатом грома в век, полный бурь и ужасающих войн по всей планете», то, может быть, век XXI расставит все точки над «і», положит конец войнам и заставит задуматься о мире в планетарном масштабе, напрочь отбросив узкие меркантильные интересы, памятуя о том, что все мы, действительно, плывем в одной лодке, что бесценная наша планета Земля является единственной и неповторимой Родиной для всего человечества, и другой нет и никогда не будет!

Инесса МОРОЗОВА



Санкт-Петербург.
Адреса белорусской литературы

Литература всегда была и остается связующим мостом в налаживании и культурных, и исторических связей. Казалось бы, не таким далеким является расстояние между Минском и северной столицей России — Санкт-Петербургом. Всего-то ничего — 830 километров, 1 час 25 минут на самолете, от 13 с половиной до 18 с половиной часов — на поезде. Недолгим кажется такой путь...

И во все времена, если оглядываться на предыдущие три «с хвостиком» столетия, шла многогранная работа по сближению Минска и Санкт-Петербурга... Не случайно, создавая книгу «Белорусский Петербург», доктор филологических наук Микола Николаев никак не мог остановиться и «довел» свой фолиант до 536 страниц. Мог бы, наверное, и еще больше рассказать об уроженцах Беларуси, оставивших свой след в Санкт-Петербурге, о том, почему он, город на Неве, является близким и, если хотите, родным для множества белорусов.



Ян Барщевский



Фаддей Булгарин

А мы давайте попытаемся хотя бы наметить пути-дороги для будущих исследователей такой, пожалуй, тоже бесконечной темы, как «Адреса белорусской литературы в Санкт-Петербурге».

И начать следовало бы с Фаддея Булгарина. Родился он в 1879 году на Минщине, надо полагать — в имении Пырашево нынешнего Узденского района. Писатель, журналист, критик, издатель, он был в русской литературе основоположником авантюрного плутовского романа, фантастического романа. Являлся издателем первого в России театрального альманаха. Еще при жизни его романы были переведены на итальянский, испанский, нидерландский, шведский, польский, чешский, немецкий, французский, английский языки. Окончательно поселился в Санкт-Петербур-

ге в 1819 году. Был хорошо знаком с Н. М. Карамзиным, К. Ф. Рылеевым, В. К. Кюхельбекером, А. С. Грибоедовым. Адреса жизни Булгарина в Санкт-Петербурге следующие: дом Котомина (Невский проспект, 18), доходный дом Струговщикова (Вознесенский проспект, 9), доходный дом Яковлева (Почтамтская улица, 4), доходный дом Ф. Серапина (Царскосельский проспект, 22).

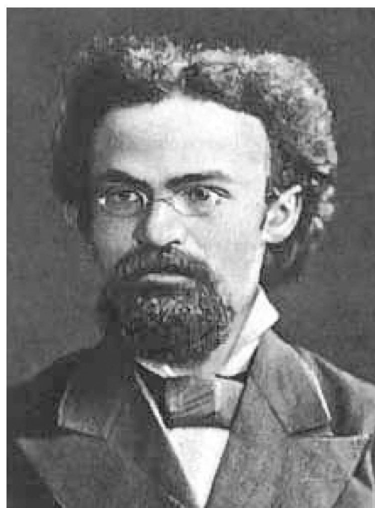
С городом на Неве связана и судьба военного топографа генерала Российской империи Михаила Вронченко (родился в оршанской Копыси в 1801 году) — переводчика А. Мицкевича (поэмы «Дзяды») и Гомера на русский язык. Свои стихотворные «Воспоминания Петрограду» адресовал любимому городу уроженец Пружанского уезда Игнат Кулаковский. В 1817 году переехал в Санкт-Петербург Ян Барщевский, автор «Шляхтича Завальни». На протяжении 1843—1849 гг. издавал в городе на Неве польскоязычный «Литературный еженедельник» наш сородич Ромуальд Подберезский. Газету «Слово» (тоже на польском языке) выпускал уроженец Лепельщины Иосафат Огрызко. Выходец из витебского дворянства Виссарион Комаров учредил в Санкт-Петербурге газету «Русский мир». Из Глубокого в мир большой литературы отправился поэт Николай Минский (1856—1937). Настоящая фамилия — Виленкин. Известный поэт, драматург, публицист, он оставил яркий след в литературной жизни Санкт-Петербурга. Уроженец Копыля (родился в 1875 году) Лев Клейнборт издал в Петрограде книгу, посвященную белорусской литературе, — «Молодая Беларусь». Это издание — фактически первая советская монография по белорусской литературе.

Автор семи пьес, известный белорусский актер, театральный режиссер Евстигней Мирович — сын уроженца Беларуси, в 1878—1919 гг. жил в Санкт-Петербурге. Затем работал в театрах Беларуси. Копылянин Алесь Гурло (родился в 1892 году) жил и работал в Петербурге начиная с 1911 года. Сотрудничал с белорусским петербургским журналом «Маладая Беларусь». В 1913 году к нему приехал другой земляк — будущий писатель и революционный, государственный деятель Тишка Гартный. В 1918 году он становится секретарем Белнацкома при правительстве РСФСР, редактирует газету «Дзянніца». Кочегаром начинал на Обуховском заводе свою трудовую биографию писатель Илья Гурский, автор романа «Ветер века». Белорусским писателем стал и Силан Гусев, который работал на суконной фабрике в Петербурге. Он служил и на Балтийском флоте, был прикомандирован к крейсеру «Аврора». Принимал участие в штурме Зимнего дворца в 1917 году.



Иосафат Огрызко

Осенью 1909 года переехал из Вильно в Санкт-Петербург молодой



Николай Минский


Евгений Мирович

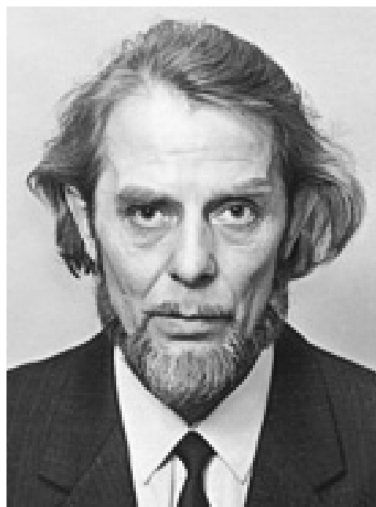
тогда поэт Янка Купала. Квартира профессора Бронислава Эпимах-Шипило приютила не только его, здесь собирались исследователь белорусского фольклора Антон Гриневич, писатель и художник Язеп Дроздович, Тишка Гартный. Здесь с докладом «Основы белорусской грамматики» выступил Бронислав Тарашкевич.

И если о многих деятелях белорусской культуры, чьи судьбы связаны с Санкт-Петербургом, Петроградом, потом Ленинградом, можно говорить достаточно много, то о других наших славных сородичах просто ничего не известно ни нашим энциклопедиям, ни широкому кругу читателей, интересующихся белорусской культурой, присутствием белорусской культуры и литературы в ближних краях. К примеру, в редакциях ленинградских детских журналов работал уроженец Слуцка Борис Игнатович (1899—1976). Дружил с Маяковским, сделал уникальную фотографию Михаила Зощенко. И только, наверное, Микола Николаев вспоминает земляка в своей книге «Белорусский Петербург». На улице Восстания, 22 жил драматург Александр Володин (родился в Минске в 1919-м, настоящая фамилия — Лившиц). В ленинградский период жизни издала ряд детских книг жена репрессированного Максима Горецкого — Леонила Чернявская (1893—1976). Анатоль Кирвель родился в Докшицком районе. В Ленинград приехал в 1977 году. Здесь и состоялся как белорусский писатель. Автор книг «Лодка Харона», «Урбания», «Человеку свойственно...». Был издателем и редактором газеты «Родзічы»... Несколько десятилетий прожил в Санкт-Петербурге русский писатель, драматург, военный журналист уроженец Василевичей Речицкого района Аркадий Пинчук. Но первая его книга увидела свет в Минске. И в Союз писателей по рекомендации Андрея Макаёнка и Анатолия Делендика его приняли в Беларуси — в 1969 году.


Тишка Гартный

Часть жизни Алеся Адамовича прошла в соприкосновении с Ленинградом, когда он работал над «Блокадной книгой» совместно с Даниилом Граниным. «У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена», — так начинается «Блокадная книга», выхоженная Алесем Адамовичем. Выпускник Военно-медицинской академии — белорусский прозаик Антон Алешко (1913—1971). Русский прозаик Николай Алексеев, почти полвека связанный с Беларусью, — уроженец Петербурга, участник Февральской и Октябрьской революций. На киностудии «Белгоскино» в Ленинграде работал редактором прозаик и драматург Илларий Барашко (родился в 1905 году в Минске). Там же редактором работал и белорусский драматург Кастусь Губаревич (родился в Чаусском районе в 1907 году). С белорусской киностудией в Ленинграде связана и часть творческой жизни драматурга Иосифа Дорского

(родился в Минске в 1911 году). Здесь же работал консультантом и один из первых белорусских кинодраматургов Рыгор Кобец. Аспирантуру Академии искусств в Ленинграде окончил поэт Янка Бобрик (родился на Могилевщине, в Глуске). Участник обороны Ленинграда. Умер в блокадном городе в августе 1942 года. На Трубочном заводе в Ленинграде работал белорусский прозаик Виталь Вольский. В Петербурге в 1903 году родился прозаик Николай Герасимов, который в 1950—1970-е гг. жил и работал в Беларуси. Автор романа «Узлы», повестей «Завтрашний день принадлежит тебе», «Огонь над Количевкой», «Где сходятся берега» и других произведений.



Анатоль Кирвель

В дореволюционные годы работал на издательском поприще в Петербурге Язеп Дыло, автор пьес, исторической прозы, многих литературно-критических статей. При обороне Ленинграда погиб поэт Рыгор Железняк, выпускник Ленинградского университета. В аспирантуре этого ВУЗа написал кандидатскую диссертацию на тему «Поэзия М. Богдановича». Аспирантуру Академии искусств в Ленинграде окончил белорусский поэт Алесь Звонак.



Рыгор Кобец

Несомненно, за этими штрихами — произведения белорусской литературы, созданные в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде, за этими штрихами — яркие творческие судьбы. Наверное, еще многие историко-краеведческие, литературно-краеведческие путешествия можно будет совершить, отталкиваясь от биографий этих мастеров художественного слова, совершая виртуальные прогулки по санкт-петербургским адресам белорусской литературы.

Кирилл ЛАДУТЬКО

Авторы номера

ПРИЛЕПИН Захар (Евгений Николаевич). Родился в 1975 г. в с. Ильинка Скопинского района Рязанской области. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского и Школу публичной политики. Прозаик, публицист, музыкант. Автор романов «Патологии», «Санькя», «Грех», «Черная обезьяна», повестей, рассказов, эссе. Обладатель премий «Национальный бестселлер», «Супер-НацБест», «Ясная Поляна» и др. Живет в Нижнем Новгороде.

КОТЮКОВ Лев Константинович. Родился в 1947 г. в Орле. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор более тридцати книг стихотворений и прозы, лауреат ряда литературных премий. Живет в Подмосковье.

БОНДАРЕВ Юрий Васильевич. Родился в1924 г. в г. Орск (ныне Оренбургская область). Участник Великой Отечественной войны. После войны окончил Литературный институт им. Горького. Автор множества произведений, вошедших в сокровищницу русской литературы, таких как «Батальоны просят огня», «Тишина», «Горячий снег», «Берег» и многих других. Дважды лауреат Государственной премии СССР и других значительных премий. Живет в Москве.

СКВОРЦОВ Константин Васильевич. Родился в 1939 г. в Туле. Окончил Челябинский агропромышленный университет и Высшие литературные курсы. Автор двадцати пьес в стихах, сборников поэзии «На четырех ветрах», «Ущелье крылатых коней», «Берег милый. Лирика», «Родовое гнездо» и др. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве.

КРУПИН Владимир Николаевич. Родился в 1941 г. в г. п. Кильмезь Кировской области. Окончил Московский областной педагогический институт им. Н. К. Крупской. Автор нескольких десятков книг прозы. Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

СКИФ (Смирнов) Владимир Петрович. Родился в 1945 г. на ст. Куйтун Иркутской области. Окончил Тулунское педагогическое училище, Иркутский государственный университет. Автор 19 книг. Лауреат Международной литературной премии им. П. П. Ершова и премии «Имперская культура». Живет в Иркутске.

БЕСЕДИН Платон Сергеевич. Родился в 1985 г. в Севастополе. Окончил Севастопольский национальный технический университет. Печатался в журналах «Дружба народов», «Бельские просторы», «День и ночь», автор книг «Ребра», «Учитель. Роман перемен», «Книга Греха». Живет в Севастополе.

ВОЛКОВА Марина Георгиевна. Родилась в 1981 г. в Санкт-Петербурге. Окончила Высшую административную школу при Администрации Санкт-Петербурга. Автор книги «Веру храня в Рассвет». Победитель конкурсов «Национальное возрождение Руси», «Золотая строфа», «Велесово слово», «Северная звезда». Живет в Санкт-Петербурге.

РОМАНОВА Наталья (Сегень Наталья Владимировна). Родилась в Тюменской области. Окончила Уральский государственный педагогический университет. Публиковалась в журналах «Смена», «Литературная учеба», «Форум», «Полярная звезда», «Север», «Простор» и др. Лауреат премий «Русский позитив» Российского Фонда мира, «Патриот России» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, имени Л. М. Леонова журнала «Наш современник». Живет в Москве.

ШУГЛЯ Владимир Федорович. Родился в 1947 г. в г. Кыштым Челябинской области. Окончил Свердловский институт народного хозяйства, Уральский социально-политический институт. Член-корреспондент Международной академии информационных технологий. Автор нескольких сборников поэзии. Президент холдинговой компании Торговый дом «Мангазея» (г. Тюмень), Почетный консул Республики Беларусь в Тюменской области. Живет в Тюмени.